

**МОСКОВСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ФОНД
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ РАН**

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ МИР: ЦЕНТР, ПЕРИФЕРИЯ, РОССИЯ

СБОРНИК 2. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПЕРИФЕРИЯ

Москва
1999

СОДЕРЖАНИЕ

В.Г. Хорос	
ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ	4
А.И. Неклесса	
ЭПИЛОГ ИСТОРИИ, ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ VERSUS ОРИЕНТАЛИЗАЦИЯ	21
К.Л. Майданик	
СОВРЕМЕННЫЙ СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС МИРОВОГО КАПИТАЛИЗМА И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩЕСТВО ПЕРИФЕРИИ (ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА)	59
В.А.Красильщиков	
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭПОХА	93
А.И.Салицкий	
КИТАЙ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ	124
О.Л. Остроухов	
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ В ЭПОХУ РЕФОРМ	154
Е.А. Брагина	
ИНДИЯ — ОТ ДОГОНЯЮЩЕГО РАЗВИТИЯ К УСТОЙЧИВОМУ РОСТУ?	179
Э.Е. Лебедева	
ТРОПИЧЕСКАЯ АФРИКА НА ПОРОГЕ XXI В.	205
Д.Б. Мальшева	
ИСЛАМСКИЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	234

В.Г. Хорос

Вместо введения

П

онятие “третий мир” сегодня считается морально устаревшим. Тому, конечно, есть причины: нет уже “второго мира”, да и сам “третий мир” значительно дифференцировался. Современные исследователи предпочитают другие термины: “периферия”, “полупериферия”, “глубокий Юг” и т. п. Тем не менее в каких-то контекстах номинация “третий мир” продолжает фигурировать — прежде всего для указания на различие между развитыми и развивающимися, богатыми и бедными (иногда — западными и незападными) странами, которое, разумеется, не исчезло.

В качестве введения к заявленной в настоящем сборнике теме будет полезно начать с обзора нескольких последних публикаций крупных зарубежных ученых. Эти публикации интересны тем, что их авторами являются классические “третьемироведы”, чьи взгляды сформировались двадцать — тридцать лет назад, и на тот же период приходится их основные работы. Отдавая себе отчет в том, что в странах Азии, Африки и Латинской Америки (так же, как и в мире в целом) произошли большие перемены, патриархи пытаются осмыслить их, не изменяя в то же время своим принципиальным идейным ориентациям. Что же из этого получилось?

Голландский ученый Вим Вертхейм принадлежал к той довольно типичной прослойке западных интеллектуалов, занимающихся проблемами развивающихся стран, которые отличаются достаточно левыми взглядами. В то же время, как заявляет сам автор, он не марксист. По его мнению, марксизм недооценивает роль государства в экономической сфере и ошибочно полагает, что путь к социализму лежит лишь через капиталистическую стадию (Wertheim, p. 6-7).

Рассматривая современную политику Запада по отношению к развивающимся странам, Вертхейм видит в ней прямую связь с традиционными отношениями метрополий и колоний. Стратегия Центра всегда состояла в том, чтобы, укрепляя собственную промышленность, подавлять ее развитие на Периферии, превращая последнюю в рынок для своих товаров. Изменялись только методы. Скажем, англичане, овладевшие китайскими портами во время “опиумных войн”, смогли контролировать местные тарифы на свою текстильную продукцию, и поэтому “опиумные войны” следовало бы назвать “текстильными”. Аналогичная линия проводилась США по отношению к Латинской Америке (политика “открытых дверей”).

Заключительным звеном в этой исторической цепочке является линия Запада по отношению к Востоку и Югу, олицетворяемая Международным валютным фондом и Мировым банком. Ибо в основе последней — снятие ограничений на импорт товаров из развитых стран при сокращении местных государственных и социальных расходов, например, субсидирования дешевых продуктов питания для бедных слоев населения. Прибегая к игре слов, Вертхейм называет эту политику “международным валютным фундаментализмом”, как бы возвращением к прошлому. Нынешний монетаризм и фритредерство, пишет он, есть “просто современная версия давней стратегии установления и поддержания индустриальной монополии Запада, подпираемой мощью западных держав” (p. 22).

Вертхейм в своих основных трудах всегда выступал как специалист по аграрным и социальным проблемам густонаселенных стран Азии (Индонезия, Индия, Китай и др.). И в своей последней книге он уделяет этой теме большое внимание. Как и прежде, он выделяет китайскую (даже маоистскую) модель развития сельскохозяйственной сферы, отдавая ей предпочтение перед индийской, индонезийской или какой-либо другой разновидностью. Для

современного читателя такая позиция может показаться шокирующей, но Вертхейм стремится подкрепить ее достаточно рациональными аргументами (не отрицая в то же время глупостей и крайностей “большого скачка” и “культурной революции”). Основываясь на коллективной собственности на землю, скот и орудия, китайцы после победы коммунистической революции, считает он, вместе с тем не следовали советской колхозной модели. У них не было простого уравниательства, существовала разница в оплате труда, в частности между бригадами, работающими на почвах различного плодородия. В целом же для деревенской политики в Китае была характерна ориентация на кооперацию, антиэлитарная направленность, что выгодно отличало ее от индийского или индонезийского варианта, где односторонняя ставка на “зеленую революцию” привела к возникновению серьезных социальных и имущественных диспропорций в сельской среде. Главное же, государство в Китае в 50-60-е гг. направляло большие инвестиции (до 8 — 10% бюджета) в систему водоснабжения полей — строительство каналов, дамб, дренаж почв и пр.

В результате рост сельскохозяйственной продукции в Китае даже во времена “культурной революции” составлял в среднем 3.4% в год — цифра, достаточно впечатляющая по сравнению с многими другими развивающимися странами. Продовольственного самообеспечения Китай достиг уже в 60-х гг. В 70-е годы благодаря сбору двух урожаев в год вырученные средства инвестировались в местную промышленность. Все это создало базу того экономического подъема, который произошел в следующие десятилетия.

Однако политику китайских реформ в 80-90-е гг. Вертхейм не слишком жалуется. Не отрицая быстрого роста в этот период, он отмечает целый ряд негативных сторон китайского “экономического чуда”, прежде всего для деревни. Семейная аренда не стимулировала механизацию сельского хозяйства, система водоохраных мероприятий в значительной мере оказалась запущена. Возникли серьезные экологические проблемы (сведение лесов, эрозия почв). Призыв власти “обогащаться” обернулся социальным расслоением крестьянства и общества в целом. Снижился уровень образования, особенно женщин.

Пример Китая рассматривается автором как частный случай соперничества между капитализмом и социализмом в глобальном масштабе. По его мнению, хотя капитализм (“царство Маммоны”) одержал временную победу, сам он находится в глубоком кризисе. “Перестройка глобальной экономики не может быть достигнута на основе системы индивидуализма” (с. 174). Социализм имеет все шансы вернуться на историческую сцену, но в новых формах, поскольку старые показали свою неэффективность.

У другого патриарха “третьемироведения”, известного индийского социолога и политолога Раджни Котхари оценки происходящих мировых процессов примерно те же. Получивший в последнее время широкое распространение термин Ф. Фукуямы “конец истории” Р. Котхари расшифровывает как констатацию прихода нового миропорядка, победу капитализма не только над “вторым миром”, но и над “третьим”, Периферией, в которую возвращаются “капиталистически-колониальные структуры” (R. Cothari, p. 38).

Так же, как для Вертхейма, современный глобализирующийся капитализм есть “царство Маммоны”, для Котхари это — мир алчности, где все усилия “направлены на потребительские нужды потребительских классов”. Этот мир победил не потому, что он смог предложить людям что-то значительное, но прежде всего потому, что зашел в тупик мировой социализм, а развивающиеся страны “потерпели неудачу в попытках сформировать собственную инициативу”. Более того, многие лидеры “третьего мира” воспринимают новый порядок с малопонятным энтузиазмом. В то время как некоторые ученые и общественные деятели на Западе уже начинают сомневаться в прямолинейном монетаризме и глобализме, элиты на Периферии все более поддерживают данные тенденции. “Реальное поле новой экономической идеологии обозначается даже больше на Юге, чем на Севере” (с. 39-40, 42).

В Индию глобальные процессы монетаристско-неолиберальной экономики стали проникать со второй половины 80-х годов, когда к власти пришел Раджив Ганди, и в начале 90-х годов, по мере проведения соответствующих хозяйственных и финансовых реформ. В результате в стране стало утверждаться “потребительское общество с растущим

потребительским классом, принявшим модель высоких технологий, суперкоммуникаций и ультрамодернизации” (с. 77). Но это означало попадание в долговую ловушку во имя интеграции в мировой рынок, социальные дисбалансы и моральный вакуум, поскольку оказались подорванными индийские культурные традиции, столь активно поддержанные в свое время Махатмой Ганди, Джавахарлалом Неру и их последователями. Правда, эти изменения находятся пока еще в начальной стадии.

Тем не менее раскол страны на две Индии — обеспеченную и нищую — усиливается. Нищета в Индии — это “не нищета ресурсов, а нищета справедливости”. Поэтому сейчас, по мнению Котхари, необходима активная реакция индийского общества на негативное воздействие современного глобализма — прежде всего защита прав простых людей на труд и образование, децентрализация управленческих и контрольных функций власти, искоренение коррупции и мафии (с. 145, 152-164).

Наконец, третий классик “третьемироведения” — сенегальский ученый арабского происхождения Самир Амин. В 70-х гг. он выступал как один из авторов известной теории “периферийного капитализма” — концепции, защищавшей интересы периферийных стран и направленной против “неоколониализма” развитого Центра. Во второй половине 80-х годов его воззрения стали менее радикальными — он допускал возможность “структурной адаптации” развивающихся государств в мирохозяйственные связи по правилам, устанавливаемым прежде всего развитыми странами.

Автору этих строк в конце 80-х годов довелось участвовать в крупной международной конференции в Дели, на которой он стал свидетелем того, как тезис участвовавшего там С. Амина о возможности “аккомодации” “третьего мира” к мировому капиталистическому хозяйству вызвал иронические и критические реплики представителей развивающихся стран. Однако в последнее время Самир Амин вернулся к своим прежним взглядам. Рассматриваемая здесь статья суммирует содержание нескольких его книг, выпущенных в 1993 — 1996 годах.

Так же, как В. Вертхейм, С. Амин рассматривает процессы глобализации (он употребляет термин “мондиализация”) и ее последствия для периферийных стран в исторической перспективе. Капиталистическая глобализация, по его схеме, прошла несколько фаз: 1) 1500 — 1800 гг., когда крупные торговые компании европейского Центра при поддержке абсолютных монархий Старого порядка осуществляли экспансию в Азии, Африке и Латинской Америке; 2) 1800 — 1945 гг., эпоха классического колониализма, сутью которого было овладение местными рынками и блокирование индустриализации на Периферии; 3) 1945 — 1990 гг., сложный и неоднозначный период, когда экспансия Центра была несколько приостановлена (крушение колониальной системы, попытки самостоятельного развития молодых государств, активное воздействие “второго мира”); 4) наконец, современный период, который начался еще в рамках предыдущего и характеризуется новым наступлением Центра на остальной, менее развитый мир.

Для С. Амина глобализация — это “идеологический дискурс, призванный легитимизировать стратегию империалистического капитала” (S. Amin, p. 34). Он употребляет термин “империализм” прежде всего в экономическом смысле, как обозначение внутренне присущей капиталу тенденции “мондиализироваться”, захватывать различные национальные рынки (хотя, конечно, экономическая экспансия может подкрепляться и политическими средствами). Нынешний век, по его мнению, достаточно четко показал: империализм — это не “стадия” капитализма, а его имманентная черта, то очевидная, то на время уходящая в тень.

Последствия происходящего сегодня процесса глобализации двояки. Во-первых, растет тенденция господства мировой экономики и мирового рынка над политикой и идеологией национальных государств. Во-вторых, усиливается поляризация уровней развития, поскольку рынки товаров и капиталов все более приобретают мировое измерение, а рынки рабочей силы остаются национально сегментированными (там же, p. 36).

Империалистическая тенденция была приглушена в первые десятилетия военного периода, когда капитализм Центра функционировал в режиме welfare state, бывшие колонии и зависимые территории Азии, Африки и Латинской Америки стремились обрести путь

независимого развития, наконец, существовал противовес “первому миру” в лице мира “второго”.

Но так продолжалось недолго. В 1975 г. страны ОЭСР отвергли предложенный “третьим миром” проект “нового международного экономического порядка”. Модель welfare state уступила место агрессивному неолиберально-монетаристскому подходу. На рубеже 80-90-х годов наступил коллапс социалистического мира — отчасти в силу его внутреннего кризиса, отчасти под давлением капиталистического Центра. Односторонняя логика капитализма восторжествовала и проявляется везде более или менее одинаково: рост ссудного процента, сокращение расходов на социальные нужды, отказ от политики максимальной занятости, изменение фискальной системы в пользу имущих, дерегулирование экономической и особенно социальной сферы, приватизация и т. п. Применительно к мировой Периферии данная модель ведет к ее “рекомпрадоризации” и новому этапу зависимости (долговой, торговой, технологической).

Центр, полагает С. Амин, и дальше будет стремиться к доминированию за счет поддержания пяти монополий: 1) монополии новейших технологий; 2) монополии на контроль за финансовыми потоками на глобальном уровне; 3) монополии на доступ к природным ресурсам планеты; 4) монополии на информацию и масс медиа; 5) монополии на оружие массового уничтожения (там же, р. 45).

Таким образом, складывается мировая иерархия, в которой ниже и дальше от Центра (США, Великобритания, Германия, Япония и др.) оказываются разные уровни Периферии — Восточная и Юго-Восточная Азия, Восточная Европа, Россия, Индия, Латинская Америка. Еще ниже и дальше — Африка и арабо-мусульманский мир, которые становятся все более маргинализированными и предоставленными самим себе. Но процессы поляризации будут идти и в Центре, “ядре мировой иерархии, где также складывается “общество двух скоростей”.

В целом, по схеме С. Амина, современная глобализация или “мондиализация” не несет ничего хорошего большинству человечества, а прежде всего — Периферии. Противопоставить ей можно лишь сопротивление трудящихся, направленное на достижение более равноправных отношений труда и капитала (как это было в первые послевоенные десятилетия), усиление значения национального и регионального уровней в противовес мировому, который на самом деле стал полем господства капитализма Центра с его “односторонней логикой” (там же, р. 46).

Таковы три работы ветеранов “третьемироведения”. Несмотря на какие-то свойственные каждому из них акценты и различие материала, на который они опираются, им присуща несомненная общность подхода — весьма критическая оценка складывающихся на сегодня центропериферических отношений. Возможно, что немало российских специалистов по Азии, Африке и Латинской Америке останутся перед названными трудами в недоумении — особенно те, для которых все, что имело хождение в науке двадцать — тридцать лет назад, “старо”, а ценно лишь то, что “ново”, то бишь придумано в последние годы. Все это мы уже проходили, скажут они, и если сегодня кто-то вспоминает прошлые погудки насчет “империализма” и “неоколониализма”, то это просто старческое ворчание.

Не думаю, чтобы все обстояло так просто. Не те это авторы, чтобы механически воспроизводить свои воззрения двадцати- тридцатилетней давности, не реагируя на изменившиеся обстоятельства. Другое дело, что все они сумели сохранить собственную цельность, присущий им концептуальный и ценностный подход (что, конечно, тоже не гарантирует от каких-то ошибок и просчетов). К тому же они вовсе не повторяют то, что писали раньше. Короче, старческий маразм здесь не при чем. И если три названных крупных ученых приходят к сходным выводам, стало быть, та объективная реальность, которую они оценивают в терминах “империализма”, “неоколониализма” и пр., дает к тому основания.

О чем, собственно, идет речь?

О том, что последние два десятилетия, действительно, образуют новый этап взаимоотношений Центра и Периферии, рубеж которого приходится на конец 70-х — начало

80-х годов. Тогда возникает так называемый долговой кризис развивающихся стран (вначале в особенности в Латинской Америке), и соответствующим образом видоизменяется политика Запада и международных финансовых организаций (МВФ, МБРР, ГАТТ и др.). Появляются structural adjustment programmes, займы “помощи”, которые предоставляются “слабакам” под определенные условия. А именно: либерализация внешнеэкономической деятельности, девальвация внешней валюты, повышение ставки кредита, приватизация госпредприятий, ужесточение налоговой политики, сокращение социальных расходов (замораживание зарплат, урезание прав профсоюзов, дотаций на социальные нужды) и пр. Логика этого набора пунктов (кстати, признававшаяся обеими сторонами) заключалась в стимулировании возвращения долгов, в лозунге “развитие ради своевременной и полной выплаты долгов”.

Каковы же оказались результаты? Посмотрим на следующие таблицы (данные Б.М. Болотина).

Таблица 1. Бремя внешней задолженности.

№ №	Страны-должники-1)	Внешний долг				Внешний долг, в %				Обслуживание долга, в % к экспорту	ВВП в ценах и по ППС, 1995 г.				
		Всего, млрд. долл.		на 1 жителя, долл.		к ВВП(2)		к экспорту			общий объем, млрд. долл.		на душу населения, долл.		
		1980 г.	1995 г.	1980 г.	1995 г.	1980 г.	1995 г.	1980 г.	1995 г.	1980 г.	1995 г.	1980 г.	1995 г.	1980 г.	1995 г.
1	Мексика	57,5	165,5	850	1800	30,5	70,0	230,0	170,5	44,5	24,0	555,0	715,0	8985	7770
2	Бразилия	71,5	159,0	600	100	31,0	24,0	305,0	270,0	63,5	38,0	645,0	960,0	5330	6050
3	Россия	...	120,5	...	815	...	37,5	...	127,0	...	6,6	970,0	625,0	7000	4225
4	Китай	4,5	118,0	5	10	2,0	17,0	...	77,3	...	9,9	535,0	2500,0	550	2085
5	Индонезия	21,0	108,0	140	560	28,0	57,0	...	203,0	...	31,0	325,0	750,0	2200	3900
6	Индия	20,5	94,0	30	100	12,0	28,0	135,0	200,0	9,5	28,0	635,0	1300,0	925	1400
7	Турция	19,0	73,5	430	1200	27,5	44,0	330,0	180,0	28,0	28,0	178,0	400,0	4050	6550
8	Таиланд	8,5	57,0	180	980	26,0	35,0	97,0	77,0	19,0	10,0	155,0	455,0	3300	7850
9	Польша	...	42,0	...	1075	...	36,0	...	27,0	...	12,0	255,0	245,0	7100	6300
10	Филиппины	17,5	39,5	365	575	53,5	51,5	210,0	120,0	27,0	16,0	160,0	200,0	3325	2900
11	Венесуэла	29,5	36,0	1965	1635	42,0	49,0	130,0	160,0	27,0	22,0	145,0	193,0	9650	8770
12	Нигерия	9,0	35,0	125	315	10,0	140,0	32,0	275,0	4,0	12,0	123,0	190,0	1725	1725
13	Египет	19,0	34,0	465	585	89,0	73,5	208,0	208,0	13,5	14,5	161,0	290,0	3925	5000
13	Малайзия	6,5	34,0	465	1700	28,0	43,0	44,5	41,0	6,5	8,0	79,0	200,0	5650	10000
15	Алжир	19,5	32,5	1025	1150	47,0	83,0	130,0	265,0	27,5	38,5	118,0	137,0	6200	4900
16	Венгрия	10,0	31,0	900	3100	45,0	73,0	...	175,0	...	39,0	90,0	70,0	8200	7000
16	Перу	9,5	31,0	600	1300	47,5	54,0	195,0	400,0	44,5	15,5	90,0	95,0	5300	3950

18	Паки-стан	10,0	30,0	120	230	42,5	49,5	210,0	260,0	18,5	35,5	165,0	365,0	1985	2800
19-20	Чили	12,0	25,5	1100	1825	45,5	43,5	192,5	127,5	43,0	25,5	81,0	147,0	7350	10500
19-20	Вьетнам	...	25,5	...	350	...	130,0	...	400,0	...	5,0	53,0	135,0	980	1850
21-22	Марокко	9,0	22,0	475	815	50,5	71,0	215,0	200,0	33,0	32,0	68,0	102,0	3575	3775
21-22	Сирия	3,5	21,5	400	1400	27,0	135,0	106,5	337,0	11,5	4,5	55,0	88,0	6100	6285
23	Колумбия	7,0	21,0	250	565	21,0	28,0	117,0	139,0	16,0	25,0	132,0	230,0	4700	6200
24	Котд'Ивуар	7,5	19,0	935	1350	77,0	252,0	205,0	420,0	39,0	23,0	22,0	22,0	2750	1575
25	Бангладеш	4,0	16,5	5	15	32,5	56,5	360,0	390,0	23,5	13,5	90,0	160,0	1025	1325

1) Страны ранжированы по абсолютному размеру долга в 1995 г.

2) Пересчет в доллары — по официальному обменному курсу.

Рассчитано по: World Bank, World Development Report, 1997. Selected World Development Indicators, pp. 214-248.

Таблица 2. Неравенство доходов в странах-должниках.

№ №	Страны-должники ¹⁾	1980 г., на душу населения, долл. 2)				1995 г., на душу населения, долл.			
		в среднем	высшие 10%	низшие 10%	коэффициент разрыва	в среднем	высшие 10%	низшие 10%	коэффициент разрыва
1	Мексика	5970	21000	1000	21,0	5050	20000	870	23,0
2	Бразилия	3725	17350	355	49,0	3925	20000	325	61,0
3	Россия	3850	4675	900	5,9	2535	8600	640	13,4
4	Китай	310	875	225	3,9	1250	3825	335	11,4
5	Индонезия	1520	5800	675	8,6	2535	6735	775	8,7
6	Индия	655	2325	290	8,0	915	2790	270	10,0
7	Турция	2840	8865	590	15,0	4250	17000	575	29,6
8	Таиланд	2340	13800	750	18,4	4825	18100	860	21,0
9	Польша	5000	7225	1600	4,5	4100	10250	1525	6,7
10	Филиппины	2300	5400	460	11,7	1885	6100	435	14,0
11	Венесуэла	6650	22600	925	24,4	5700	25000	825	30,3
12	Нигерия	1200	3380	140	24,0	1125	3600	135	86,7
13-14	Египет	2800	8750	1075	8,1	3275	8950	1025	8,7
13-14	Малайзия	3925	17850	1075	16,0	6500	25000	1000	25,0
15	Алжир	4475	7900	800	9,9	3200	10700	715	15,0
16-17	Венгрия	5900	10450	1800	5,8	4500	12000	1800	6,7
16-17	Перу	3500	7650	350	21,9	2500	8550	335	25,5
18	Пакистан	1400	4600	580	7,9	1800	4850	540	9,0
19-20	Чили	5450	27270	900	30,3	6800	32000	850	37,6
19-20	Вьетнам	550	2025	335	6,0	1225	3425	410	8,3
21-22	Марокко	2600	6300	630	10,0	2400	7400	600	12,3

21-22	Сирия	4400	10500	890	11,8	3925	12150	925	13,1
23	Колумбия	3225	14300	425	33,6	4050	16200	400	40,5
24	Кот д'Ивуар	1875	3125	375	8,3	1075	3575	350	10,2
25	Бангладеш	750	1550	290	5,3	875	2250	290	7,8

1) Страны ранжированы по абсолютному размеру долга в 1995 г.

2) В целом и по паритетах покупательной способности национальных валют в 1995 г.

Расчитано по: World Bank, World Development Report, 1997. Selected World Development Indicators, pp. 214-248.

Мы видим, что внешний долг повсеместно растет. По Латинской Америке в целом за рассматриваемый период он увеличился более чем в два раза, достигнув в 1995 г. 608 млрд. долларов. По ряду отдельных стран долг увеличился еще больше — в 3-4 раза. В большинстве случаев увеличилось и процентное отношение долга к ВВП.

Можно констатировать также снижение в ряде случаев такого ключевого показателя экономического развития, как ВВП на душу населения (Мексика, Перу, Венесуэла, Филиппины, Алжир, Кот д'Ивуар и др.). Если же имело место его повышение, то оно было значительно меньшим относительно с растущим бременем долга.

И еще: во всех без исключения указанных странах наблюдалась тенденция усиления социальной дифференциации, рост разрыва в доходах. По некоторым странам так называемый децильный коэффициент (разница в доходах верхних и нижних 10% населения) достиг чудовищных размеров (Бразилия — 61, Нигерия — почти 87 и др.). При подобной тенденции трудно говорить о каком-либо действительном развитии на Периферии.

Из приведенных данных можно, как минимум, сделать вывод о том, что страны, активно прибегавшие к внешним заимствованиям ради обеспечения экономического роста, не имели в своем развитии каких-либо преимуществ перед теми государствами, которые полагались в основном на внутренние ресурсы. Скорее наоборот, — страны, которые были меньше вовлечены в “игры” с международными финансовыми организациями и другими иностранными заемщиками (например, Китай), демонстрируют более убедительную динамику хозяйственного развития. Даже в тех случаях, когда зарубежные займы и кредиты поначалу стимулировали некоторые экономические подвижки, затем увеличение бремени обслуживания внешнего долга (возврата его основной части и выплаты процентов) приводило к существенному уменьшению инвестиций и текущего потребления, к замедлению развития и консервации бедности и нищеты в странах-должниках. Задолженность превратилась в новую форму зависимости Периферии от Центра и фактор, увеличивающий расстояние между ними.

Уже в конце 80-х годов появились первые анализы результатов политики международных финансовых организаций в Латинской Америке и Африке, где эта политика представляла чем-то вроде “сказки про белого бычка”. За предоставленные займы МВФ и К^о требовали либерализовать торговлю, девальвировать местную валюту и сократить социальные расходы, что приводило к снижению покупательной способности населения, экономическому спаду, сокращению инвестиций (тем более, что значительная часть доходов от экспорта шла на уплату долга), инфляции, утечке капиталов за рубеж. Эти прорехи приходилось покрывать новыми долгами и т. д.

Приведенные данные охватывают период 1980 — 1995 гг. С тех пор картина дополнилась такими впечатляющими событиями, как крупномасштабные долговые и финансовые кризисы в Мексике, Юго-Восточной и Восточной Азии, России, Бразилии (кто следующий?), что заставляет задуматься о некоей “системности” происходящей финансовой глобализации, о каких-то ее стойких характеристиках и закономерностях, а также последствиях ее для Периферии. Тем более, что сейчас пострадавшими оказались такие страны, которые по многим показателям уже выходили за рамки “развивающихся”.

МВФ, МБРР, ВТО и др. — это действительно “система”. Прежде всего — идеология, которая жестко связана с постулатами монетаристского неолиберализма. Правда, при ближайшем рассмотрении эти постулаты не кажутся такими уж бесспорными. Скажем, в обмен на “пакеты помощи” международные финансовые организации требуют либерализации экспорта и импорта в “принимающей стране”, что должно улучшить ее платежный баланс. Аргументы: либерализация импорта усилит конкуренцию на внутреннем рынке, будут ввезены

новые технологии, качество местной продукции улучшится, что позволит ее экспортировать, а это улучшит платежный баланс. Но если исходить не из абстрактной логики, а из реального положения дел, то страны Периферии вывозили и вывозят главным образом сырье, получая взамен от Центра готовые изделия и устаревшие технологии. Поэтому рекомендации МВФ очень напоминают ситуацию боксерского поединка, когда тяжеловес выходит против “мухача” и говорит ему: давай либерализуем весовые категории и проведем честное состязание, в бою ты наберешься опыта, нарастишь мускулы и станешь конкурентоспособным. Нетрудно предвидеть, чем это все закончится.

Или возьмем другое условие помощи со стороны международных финансовых организаций: надо привести в порядок бюджет и его доходную часть, а для этого ужесточить сбор налогов. Этой рекомендации в аккурат следовали российские либеральные реформаторы в 1992-97 гг. И что же? Налоги доходили до 80-90%, а то и больше, огромная доля предприятий стала попросту нерентабельной, спад национального производства принял обвальный характер. Зато в бюджете концы с концами вроде бы сводились.

И так комментировать можно было бы практически любое “правило игры” международных финансовых организаций. Не то чтобы эти “правила” были совсем неверны (в каких-то ситуациях, например, в развитой рыночной среде, они могут и срабатывать). Сомнительность их прежде всего в том, что они применяются без разбора к любой стране, будь то Бразилия, Гана, Филиппины и т. д. Это дало основание одному индийскому автору сравнить МВФ и К^о со “средневековым доктором, чье стандартное лекарство — пустить пациенту кровь, какова бы ни была болезнь; причем чем хуже чувствует себя пациент, тем больше крови из него выпускают”.

Не случайно за последние годы все громче становится хор критиков, указывающих на “ошибки” в политике международных финансовых организаций. Ошибки эти, действительно, трудно не заметить. Например, предлагая в конце 1997 г. пакет помощи Южной Корее, эксперты МВФ утверждали, что уже в следующем году будет достигнут экономический рост в 1%, тогда как на деле в 1998 г. объем производства упал на 6%. Требования МВФ к Индонезии либерализовать внутренние цены на энергоносители (прежде всего бензин), а также ликвидировать государственные субсидии на поддержку низких цен на некоторые базовые виды продовольствия привели к взрывам массового недовольства, дестабилизации ситуации в стране, что во многом подтолкнуло финансовый кризис.

За этими и подобными просчетами стоит некий общий парадокс, особенно наглядный на примере недавнего финансового обвала в странах Юго-Восточной и Восточной Азии. А именно: в ответ на трудности, возникшие как результат финансовой либерализации (проводимой азиатскими государствами по предписанию МВФ), МВФ настаивала... на еще большей финансовой либерализации. Такой рецепт, по оценке малайзийского экономиста К. Джомо, становился не чем иным, как способом “раздувать пламя” (fanning the flames), так сказать, заливать пожар бензином. Ибо сжатие денежной массы и удорожание кредита приводили к коллапсу фирм, безработице, падению покупательной способности населения, а на этой основе — к еще более возраставшим финансовым трудностям и т. д.

Наконец, повсеместным последствием экономической и финансовой либерализации в духе программ МВФ и ВТО было значительное обострение социальных проблем. В конце декабря 1997 г. в Индонезии потеряли работу порядка 6 млн. человек. Аналогичным образом обстояло дело в Малайзии, Южной Корее, ряде других азиатских и африканских стран. Но урезание социальных расходов прямо входит в conditionalities международных финансовых организаций.

В общем, ошибок и просчетов в “программах структурной адаптации” было предостаточно. Но есть ли это только ошибки? Иными словами, движимы ли поборники нынешней глобализации лишь некоей идеологической зашоренностью, слепой верой во всеисилие “невидимой руки” рынка? Задаваться подобными вопросами побуждает именно та самая странная повторяемость в действиях, которая характерна для международных финансовых организаций. Ни разу с их стороны не возникало поползновения признать

какие-либо просчеты, внести какие-то коррективы в свои действия, хотя каждый раз неблагоприятные последствия этих действий для стран Периферии, что называется, били в глаза.

Более того, сегодня достаточно отчетливо просматривается и механизм периодического обострения финансовых и долговых проблем в незападных странах. Сначала — приток краткосрочных инвестиций, в основном спекулятивного характера, разогревание фондового рынка “принимающей страны” (причем — с рекомендации международных финансовых центров). Затем — быстрый отток спекулятивных (“дешевых”) долларов из страны, обвал финансового рынка и формирование “пакета помощи”, но уже из “подорожавших” долларов (не 5-6%, а порядка 30% годовых). Так было в Мексике в 1995 г., в Юго-Восточной Азии в 1997 г., в России и Бразилии в 1998 г. Но что-то похожее было и в конце 70-х — начале 80-х гг. в Латинской Америке, когда долговая проблема еще только возникала.

Таков механизм роста долговой зависимости Периферии. Но ведь долг не может расти бесконечно. В какой-то момент, когда он становится совсем неподъемным, периферийной стране предлагают: отдавайте долги продажей собственности, акций национальных компаний и контрольных пакетов банков. Эта идея была выдвинута в 1989 г. американским сенатором Брэйди, и в общем и целом она реализуется. Один из последних примеров — приобретение западными компаниями крупных пакетов акций (естественно, значительно упавших в цене) южнокорейских “чеболей”.

Могут спросить: а кто, собственно, принуждал периферийные страны — правительства или частные фирмы — занимать деньги, пользоваться услугами МВФ, пускать к себе внешний спекулятивный капитал и самим активно участвовать в “мыльных” финансовых операциях? Что ж, этот вопрос вполне законен. Роль международных финансовых организаций, капитала Центра в процессе глобализации — это лишь одна сторона дела. А другая сторона — прямое участие в этом процессе национальных экономических и политических элит, их стратегическая близорукость и прямые корыстные мотивы. Раджни Котхари, цитировавшийся выше, совершенно прав — идеология монетаристского неолиберализма имеет несколько не меньше адептов на Периферии, чем в Центре. Между обеими “группами интересов” имеются полное взаимопонимание и контакт. И это — один из самых существенных результатов процесса глобализации.

Было бы упрощением объяснять все неким заговором Центра против Периферии. Мир слишком сложен и многообразен чтобы манипулироваться группой пусть даже могущественных людей, так же как происходящая на наших глазах глобализация не сводится к ее негативным сторонам и последствиям. В общем-то, не столь и важно, как оценивают свои действия высокие чиновники международных финансовых организаций или транснациональных фирм. (Вполне возможно, что они даже сами себя уверяют, что занимаются благородной помощью бедным странам.) В их мотивах пусть разбираются будущие историки. Но объективная картина пока такова, что “международная финансовая система и ее дальнейшая либерализация работает на тех, кто уже доминирует и занимает привилегированные позиции в мировой экономике — в ущерб реальному производству и развитию Юга”. Эта объективная тенденция, как нам представляется, вполне адекватно отражена в рассмотренных нами работах зарубежных классиков “третье-мироведения”.

А.И. Неклесса

ЭПИЛОГ ИСТОРИИ, или модернизация versus ОРИЕНТАЛИЗАЦИЯ

1.МИР ПОСТМОДЕРНА ЛОМАЕТ ГОРИЗОНТ ИСТОРИИ

Мир XX века заставляет вспомнить времена переселения народов. Завершающийся век демонстрирует невиданные ранее возможности доступности и мгновенного “перемещения событий”, проекции властных решений практически в любой регион Земли. К тому же многие угрозы и вызовы, вставшие в полный рост перед нами на пороге нового тысячелетия, также носят глобальный, всемирный характер. Социальный бульон, бурлящий сейчас на планете, готов породить **новое мироустройство**, открыв новую главу всемирной истории. При этом нестабильность, изменчивость социального kaleidoscope парадоксальным образом становится наиболее устойчивой характеристикой современности. Происходит интенсивная трансформация общественных институтов, изменение всей социальной, культурной среды обитания человека и параллельно — его взглядов на смысл и цели бытия.

Подобный сдвиг времен и мешанина событий усиливают интерес к эффективному стратегическому прогнозу. Однако, вопреки ожиданиям, современная теоретическая мысль продемонстрировала изрядную растерянность и неадекватность требованиям времени, упустив из поля зрения нечто качественно важное, определившее в конечном счете реальный ход событий. И тому были свои веские причины.

На протяжении ряда десятилетий общественные науки (а равно и стратегический анализ, прогноз, планирование в этой сфере) были разделены как бы на два русла. Интеллектуальная деятельность коммунистического Востока оказалась в прокрустовом ложе догмы и конъюнктуры, а следовательно, — не готовой к вызову времени. Но и западная социальная наука, особенно североамериканская футурология, связанная с именами Дэниела Белла и Маршалла Маклюэна, Германа Кана и Олвина Тоффлера, Джона Несбита и Френсиса Фукуямы, также пребывала в плену стереотипов, обобщенных в образах эгалитарной глобальной деревни и благостного, либерального конца истории.

Впрочем, все эти иллюзии и клише имели общее основание — они являлись двумя вариантами единой идеологии Нового времени и базировались на ее ценностных установках и ее парадигме — парадигме прогресса. Но так уж сложилось — именно это основание и подверглось существенному испытанию на прочность в конце XX века, переживая ныне серьезный кризис.

В 90-е годы, после исчезновения с политической карты СССР, вопреки многочисленным прогнозам и ожиданиям, глобальная ситуация отнюдь не стала более благостной. Напротив, она обнажила какие-то незалеченные раны, незаметные прежде изломы и изгибы. Мир словно бы привстал на дыбы... Различные интеллектуальные и духовные лидеры заговорили о наступлении периода глобальной смуты, о грядущем столкновении цивилизаций, о движении общества к новому тоталитаризму, о реальной угрозе демократии со стороны неограниченного в своем “беспределе” либерализма и рыночной стихии... События последнего десятилетия, когда столь обыденным для нашего слуха становится словосочетание “гуманитарная катастрофа”, явно разрушают недавние футурологические догмы и социальные клише, предвещающая весьма драматичный образ наступающего XXI века. На наших глазах происходит серьезная переоценка ситуации, складывающейся на планете, пересмотр актуальных по сей день концептов, уверенно предлагавшихся совсем недавно прогнозов и решений.

Социальная организация предшествовавшего периода достигла своей вершины, *глобализации* (хотя это определение и не получило в ту пору распространения) приблизительно незадолго до

первой мировой войны. После нее, собственно, и возникла проблема нового порядка как по-своему неизбежная череда вариаций на тему формы и содержания новой планетарной конструкции, будь то в ее версальском варианте с приложением в виде Лиги Наций, в российской версии перманентной революции и планов создания всемирного коммунистического общества, в германском, краткосрочном, но глубоко врезавшимся в историческую память человечества *Ordnung*'ом, ялтинско-хельсинкским “позолоченным периодом” XX века, увенчанным ООН и прошедшим под знаком биполярной определенности...

И, наконец, в конце века возникла устойчивая тема Нового мирового порядка с заглавной буквы в русле американоцентричных схем современной эпохи. “Это поистине замечательная идея — новый мировой порядок, в рамках которого народы могут объединиться друг с другом ради общей цели, для реализации единой устремленности человечества к миру и безопасности, свободе и правопорядку, — заявлял в 1991 году 41-й президент США Джордж Буш. Добавляя при этом: “Лишь Соединенные Штаты обладают необходимой моральной убежденностью и реальными средствами для поддержания его (нового миропорядка – А.Н.)”. А в 1998 году на торжествах, посвященных 75-летию журнала “Тайм”, нынешний, 42-й президент США Уильям Клинтон уточнил: “Прогресс свободы сделал это столетие Американским веком. С Божьей помощью... мы сделаем XXI век Новым Американским веком”. Черта была подведена на самом краю уходящего века – в марте 1999 года, когда просел каркас прежнего мироустройства, определенного триста пятьдесят лет назад Вестфальским миром 1648 года, – международное право, основанное на принципе национального суверенитета.

Однако история, которая есть *бытие в действии*, оказывается шире умозрительных социальных конструкций, непредсказуемее политически мотивированных прогнозов. И вот уже наряду с моделью исторически продолжительного североцентричного порядка (во главе с Соединенными Штатами) сейчас с пристальным вниманием рассматривается пока еще смутный облик следующего поколения сценариев грядущего миропорядка. Среди них: вероятность контрнаступления мобилизационных проектов; господство постхристианских и восточных цивилизационных схем; перспективы развития глобального финансово-экономического кризиса с последующим кардинальным изменением основ социального строя; будущая универсальная децентрализация либо геоэкономическая реструктуризация международного сообщества... Существуют и гораздо менее распространенные в общественном сознании ориенталистские схемы обустройства мира эпохи Постмодерна — от исламских, фундаменталистских проектов до конфуцианских концептов, связанных с темой приближения “века Китая”. Зримо проявилась также вероятность глобальной альтернативы цивилизационному процессу: возможность *распечатывания* запретных кодов мира антиистории, освобождения социального хаоса, выхода на поверхность и легитимации мирового андеграунда.

* * *

В сумбурной, на первый взгляд, реальности наших дней можно выделить **три основные конкурирующие версии развития человеческого универсума**, три крупноформатных проекта обустройства планеты.

Основной социальный замысел, развивавшийся на протяжении последних двух тысяч лет и в значительной мере предопределивший современное нам мироустройство — проект **Большого Модерна**, был тесно связан с христианской культурой. Отринув полифонию традиционного мира и последовательно реализуя евроцентричную (а впоследствии — североцентричную) конфигурацию глобальной Ойкумены, он заложил основы западной или североатлантической цивилизации, доминирующей ныне на планете. Его историческая цель (или, по крайней мере, цель его последнего этапа — эпохи Нового времени) — построение универсального сообщества, основанного на постулатах свободы личности, демократии и гуманизма, научного и культурного прогресса, повсеместного распространения “священного принципа” частной

собственности и рыночной модели индустриальной экономики. Его логическая вершина — вселенское содружество национальных организмов, их объединение в рамках глобального гражданского общества, находящегося под эгидой коллективного межгосударственного центра. Подобный ареопаг, постепенно перенимая функции национальных правительств, преобразовывал бы их в дальнейшем в своего рода региональные администрации...

Частично реализуясь, грандиозный замысел сталкивается, однако, со все более неразрешимыми трудностями (прежде всего из-за фундаментальной культурной неоднородности мира, резкого экономического неравенства на планете) и, кажется, достиг каких-то качественных пределов, претерпевая одновременно серьезную трансформацию. Например, система демократического управления обществом, распространяясь по планете, не только в ряде регионов существенно меняет свой облик, но и заметно модифицирует внутреннее содержание, рождая, в частности, такие химеры, как “управляемая демократия” или “авторитарная демократия”, либо откровенно симулируя парламентские формы политического устройства общества, иной раз прямо сосуществующие с достаточно выраженной автократией (например, в ряде стран Третьего мира или же на постсоветском пространстве). Не менее симптоматично распространение квазидемократии “акционерных обществ”, то есть организаций, необязательно экономических, принимающих решения по принципу “один доллар – один голос”. Параллельно с данными мутациями политических институтов все отчетливее проявляется еще один тип перестройки механизмов публичной политики. Так, наряду с признанной системой выборных органов власти все активнее действует многоярусная сеть подотчетных гораздо более узкому кругу лиц (по сравнению с представительной демократией) разнообразных неправительственных институтов и организаций. Seriously разнясь по своим возможностям и уровню влияния на социальные процессы (подчас весьма эффективного), в совокупности они формируют достаточно противоречивую и не всегда простую для понимания, но все более ощутимую систему контроля над обществом.

История XX века — это также ряд событий, последовательно разводящих модернизацию мира и экспансию христианской культуры, лежащую в ее основе, усиливающих их взаимное отчуждение. Христианская цивилизация, становясь глобальной, вмещала и объединяла все более многочисленные, все более разнообразные культурные и религиозные меньшинства. При этом она испытывала растущие неудобства, декларируя собственную исключительность, и даже затруднялась порой просто подтвердить свою идентичность. В сущности, сколь странным это утверждение ни покажется, христианское общество (стремясь поддержать необходимый баланс между обществом духовным и гражданским, целями метафизическими и политическими) подверглось более чем парадоксальной культурной агрессии именно вследствие своего доминирующего положения...

В ходе нарастающей прагматизации общественного сознания происходило постепенное перерождение *секуляризации* западного сообщества в фактическую *дехристианизацию* его социальной ткани, что неизбежно влекло за собой коррозию и распад начал двухтысячелетней цивилизации. Кроме того, становится все более очевидным расхождение основополагающих для западного социума векторов политической *демократизации* и экономической *либерализации*, особенно заметное на глобальных масштабах. Модернизация явно утрачивает присущую ей ранее симфонию культуры и цивилизации.

Феномен Модерна (уже претерпев серьезную трансформацию внутри североатлантического ареала) был по-своему воспринят и переплавлен в недрах неотрадиционных, восточных обществ, в ряде случаев полностью отринувших его культурные корни и исторические замыслы, но вполне воспринявших внешнюю оболочку современности, ее поступательный цивилизационный импульс. Иначе говоря, духовный кризис современной цивилизации проявился в расщеплении процессов *модернизации* и *вестернизации* на обширных пространствах Третьего мира. В результате, во второй половине XX века традиционная периферия евроцентричного универсума породила ответную цивилизационную волну, реализовав повторную встречу, а затем и синтез поднимающегося из вод истории Нового

Востока с секулярным Западом, утрачивающим свой привычный культурный горизонт. Роли основных персонажей исторической драмы как бы перевернулись: теперь, кажется, Запад защищает сословность, а жернова Востока распространяют гомогенность. Культура христианской Ойкумены, все более смещаясь в сторону вполне земных, материальных, *человеческих, слишком человеческих* ценностей, столкнулась с рационализмом и практичностью неотрадиционного мира, успешно оседлавшего к этому времени блуждающую по планете волну утилитарности и прагматизма. Первые плоды глобализации имеют в итоге странный синтетический привкус, а порожденные ею конструкции, являясь универсальной инфраструктурой, подчас напоминают мегаломаничную ирригационную систему, чьи каналы, в частности, обеспечивают растекание по планете упрощенной информации и суррогата новой массовой культуры. В результате распространение идеалов свободы и демократии нередко подменяется экспансией энтропийных, понижающихся стандартов в различных сферах жизни, затрагивая при этом не только духовные и культурные, но и социально-экономические реалии. Такие, например, как предпринимательская этика, качество товаров массового спроса, множась формы новой бедности и т.п.

Рожденная на финише второго тысячелетия неравновесная, эклектичная и в значительной мере космополитичная конструкция глобального сообщества есть, таким образом, продукт постмодернизационных усилий и совместного творчества *всех* актуальных персонажей современного мира. Происходит плавная смена мирового этоса. Культурно-исторический геном эпохи социального **Постмодерна** утверждает на планете собственный исторический ландшафт, политико-правовые и социально-экономические реалии которого заметно отличны от институтов общества Модерна. Постмодернизационный синтез, объединяющий на новой основе мировой Север с мировым Югом, выводит прежние “большие смыслы” — в виде ли развернутых политических или идеологических конструкций — за пределы современного исторического контекста. Несостоявшееся социальное единение планеты на практике замещается ее хозяйственной унификацией. А место мирового правительства, которое должно было бы действовать на основе объединения наций, фактически занимает безлика, или прямо анонимная, экономическая власть.

Наконец, все более заметны признаки **демодернизации** отдельных частей человеческого сообщества, пробуждения процессов социальной и культурной инверсии, ставящих под сомнение сам принцип нового мирового порядка, формируя обратную историческую перспективу *постглобализма* — подвижный и зыбкий контур новой мировой анархии. Так, мы наблюдаем разнообразные, хотя и не всегда вытиснутые признаки социальной деконструкции и культурной энтропии в рамках мирового Севера. Под внешне цивилизованной оболочкой здесь в ряде случаев утверждаются паразитарные механизмы, противоречащие самому духу эпохи Нового времени, рождая соответствующие масштабные стратегии и технологии, например, — в валютно-финансовой сфере.

Параллельно механизмы *цивилизационной коррупции* шаг за шагом разъедают социальный порядок и ткань общества как в кризисных районах посткоммунистического мира, так и мирового Юга. В результате на планете возникает феномен Глубокого Юга, объединяющий в единое целое и трансрегиональную неокриминальную индустрию, и “трофейную экономику” новых независимых государств, и тревожные признаки прямого очагового распада цивилизации (ярким примером чему могут служить Афганистан, Чечня, Таджикистан, некоторые африканские территории, разнообразные “золотые земли” и т.д.).

Процессы демодернизации — это также второе дыхание духовных традиций и течений, отодвинутых в свое время в тень ценностями общества Модерна; взглядов и воззрений, иной раз прямо антагонистичных по отношению к культурным основам и устремлениям Нового времени. Они выходят на поверхность то в виде разнообразных неязыческих концептов, плотно насытивших культурное пространство западного мира, то как феномен возрождения и прорыва фундаменталистских моделей (а равно и соответствующих политических инициатив) на обширных просторах мировой периферии.

Пока демодернизация не является магистральным направлением социального развития, но

она, пожалуй, уже и не просто аморфная сумма разрозненных явлений маргинального характера. Скорее всего, это многозначительный дополнительный вектор формирующегося мира. В данной тенденции прослеживается нарастающая вероятность наступления некоего момента истины цивилизации, особенно в случае масштабных социальных, финансово-экономических или экологических потрясений. И, не исключено, — *поворота истории* — утверждения на планете неoarхаичной культуры, которая уже сейчас, подобно метастазам, в полускрытых формах пронизывает плоть современного общества.

Столкновение всех этих могучих волн порождает в итоге единый синтетический коллаж **Нового мира**.

* * *

Эпилог модернизации — калейдоскоп событий XX века, как бы повторяет в сжатом виде структурные черты европейской истории последнего тысячелетия, но на сей раз уже в глобальном масштабе. Вспомним исторические вехи уходящего со сцены *второго миллениума*: в его начале — фактический распад государственной системы предшествовавшего периода и своеобразная “приватизация власти” (что нашло в то время выражение в феномене кастелянства); затем — аграрная революция, сопровождавшаяся устойчивым демографическим взрывом (в современном мире ее аналогом, кажется, служит знаменитая “зеленая революция”). Затем наступила эпоха географических открытий, зародились связанные с ней миграция, торговая и колониальная экспансия и т.п. Возникли все усложнявшиеся схемы денежно-финансового обращения, произошли промышленная и социальная революции... И, наконец, стало явлю повсеместное, глобальное присутствие цивилизации, по-своему завершившее второй тысячелетний круг истории современного мира. Крушение сословного социального порядка — наряду с невиданным развитием производительных сил — сформировали новый облик западноевропейского общества и теперь, казалось бы, могли инициировать удивительную трансмутацию всего международного сообщества, основываясь на достигнутом уровне процветания, универсальных принципах Нового времени: *libertū, ūgalitū, fraternitū*. Однако этого не произошло, и история пошла другим путем.

Вместо наступления эры глобального инновационно-промышленного триумфа и социальной универсализации Ойкумены случился какой-то исторический сбой, и век XX — время мировых войн и революций — стал, возможно, самым неровным, трагичным веком двухтысячелетней истории современного мира, обозначив как пик человеческого могущества, так и некий глубокий изъян в самом механизме цивилизации.

Нынешний кризис исторического проекта Нового времени в значительной степени смешал карты, нарушил зарождавшуюся гармонию, и во чреве существующего миропорядка возник темный зародыш грядущей глобальной смуты...

Становление европейского Модерна происходило в контексте обширной периферии, принимавшей волна за волной его экспансию, его избыточное население (неизбежное следствие экономического развития) и одновременно поставлявшей материальные ресурсы для “котла прогресса”. Но модернизация предопределила также практическое исчерпание окружающего пространства, а демографическая экспансия обрушивается теперь из внешних зон на историческую родину цивилизации Модерна, трансформируя прежнюю общемировую картину в постмодернистскую мозаику.

Возможно, однако, что наряду с другими вескими причинами (зерно которых — искусственно привилегированного, “островного” статуса североатлантической Ойкумены) именно препоны, воздвигаемые на пути этого новейшего переселения народов, одностороннее открытие границ более для капиталов и товаров, чем для людей, — то есть утверждение национально-государственной, а заодно и новой, региональной *сословности*, — явились ключевыми факторами, затормозившими наступление последней прогнозируемой фазы внутреннего кода мира Модерна.

Искусственное пролонгирование неравенства в масштабе планеты позволило сохранить и даже упрочить североцентричную модель разделения труда, использовать проклюнувшуюся универсальность мира для глобального перераспределения ресурсов и доходов, выстраивая на морях и континентах изощренную геоэкономическую конструкцию. Иначе говоря, имеет место некоторый исторический парадокс — на гребне процесса *универсальной* модернизации произошло устойчивое социальное *расслоение* мира. Круг как бы замкнулся (а вектор истории — надломился). И под сенью нынешней глобализации на планете Земля утверждается очередной вариант весьма иерархичной топологии человеческого универсума.

Современные трактовки глобализации нередко являются своего рода *fables convenues*. Так, глобальная экономика не есть некое универсальное предприятие стран и народов планеты. В этой области существует много расхожих штампов и мифов, которые не вполне подтверждаются статистикой уходящего века, а иной раз прямо противоречат ей. Это касается, например, динамики внешнеторгового оборота по отношению к производству, доли вывоза капитала от ВВП или движения трудовых ресурсов в течение всего XX века. На самом деле эти показатели достигли максимума непосредственно перед первой мировой войной. Затем их динамика шла по синусоиде, дважды снижаясь после мировых войн, и снова достигла прежнего максимума лишь в середине 90-х годов уходящего века. На планете тем временем происходит не столько экономическая конвергенция (корелянтом которой могло бы служить политическое и социальное единение глобального сообщества), сколько унификация определенных правил игры, повсеместная информатизация, обеспечение прозрачности экономического пространства, установление мировой коммуникационной сети.

Глобализация же производственных и торговых транзакций в значительной мере связана с феноменом ТНК и операциями, осуществляемыми между их филиалами. А кроме того, имеет место сложный и многозначительный процесс, который можно было бы охарактеризовать как “новый регионализм”: формирование макрорегиональных пространств на фоне геоэкономического расслоения мира, умножение социально-экономических коалиций и союзов (как в свое время весь мир разделили границы военно-политических блоков). Но самое главное — это все-таки находящаяся в становлении система глобального управления, во-первых, ресурсами планеты, во-вторых, всей экономической деятельностью на ней.

Одновременно складывается впечатление, что в рамках современной модели глобальной экономики особое преимущество получают скорее *оптимизационные* схемы, способствующие извлечению дополнительных выгод из неравновесности мировой среды, а также родственные им по духу валютно-финансовые комбинации. Процессы же *радикального преобразования производственных механизмов*, в значительной мере игнорируются; ныне они как бы лишены своего, столь характерного для последних столетий, исключительного статуса.

Действительно, ведь основным источником исторически небывалого материального богатства, наполнявшего мир и общество Нового времени, были все-таки не столько культура накопления или умелое использование капитала и не эксплуатация, сопровождавшаяся присвоением прибавочной стоимости либо ограблением колоний, но, прежде всего, — **инновационные скачки, творческое изобилие**, постоянно преображавшее производственные схемы и механизмы. Между тем общество, судя по ряду признаков, постепенно возвращается к доминированию такого, казалось бы, отошедшего в прошлое, нефеодалного алгоритма построения хозяйственной жизни, который позволяет устойчиво существовать, планомерно взимая своеобразную ренту (или сверхприбыль, или, если угодно, “дань”) с социально-экономической неоднородности мира.

В результате всех этих процессов перед человечеством открываются неведомые ранее социальные перспективы, и, по сути, закладывается фундамент иной исторической эпохи...

Одновременно ветшает и меняется на глазах национально-государственная структура международных отношений, трансформируется международное право, базировавшееся на принципе незыблемости национального суверенитета, отказе отдельных стран и группировок от произвольного применения силы. Переживает серьезную деформацию также индустриальная экономика, задвигаемая ныне в тень виртуальной неэкономикой финансовых

технологий. Кардинальные изменения претерпевает и сфера идеологии, вся современная мировая культура, отмеченная *повторной встречей* посттрадиционного Востока и современного Запада. Их предыдущее столкновение на путях экспансии европейской христианской цивилизации утвердило когда-то модель евроцентричного мира, запустило процесс модернизации мировой периферии. На сей раз, однако, встреча культур происходит под знаком социального Постмодерна и одновременно — вероятного пробуждения неорархаики. Знаменует же она, судя по всему, некую новую версию *ориентализации* глобального сообщества... Иные, старые цивилизации начинают говорить в этом мире на вполне современном языке центров экономического влияния, политических коалиций и международных систем управления.

И в то же время постепенно утверждается синкретичный и материалистичный Рах Есопомисана, своего рода прообраз муравьиного “царства Магога”, возвращая из исторического небытия призрак дурной, *горизонтальной* бесконечности Древнего Мира. По-своему ориентализируется и проваливающийся в “азиатчину”, в худшем смысле слова, прозябающий в скудости и неурядицах постсоветский мир.

* * *

Значительная часть обитателей планеты оказалась, по-видимому, в плену стойкой иллюзии. В общественном сознании образ нового мира существует как образ западной, европейской, североатлантической цивилизации, достигшей планетарных пределов. Что и говорить, это мироустройство сейчас доминирует на планете. Возражать тут было бы бессмысленно. Но, тем не менее, возникает целый ряд вопросов: так ли уж все однозначно и просто в отсчитывающем последние часы XX века механизме современной цивилизации? Не скрыто ли под глобальным мороком продукции Голливуда и повсеместным присутствием Интернета формирование иной, могущественной, но молчащей до поры реальности? Будет ли наступающий исторический эон, “прекрасный Новый мир” действительно таковым, каким его изображают футурологические штампы, то есть глобальным вестернизированным сообществом? И является ли современная вестернизация законной наследницей двухтысячелетней экспансии христианской цивилизации? Не содержит ли в себе нынешняя эпоха некий противоречивый код, восстанавливающий в чем-то условия существования человека дохристианского мира? Или же грядущая эра — совершенно новый “век Водолея” — неведомый и неожиданный на пиру гость, поведение которого способно вызвать то ли оторопь изумления, то ли подспудный, нарастающий ужас? Тут пристальный, внимательный взгляд на существующее положение вещей, методичное, беспристрастное изучение имеющихся фактов нередко помогают опознать достаточно неожиданные реалии и закономерности. Приведу лишь один пример. Общеизвестным фактом является ширящееся распространение в наши дни английского языка. В той или иной форме им владеют около полутора миллиардов людей. Однако же вот что говорят нам данные официальной статистики ООН. Если в 1958 году 9,6% населения Земли считали этот язык родным, то в середине 90-х — уже только 6,9%. Подобное положение вещей еще более характерно для других основных европейских языков: доля их носителей была полвека назад выше, чем сейчас, приблизительно на четверть... Иерархия же языковых систем на пороге XXI века выглядит достаточно экзотично: китайский, английский, испанский, хинди, бенгали, арабский, португальский, русский.

Однако дело не только в распространении восточных языков. Растущее влияние Востока на состояние и судьбы цивилизации весьма противоречиво и неоднородно, особенно в странах и территориях самого Третьего мира. Здесь тенденция распадается на два русла, очерчивая два полярных сценария развития событий. Во-первых, это феномен *тихоокеанской революции*: стремительное по историческим меркам формирование на просторах Большого тихоокеанского кольца другого, *последующего* пространства индустриального сообщества — **Нового Востока**. Во вторых, — нарастание признаков социальной и культурной инверсии в некоторых районах мировой периферии, в сумме образующих архипелаг проблемных территорий, в той или иной

мере пораженных вирусом социального хаоса, – Глубокий Юг.

* * *

Возрождение Востока во второй половине XX века было ослепительной очевидностью. И одновременно значение этого феномена странным образом недооценивалось. Двусмысленную роль, как ни странно, сыграл, пожалуй, процесс деколонизации. Да, на мировой сцене появились десятки новых государств. Но в то же время очевидная уязвимость, нередко несамостоятельность, отчасти, хрупкость слишком многих из них, многочисленные проблемы, связанные с их слабостью и трудностями развития — все это последовательно снижало звучание темы Третьего мира в качестве оппонента господствующей формы цивилизации, отвлекая внимание даже от таких его гигантов и лидеров, как Китай или Индия. Устойчивое же присутствие Японии в смысловом поле Севера также психологически затуманивало вопрос об ее культурно-цивилизационной принадлежности. Искажали историческую перспективу и привычное для тех лет блоковое деление мира на оппозицию Запад-Восток, и само бурное, интенсивное развитие Запада в послевоенный период. Однако сегодня, после ухода с исторической сцены коммунистического антагониста и появления Нового Востока в связке ключевых геостратегических игроков, тема грядущей ориентализации планеты начинает приобретать новое звучание, вставая во весь свой исполинский рост.

Прежде всего, внимание специалистов, а затем политиков и общественности стали привлекать не столько схоластичные рассуждения интеллектуалов, сколько всякого рода нетипичные явления и процессы, множившиеся в социально-экономической сфере, нарушая при этом привычно выстроенные ранжиры. Так, например, практиковавшийся ранее способ определения валового внутреннего продукта (ВВП) данной группы стран Нового Третьего мира по официальным обменным курсам валют оказался в корне несостоятельным, поскольку при нем значительно занижались объемы хозяйственной деятельности в странах со слабой валютой. (Не говоря уже о том, что ряд видов экономической практики, особенно в сфере услуг, в традиционных обществах полностью или частично выведен за рамки рыночных отношений и потому длительное время вообще оставался вне поля зрения статистики.) В 70-80-е годы в рамках *Программы международных сопоставлений ВВП* начался, наконец, фундаментальный пересчет этого важнейшего показателя на основе паритета покупательной способности валют, в результате чего выявилось резкое расхождение итоговых данных с привычной оценкой, — как правило, почти вдвое, но иногда и в несколько раз.

Переоценка потенциала развивающегося мира совпала с периодом интенсивного роста его экономики, прежде всего в Китае, странах Юго-Восточной, а также, отчасти, Южной и Западной Азии. Несмотря на серьезные проблемы, срывы и экономические бури (вплоть до финансовых потрясений, охвативших Восточную Азию с лета 1997 года, и спада 1998 года) средние темпы роста ВВП практически всех государств этой части Третьего мира до недавнего времени устойчиво превышали его положительную динамику в странах Севера. В результате ко второй половине 90-х годов сформировалась достаточно новая и во многом еще не осознанная конфигурация глобальной экономики. В ней на долю индустриально развитого Севера приходилось, по-видимому, не 76-77% (как следовало из прежней методики расчетов), а примерно 53-54% мирового ВВП.

Если дела действительно обстоят таким образом (а существуют еще более радикальные оценки их экономики), то годовой объем производства двух групп мог бы сравняться уже через несколько лет. А к 2020 году, по предварительным расчетам Мирового банка (правда, корректируемым сейчас последствиями “азиатского кризиса”), в десятку государств с максимальным объемом ВВП, попадали бы преимущественно страны, по сей день традиционно связываемые с Третьим миром: Китай, Индия, Индонезия, Южная Корея, Таиланд, Бразилия. Из других стран в ней предположительно могли бы остаться США, Япония, Германия, Франция. Иными словами, если эти прогнозы все-таки обладают определенной устойчивостью, то первая десятка XXI века будет состоять из государств,

относящихся в основном к ареалу Большого тихоокеанского кольца.

Серьезную трансформацию претерпевает также североатлантический мир, вплотную столкнувшийся с кризисом своих исторических целей. Наряду с впечатляющими изменениями социального и культурного климата в конце 60-х годов, которые проявились в широком диапазоне событий и явлений, сопровождавших наступление постиндустриального общества, — от генезиса масштабной контркультуры, а затем и влиятельного нового класса в США до майской революции в Париже — кардинальные перемены происходят также в “скучной” хозяйственно-экономической сфере. Приблизительно к этим же годам относится окончание периода бурного, поступательного развития послевоенной экономики, снижение темпов ее роста, и что, пожалуй, еще серьезнее — наметившаяся тенденция падения нормы прибыли в сфере промышленного производства.

Однако первой ласточкой, привлечшей общественное внимание и заставившей серьезно задуматься о внезапно открывшихся горизонтах (или следует сказать — тупиках?) индустриального мира, явился, пожалуй, алармистский доклад Римскому клубу супругов Медоузов (1972). В нем был прямо поставлен вопрос о *пределах роста* современной техногенной цивилизации, хотя последующие десятилетия и показали, что ее границы реально проявились все-таки не столько в связи с истощением сырьевых ресурсов, сколько в области экологических констант, то есть ограниченных хозяйственных возможностей биосферы.

Резко повысилась в те годы и актуальность проблемы демографического взрыва. Интенсивное обсуждение темы допустимых пределов численности населения планеты привело к проведению в 1974 году в Бухаресте первой конференции ООН по народонаселению (созываемой впоследствии каждое десятилетие). Конференция в целом прошла достаточно драматично и сформулировала настоятельные рекомендации о необходимости осуществления политики планирования семьи в глобальном масштабе.

Определенную угрозу себе индустриально развитые государства почувствовали также в становлении нового коллективного субъекта международного сообщества — Третьего мира, получившего, кстати, свое название по аналогии с историческим третьим сословием, некогда сокрушившим господствовавшее мироустройство. Тем более, что жизненно важные для развития индустриального мира природные ресурсы находятся во многом именно на территориях данной группы стран (месторождения, расположенные в индустриально развитых странах, в значительной мере уже выработаны), что наглядно проявилось в событиях, связанных с драматичным повышением цен на нефть (1973).

Складывалась *интересная* коллизия: как раз в момент актуализации проблем, связанных с кризисом индустриального развития, возникла перспектива еще большего ухудшения условий производства из-за неизбежного (как казалось в тот момент) общего скачка цен на невозполнимые сырьевые ресурсы, а также растущей вероятности введения в той или иной форме экологического налога. В дополнение ко всему начала давать серьезные сбои сложившаяся система мировых валютно-финансовых связей. Непростая ситуация существовала также в области противостояния Востока и Запада, хотя временно она была смягчена хрупким механизмом детанта.

Видимо, не случайно в эти годы в ходе интенсивных консультаций по поводу происходивших и назревавших перемен (Рамбуйе, 1975) рождается такой влиятельный институт современного мира, как ежегодное совещание семи ведущих индустриально-промышленных держав — своего рода глобальный “экономический Совет Безопасности”.

* * *

В целом же ответ индустриального сообщества на вызов времени оказался неоднозначным. Так, на волне нефтяного шока произошла определенная интенсификация научно-технического развития. Были инициированы исследования в области энерго- и ресурсосбережения, а также поиск иных перспективных технологий. Наметилась перестройка промышленности, связанная со структурным обновлением производственных мощностей, пересмотром всей

индустриальной политики. Но одновременно развивался и набирал силу совсем другой и, надо сказать, весьма многозначительный процесс.

Началась масштабная *оптимизация совокупной промышленной деятельности* в рамках планеты. Соответственно ускорился рост прямых иностранных инвестиций. Стала быстрыми темпами формироваться глобальная экономика — **метаэкономика**, не сводимая к простой сумме торгово-финансовых операций, но реально озабоченная изменением географии промышленного производства, трансформацией всей прежней социоэкономической картины. Именно в этот период складывается институт современных ТНК, диверсифицирующих процесс производства и сбыта на обширных просторах планеты. Они используют удобные условия в том или ином регионе: состояние социальной и промышленной инфраструктуры, производственные стандарты и местное законодательство, квалификацию рабочей силы, уровень ее социальной защиты и оплаты, устойчивую и солидную разницу между паритетом покупательной способности мягких валют и их обменным курсом по отношению к валютам твердым, близость к источникам сырьевых ресурсов... И даже такой фактор, позволяющий снижать в определенных ситуациях издержки производства, как благоприятный климат.

В результате получение осязаемой выгоды оказывается возможным не только вследствие конкурентных преимуществ, возникающих из-за инновационного прорыва, — то есть появления принципиально новых отраслей и промышленных целей технологий, радикально меняющих ход производственного процесса. (Что было бы практически неизбежно при равновесном и гомогенном мироустройстве.) Более эффективным методом в рамках современной глобальной экономики становится именно оптимизация — умелое сочетание *различных* условий экономической деятельности в *различных* регионах планеты в рамках *единого* хозяйственного организма, ориентированного на перманентное перераспределение мирового дохода. В результате формирование новых высоких технологий переместилось из области производства в сферу извлечения геоэкономических рентных платежей.

Занятый решением проблем стратегического и оперативного планирования, масштабной перестройкой экономики, реализацией новой схемы взаимоотношений стран и народов, мир Нового времени между тем вплотную подошел к рубежу, по ту сторону которого все явственнее проступал контур новой исторической эпохи.

2. ЭТОТ НОВЫЙ ДРЕВНИЙ МИР

Философия истории — непростая наука. Ее многочисленные загадки и парадоксы прямо сопряжены с уникальным статусом человека в мире, свободой его воли. И в то же время — с гораздо более предсказуемыми, хотя отнюдь не элементарными, законами развития сложных систем. Жизнеспособность же подобных систем, в свою очередь, во многом связана с их внутренней неоднородностью, “цветущей сложностью”, разнообразием, голографичностью.

Философия экономики, — наверное, не менее сложная область знания, которая в современном мире также оказалась в весьма драматичном положении. Знамения времени — стремительная прагматизация и технологизация не обошли стороной и экономическую науку. Все более заметно сужение ее предметного поля, в результате чего она начинает иной раз смотреться как некий специфический набор банковских прописей. Складывается впечатление, что реальная задача современной экономики лежит не столько в области фундаментальной науки, сколько в сфере универсальных технологий и стратегий поведения в условиях ограниченности и противоречивости нашего знания о глубинах экономического космоса. Между тем нынешнее состояние мирового хозяйства, возможно, было бы лучше понято, откажись экономика от сознательных и подсознательных претензий на статус естественнонаучной дисциплины, вспомни она о своих гносеологических корнях, осознай себя вновь частью этики и политики, то есть сферы целеполагания и “категорического императива” поведения человека в мире. Иначе говоря, — ведись обсуждение фундаментальных экономических проблем в интенсивном взаимодействии с актуальными философскими и культурологическими

дискуссиями.

Конечно, оптимизация, как и экономия, — вроде бы естественные атрибуты хозяйственного процесса. Но если отвлечься на время от общих констатаций и вдуматься в феноменологию происходящего, то обнаруживается ряд не всегда очевидных, но достаточно тревожных проявлений данной глобальной тенденции.

Например, нарастающий импорт дешевых товаров и ресурсов зачастую есть не что иное, как оборотная сторона закрепления социальных aberrаций в ряде районов земного шара, а также множась ограничений свободного передвижения на рынке труда. И, стало быть, — фактического экспорта сверхэксплуатации. В свою очередь из-за деформации объективной конкурентоспособности труда (что наиболее отчетливо обнаруживается, по-видимому, в области сельскохозяйственного производства) заметно искажается социальная ситуация во внутреннем пространстве цивилизации Модерна. В результате труд в ряде случаев становится скорее *социальной*, чем *экономической* категорией, требуя компенсации из соответствующих фондов, либо грозя массовой безработицей, либо перемещаясь в какие-то другие области деятельности, носящие иной раз квазиэкономический характер.

Неравновесная ситуация прослеживается также в сложной системе перераспределения мирового дохода и международного разделения труда, когда в неравные условия поставлены целые направления хозяйственной деятельности. Прежде всего это проявляется в общеизвестном феномене ножиц цен. С этим же явлением частично связана такая специфическая головоломка экономической теории, как отсутствие перманентного увеличения предельных общих расходов, казалось бы, неизбежного в либеральной экономической среде.

Оптимизация экономической деятельности, таким образом, плавно перерастает в *социотопологию* — целенаправленное обустройство планеты в соответствии с желаемой формой; ее поддержание обеспечивается *всеми* имеющимися в распоряжении современной цивилизации средствами. При этом все явственнее просматривается тенденция разделения фактического суверенитета государств на разные классы, то есть, по существу, в мире выстраивается некая “недемократическая иерархия”.

Таким образом, исторические цели общества Модерна по созданию вселенского гражданского общества вступают в противоречие с его же вполне прагматичными устремлениями: с желанием обеспечить высокий уровень жизни и потребления в первую очередь для собственных граждан, в том числе и за счет населения других стран. При этом индустриально развитые страны попадают в своеобразную ловушку. Пытаясь ослабить нарастающий груз социально-экономических проблем, экспортируя сверхэксплуатацию во “внешний мир”, общество вынуждено сталкиваться с последствиями своего экономического двоемыслия, в частности, — со значительным уровнем безработицы, развившимся в условиях формально удовлетворительных экономических обстоятельств.

* * *

Эффективна ли современная экономика? Этот вопрос не столь уж наивен, как может показаться на первый взгляд. Ведь он предполагает и другой вопрос: а какова в настоящее время реальная динамика условий жизни в самих развитых странах? Оказывается, она весьма неоднозначна. Так, одним из тревожных симптомов современной ситуации является несовпадение векторов экономического роста и уровня занятости. В свое время министр труда США Роберт Райх обратил внимание на эту коллизию, констатируя, что в условиях глобального рынка экономика может процветать, курс акций расти, прибыли корпораций увеличиваться, и все это – при значительном уровне безработицы. Действительно, по данным Международной организации труда, число безработных в индустриально развитых странах, несмотря на продуманные и достаточно эффективные меры противодействия, достигает 35 млн. человек. Иначе говоря, фактически имеет место самый острый кризис занятости со времен Великой депрессии. Размышляя об этой ситуации, невольно ловишь себя на мысли, что рядом своих черт она все чаще напоминает былую структуру античной демократии, гибко и,

на первый взгляд, парадоксально сочетавшей существование общества, обладавшего широким комплексом гражданских прав, с реальностью параллельного, “теневого” сообщества — мира рабов. Структуру, в каких-то своих специфических и знаменательных проявлениях, кажется, продолжающую подспудно присутствовать в человеческом универсуме, однако на сей раз — в глобальном масштабе.

Впрочем, некоторые другие черты современной цивилизации вызывают еще более неожиданные ассоциации, заставляя заново переосмысливать недавний опыт тоталитарной архаики XX века или даже вновь вспомнить величественные империи Древнего Востока. Чего стоит, например, все чаще возникающий образ исподволь возводимой в современном мире Великой иммиграционной стены.

Наконец, отметим еще одно существенное обстоятельство. Реализация глобальных схем координации и управления мировым хозяйством оказалась возможной во многом благодаря революции в области информационных (и коммуникационных) технологий. Она позволила объединить географически разноликое пространство в единое целое, осуществляя глобальный мониторинг экономической деятельности и контроль над нею. В свою очередь, интенсивно развивавшаяся отрасль информационно-коммуникационных услуг быстро превратилась в самостоятельный сегмент экономики, часть постиндустриальной сферы, растущую едва ли не самыми бурными темпами. Действительно, если привычные виды промышленного производства, имеющие дело с материальными объектами, оказались в тисках “пределов роста”, то горизонты информатики стали своего рода дальним рубежом цивилизации, вполне свободным от подобных ограничений.

Кардинальное воздействие на судьбы современной экономики и будущее цивилизации оказал процесс формирования энергичной и призрачной неэкономике финансовых технологий. Ее становление тесно связано с проявившимся тогда же, в начале 70-х годов, фатальным кризисом бреттон-вудской системы, совпавшим с логикой развития информационной революции и приведшим, в свою очередь, к стремительной *виртуализации денег*, прогрессирующему росту всего семейства финансовых инструментов. В результате мир финансов стал фактически самостоятельным, автономным космосом, утратив прямую зависимость от физической реальности. Это нашло свое выражение в отказе от рудиментов золотого стандарта, то есть самого принципа материального обеспечения совокупной денежной массы. Пороговым событием здесь явилось изменение статуса и состояния мировой резервной валюты – доллара. В августе 1971 года США отказались от золотого обеспечения своей валюты (на уровне 35 долл. за унцию). Таким образом, перестал действовать, хотя уже и усеченный (после 1934 года существовавший только для граждан других стран), принцип обмена американских бумажных денег на золото. После устранения формальной связи доллара с золотом рыночная цена последнего поднялась за короткий срок на порядок и это в условиях роста добычи желтого металла с применением современных технических средств. В целом же обесценивание доллара за последние сто с небольшим лет составляет почти три порядка, причем приблизительно двухпорядковое падение его реальной покупательной способности приходится на вторую половину этого срока.

Однако новая финансовая реальность оказалась необычайно эффективной и жизнеспособной именно в условиях технологизации, компьютеризации и либерализации валютно-финансовой деятельности, раскрепощенной как в национальных границах, так и на просторах транснационального мира. Быстрое развитие микропроцессорной техники и телекоммуникаций создавало необходимую информационную среду способную координировать события и действия в масштабе планеты, а также в режиме реального времени, оперативно производить многообразные платежи и расчеты, мгновенно перемещая их результаты в форме “электронных денег”, стимулируя, таким образом, интенсивный рост новой глобальной субкультуры — *финансовой цивилизации*.

Каркас и жизненную пружину возводимой вселенской конструкции постиндустриального **Квази-Севера** составляет принцип глобального финансово-правового регулирования, претендующего на роль нервной системы мира. К данному кругу явлений и идей прямо причастен феномен современного монетаристского мышления, последовательно разрабатывающего концептуалистику, которая могла бы обеспечить на практике переход к универсальной системе гибкого управления социальными объектами со стороны валютно-финансовых кругов и палат...

Монетаризм не отменяет институциональное управление экономикой, но передает его функции от правительства (осуществляющего налоговую и бюджетную политику) — центральному банку, регулирующему экономику кредитно-денежными методами. Однако, подобно тому, как в мире намечается перетекание властных полномочий от выборных органов в мир НПО (неправительственных организаций), так же и частные финансовые институты начинают конкурировать с соответствующими национальными и даже международными организациями. Уже сейчас союз влиятельных международных структур (наподобие “большой семерки”) и транснационального финансового сообщества, перенимая гипотетические функции мирового правительства (но при этом неизбежно редуцируя их), выступает в качестве системы управления, реализующей в глобальном масштабе и фискальные (геоэкономические рентные платежи), и монетаристские (сжатие мировой денежной массы за счет слабых национальных валют) механизмы. В результате порожденный веком Просвещения привычный образ прогресса, осуществляемого человечеством на основе коллективного согласия относительно целей и ценностей общественного развития, оказался в настоящее время существенно поколеблен. В социальном универсуме и сознании людей вместо идеалов гражданского общества и рационально-созидательных форм поведения утверждается примат анонимных, стихийных сил, существующих и действующих независимо от человеческой воли, творящих вне рамок осознанных намерений общества принципиально непостижимую, спонтанную версию реальности. Уходящая куда-то в дурную бесконечность “темная” мировая конструкция создает между тем специфическую систему социальной регуляции, основанную на скрупулезной денежно-финансовой фиксации поведения индивида и соответствующей формализации жизни. Впрочем, новый социальный проект обладает и собственным мировоззренческим комплексом, и даже, отчасти, метафизикой, развившейся из поклонения священной корове экономического либерализма — “невидимой руке рынка”.

Данный концепт в его современной интерпретации, хотя и опирается на авторитет Адама Смита, является, в сущности, полупародийной модификацией его взглядов. Английский экономист в своих рассуждениях и построениях фактически исходил из традиционных для мира западного христианства воззрений (восходящих, в свою очередь, к позиции блаженного Августина). Одновременно в его построениях были заложены постулаты, предвосхитившие идеи “гуманистической психологии” XX века. Суть этих рассуждений в общем и целом такова: благое в своей основе мироустройство требует от человека естественного поведения, *следования должному* (не нарушая при этом норм закона и правил общественной морали), полагая, что из суммы правильных и разумных в каждом конкретном случае действий может проистекать лишь общий позитивный результат. Истина реализует себя в достаточной мере независимо от индивидуальной воли и намерений (которые иной раз могут оказаться глубоко ошибочными), проявляясь в сумме свободных и конструктивных действий всего человечества. В том числе, и даже в первую очередь, — в экономической сфере жизни. “Каждому человеку, *пока он не нарушает законов справедливости* (выделено мной — А.Н.), — писал Адам Смит, и именно этой существенной оговоркой очерчивается русло его умозаключений, — предоставляется совершенно свободно преследовать по собственному разумению свои интересы и конкурировать своим трудом и капиталом с трудом и капиталом любого другого лица и целого класса”. Таким образом, “невидимая рука” мыслилась, по сути, властью Провидения, исполнением человеком воли Божьей (даже не осознавая ее), то есть *Его дланью* выстраивающей мир. А основой экономики оказывался синтез общественной морали, *законов справедливости*, и естественного желания человека улучшить свое существование. В

нынешней же, постхристианской интерпретации это рассуждение ставится иной раз прямо-таки с ног на голову. Образовавшийся в современном секуляризованном обществе метафизический вакуум заполняют безликие стихии, по античному роковые “силы рынка”, выстраивающие собственную, никому до конца не ведомую версию должного мира. Применяемый теперь с точностью, чуть ли не наоборот, принцип “невидимой руки” утверждает, пожалуй, как раз диктат своеволия и антиобщественных интересов, слишком часто прямо попирающих именно *законы справедливости*. Получается, что парадоксальная метафизика современного либерализма, отдающая жизнь людей во власть “стохастических духов” самоорганизующегося экономистичного универсума, вроде бы по своей сути ближе безличному восточному фатализму, нежели привычному лично-ориентированному мировоззрению, признающему достоинство человека, основанное на его прямой ответственности за происходящее.

Существует, однако, фундаментальное противоречие между самой идеей централизованной иерархии, целенаправленно управляющей финансовыми потоками, и сетевым характером текущей глобальной паутины. Пока финансовый интеллект более-менее успешно пасет на виртуальных пастбищах стада “горячих денег” спекулятивного частного капитала. Однако обитатели этой параллельной реальности, кажется, вот-вот готовы сорвать печати с губительного мешка Эола, сделав тщетным любой рациональный контроль над буйными стихиями. Вот тогда управляющий класс вполне рискует быть затоптанным и пожранным обезумевшим стадом рвущихся в пропасть свиней...

* * *

Novus Ordo переводится ведь не только как “новый порядок”, но и как “новое сословие”. Проблема эта столь глубока и многомерна, что осознавалась и осмысливалась уже в период великого перелома первых веков II тысячелетия, иначе говоря, у самых истоков современной фазы западной цивилизации. Мы хорошо знакомы со стереотипом трех сословий, но гораздо хуже осведомлены о полемике вокруг сословия четвертого. А такая полемика велась к тому же не один век. В концепции четвертого сословия проявилась сама квинтэссенция нового, динамичного состояния мира, смены мировоззрения человека Средневековья. Контур нового класса проступал в нетрадиционных торговых схемах, в пересечении всех и всяческих норм и границ (как географических, так и нравственных). Диапазон его представителей — от ростовщиков и купцов до фокусников и алхимиков. Так, в немецкой поэме XII века утверждалось, что “четвертое сословие” — это класс ростовщиков (Wucher), который управляет тремя остальными. А в английской проповеди XIV века провозглашалось, что Бог создал клириков, дворян и крестьян, дьявол же — бюргеров и ростовщиков. Ростовщичество и ссудный процент запрещены в Библии, осуждались также исламом, а вне религиозного круга производство денег ради денег подвергалось необычайно резкой критике еще Аристотелем, который прямо сравнивал людей, занимающихся подобными делами, с “содержателями публичных домов”.

Между тем к концу XX века на планете уже сформировалось вполне самостоятельное поле разнообразных валютно-финансовых операций, все более расходящихся на практике с интересами человечества, потребностями и нуждами “реальной” экономики, ее возможностями и объемом. Однако финансовая глобализация — это одновременно и смысл, и интегральный символ “Глобализации-2”. Здесь сошлись воедино экономическая интеграция, повсеместная информатизация и глобальная коммуникация. Здесь же проявился и дух “нового универсализма”, заменивший проект универсального гражданского общества идеей глобального планирования и контроля за перераспределением ресурсов.

За последние десятилетия XX века было разыграно несколько стратегических валютных и финансовых комбинаций, последовательно поднимавших ставки в глобальном казино. (Что, в частности, позволило отодвинуть далеко в будущее сценарий резкого скачка цен на природные ресурсы. В результате вместо взлета стоимости полезных ископаемых в восьмидесятые годы на планете разразился настоящий сырьевой бум.) На практике технология масштабной

экономической игры выглядела следующим образом. Сначала произошло радикальное изменение цены на нефть. Это привело к настоящему взрыву на рынке кредита за счет “нефтедолларов”. Кредит стал общедоступным, даже избыточным. Началась яростная конкурентная борьба за клиентуру, процентные ставки серьезно понизились (и даже, в условиях инфляции, порой становились “отрицательными”), т.е. финансовые ресурсы на глазах превращались в “скоропортящийся товар”. В результате возник своего рода финансовый Клондайк. И в числе основных потребителей избыточных средств оказались развивающиеся страны. При этом проценты по вкладам, как правило, погашались за счет новых займов, банки имели устойчивый доход, а экономика процветала в условиях низких учетных ставок и массивных капиталовложений. Однако подобное благополучие зиждилось на весьма непрочном фундаменте. Именно тогда в результате коллективных усилий различных сторон в мире сформировалась основа перманентного “глобального долга”.

К началу следующего десятилетия ситуация изменилась. В условиях нового повышения цен на нефть новый виток инфляции потребовал принятия достаточно жестких мер, в том числе увеличения процентных ставок. Кроме того, к этому времени сами нефтедобывающие страны увязли в трясине многочисленных, нередко дорогостоящих и амбициозных проектов. В странах же Севера были оперативно задействованы собственные финансово-экономические механизмы, позволяющие перераспределять геосферную ренту в свою пользу. И, наконец, на роль крупнейшего заемщика стали претендовать Соединенные Штаты, столкнувшиеся в силу ряда обстоятельств с устойчивым ростом государственных расходов и бюджетного дефицита.

Оскудение кредитных рынков породило проблему выплат по ранее взятым долговым обязательствам. Многие развивающиеся страны стали погружаться в дурную бесконечность “потерянного десятилетия”, а в результате еще больше ужесточалась политика банковского сообщества, оказавшегося перед угрозой глобального финансового краха. Первой его ласточкой стал долговой кризис 1982 г. Чтобы избежать неприятностей, международные экономические организации, МВФ и Всемирный банк, стали проводить политику реструктуризации задолженности стран-заемщиков, санации их финансового положения, сокращения их бюджетного дефицита, а также — структурную перестройку экономики, сопряженную с широкой приватизацией, либерализацией цен и внешней торговли (ситуация Латинской Америки). В итоге мировая финансовая система устояла, однако глобальная экономика приобрела качественно иной облик.

При анализе стратегии адаптации периферийных экономик к глобальному рынку – *программ структурной перестройки и финансовой стабилизации* – обращают на себя внимание следующие обстоятельства. Во-первых, в отличие от прежних рецептов “догоняющего развития”, алгоритмы структурной перестройки нацелены на создание модели, прямо ориентированной на глобальный рынок. Эта модель имеет и весьма серьезные социальные следствия, связанные с ограничением внутреннего потребления (и его перераспределением) в странах-должниках, ибо только одно радикальное уменьшение бюджетных расходов, конечно же, заметно влияет на положение широких слоев населения. Во-вторых, данный пакет реформ, содействуя определенной устойчивости современной финансовой среды и даже стимулируя ее развитие (формируя и поддерживая платежеспособный спрос на финансовые ресурсы и услуги), призван также решить и другую актуальную стратегическую задачу — обеспечить долгосрочную встроенность (*adjustment*) Юга в систему североцентричного глобального рынка в качестве его ресурсно-сырьевой составляющей, выводя ситуацию пресловутых “ножниц цен” на качественно новый уровень. Так формируется весьма благоприятный международный торговый климат для стран, потребляющих основную массу сырьевых продуктов. Тем самым, по сути, стимулируется “сырьевой бум”: изобилие дешевых природных ресурсов на международных рынках в силу естественного в подобных условиях падения цен.

Однако в самой данной концепции реформ, в сущности, заложено некое фундаментальное противоречие — между стимулированием развития национального частного сектора и внерыночным характером действий международных организаций, их целенаправленным влиянием на процесс принятия решений в странах-реципиентах. В результате фактический

контроль за социально-экономической деятельностью, в конце концов, переходит не столько к местному частному сектору, сколько к иностранным донорам и международным организациям, формируя контекст весьма своеобразного, североцентричного “макроколо-ниализма”. Одновременно новая экономическая эра открыла шлюзы, которые ранее сдерживали развитие откровенно спекулятивных тенденций. Быстрыми темпами стала расти хищническая *квазиэкономика*, паразитирующая на новых реалиях и имеющая мало общего с конструктивным духом экономической практики Нового времени.

Создается впечатление, что в мире происходит постепенное, но неумолимое и последовательное вытеснение идеологии честного труда альтернативной ей идеологией финансового успеха. Деморализация экономических отношений — явление весьма тревожное, влекущее за собой массу самых серьезных следствий. Еще Аристотель рассматривал экономику как часть этики. Она по самой своей сути не есть некая универсальная технология, действенная на все времена и для всех народов, но (хотя это далеко не всегда очевидно) весьма и весьма специфичный феномен культуры. Не исключено, что тотально аморальная экономика попросту невозможна (в длительной перспективе). Так, разрушение привычного контекста экономических операций, кризис самой атмосферы доверия, вытеснение морали правом, утверждение сугубо формальных, а то и прямо формализованных условий экономической деятельности приводит в конечном итоге к экспоненциальному росту необходимости их перманентной формально-юридической фиксации. Это скачкообразно увеличивает количество конфликтных ситуаций на различных уровнях экономического процесса. Иными словами, ведет к резкому, порой неприемлемому возрастанию затрат и подрывает всю сложившуюся систему взаимоотношений. Утрата же доверия в стабильность самого контекста экономических операций (зачастую связанная не столько с реальной *хозяйственной ситуацией*, сколько с ее конъюнктурной интерпретацией, то есть *общественной психологией*) в условиях финансовой цивилизации достаточно быстро проявляется как в экономических, так и в социальных потрясениях, с весьма далеко идущими последствиями.

Глобализация финансовой деятельности позволяет успешно преодолевать законодательные ограничения и нормы, существующие в пределах национальных границ. На карте мира появляются как бы условные государства: терминалы транснациональных организмов, наподобие оффшорных зон, чье истинное предназначение нередко — реализация разнообразных схем лукавой экономической практики, включая асоциальные комбинации.

В наметившемся расщеплении социальных и финансово-экономических целей общества, кстати, просматривается определенная историческая преемственность между сегодняшним днем и временами Великой депрессии, когда имело место уничтожение *продуктов хозяйственной деятельности* человека ради достижения *финансовой выгоды*. Тем самым, в частности, прокладывается путь для еще более внушительной экономической деструкции — индустрии высокотехнологичных, промышленно- и ресурсоемких войн XX века...

* * *

В 90-е годы сама кризисная ситуация, кажется, становится одним из источников дохода. Выражается это в разрастании комплексной экономики управления рисками, *хеджировании*, появлении инновационных форм страхования, реализации схоластичных, но изощренных, хорошо продуманных схем валютно-финансовых спекуляций и интервенций, развитии финансовой математики, в целенаправленной организации и даже прямом провоцировании финансово-экономических пертурбаций... В результате в смысловом поле мировой экономики, наряду со столь значимыми для нее реалиями *мировой резервной валюты* и *глобального долга*, кажется, сформировался третий, самостоятельный, весьма внушительный феномен *глобального риска*. Одновременно прорисовываются и другие впечатляющие перспективы: например, столкновения различных финансовых инструментов в борьбе за многомерное *Lebensraum* геоэкономических континентов и электронных сетей — специфическое жизненное пространство XXI века...

Все это, вместе взятое, постепенно лишает деньги их прежнего содержания (и в каком-то смысле реального наполнения), превращая в род особой, энергичной и агрессивной *финансовой информации*. Поток операций на валютно-финансовых рынках в настоящее время в десятки раз превосходит реальные потребности финансирования международной торговли, их ежедневный объем примерно соответствует совокупным валютным резервам всех национальных банков (которые теоретически могли бы быть использованы в целях стабилизации при развитии глобального кризиса). А рынок вторичных ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и вовсе в несколько раз превышает совокупный валовой продукт всех стран, что чревато уже в ближайшем будущем поистине тектоническими сдвигами в глобальной финансовой системе и мировой экономике в целом...

Летом 1997 года базирующийся в Базеле Банк международных расчетов (BIS) опубликовал свой ежегодный отчет, в котором констатировал реальный характер угрозы срыва мировой банковской системы, ее постепенного выхода за пределы действенного контроля и профессионального прогноза. Аналогичные опасения высказал весной 1998 года и глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен. Эти опасения не случайны, учитывая и ежегодный объем мировых финансовых транзакций (около полквотриллиона долларов), и масштабы рынка вторичных ценных бумаг (приблизительно 100 трлн. долларов или даже больше).

Сегодня финансовый “кубик Рубика” постепенно объединяет проблемы мировой валюты, глобального долга, а также управления рисками в единый взаимосвязанный комплекс. Но теоретически можно представить контуры и сформулировать стратегические коды четвертого вида глобальной игры — *контролируемой деструкции* или *организованного хаоса*, логически завершающей утверждение на планете особой, неоархаизированной среды, еще дальше отстоящей от прокламируемых идеалов мирового гражданского общества. Суть механизма — возможность искусственной организации и последующего использования развернутых кризисных ситуаций с целью повышения... уровня контроля над динамикой мировых процессов, массивного изменения прав собственности и устойчивости всей возводимой архитектуры геоэкономических пространств. Иначе говоря, успех данной стратегии создает условия для перманентного внешнего управления самыми разнообразными экономическими массивами, а в перспективе и всей социальной средой.

Клиентам, оказавшимся в сложном положении, предлагается универсальный свод правил — своего рода “кодекс должника”, — предполагающий выполнение ряда обязательных условий для получения помощи по выходу из кризиса. Это могут быть, скажем, введение режима функционирования национальных денежных систем на основе внешней валюты (что придает второе дыхание мировой резервной валюте и ее намечающимся конкурентам); определение квот и порядка заимствований финансовых ресурсов; установление жесткой взаимосвязи объемов национального бюджета, экспортной выручки, уровня внутреннего потребления и внешних выплат (продлевающих жизнь глобальной “долговой экономике”); осуществление обязательного страхования национальных и финансовых рисков (раздвигающих исторические рамки для применения второго поколения производных финансовых инструментов); проведение заранее оговоренной социальной политики и т.п.

* * *

Попробуем теперь обобщить все изложенные здесь построения и понять логику происходящего.

Деграция модели расширенного воспроизводства Нового времени прошла несколько нисходящих ступеней. Вначале она “поддалась” соблазну сверхдоходов, получаемых за счет эксплуатации иных геоэкономических регионов и видов деятельности, искусно поставленных в подчиненное положение. Данный процесс, в свою очередь, стал источником дополнительных ресурсов, питательной средой для различного рода финансовых операторов и развития соответствующих технологий, которые привели к утверждению достаточно неожиданной “постиндустриальной” надстройки над привычной хозяйственной деятельностью — финансово-правовой системы.

Превращение денежной сферы в необъятный виртуальный континент, в свою очередь,

способствовало развитию в ее недрах целого семейства изощренных финансовых практик. По форме — более-менее легальных операций и инициатив, однако, по сути — все отчетливее расходящихся с нуждами реальной экономики, разрушающих ее смысловое поле, паразитирующих на результатах конструктивной деятельности человека. Затем дошло и до откровенных спекулятивных атак и подрывных акций, имеющих целью получение дополнительной прибыли без производства реальной стоимости. (Как не создают ее, к примеру, кражи или, скажем, азартные игры, хотя и они способны приносить доход и перераспределять материальные ценности. А ведь здесь речь идет об “играх”, основанных не на слепой случайности, а методично организуемых и управляемых, то есть в определенном смысле — “шулерских”.)

Дальнейшим этапом становится смещение подобных практик в трудно контролируемую зону еще более сомнительных операций. При этом нередко используются разночтения в законодательствах различных территорий или общее несовершенство правовой базы, с трудом поспевающей за стремительным разрастанием разношерстного семейства финансовых инструментов. Тут уже происходит фактическое смыкание полулегальных спекулятивных комбинаций с прямо криминальными действиями, “слипание” горячих денег и денег грязных...

Проявляется также (в качестве самостоятельного вида квазиэкономической активности) и такой род хозяйственного вампиризма как прямая деконструкция цивилизации, инволюционное расхищение ее плодов, наиболее подходящее название для которого, пожалуй, — “трофейная экономика”. Следующим логическим шагом в этой цепочке становится общий хаос, возникающий в результате завершения исторической мутации феномена **экономики**.

Некогда Новое время, освобождаясь от заскорузлой психологии “собиранья богатств”, формировало энергичную экономику, преобразавшую, перестраивавшую мир, превращая золото, сокровища в деятельный капитал. И вот теперь капитал постепенно умалет свою производственную составляющую, вновь трансформируясь в квазизолото финансово-информационных потоков. В подобной механике мира цели социального развития оказываются в какой-то момент подчинены корыстным и, в общем-то, конъюнктурным интересам финансовой олигархии. При этом финансовая неэкономика в конечном итоге является таким же тупиком торгового модуса геоэкономики моря, как военная промышленность и связанные с нею войны, — тупиком, жерновами производственной экономики суши.

* * *

Происходящая ныне смена исторического регистра, изменение баланса сил не только освобождает скованного до поры виртуального джинна, но одновременно порождает химеричного неокриминального Голема, стремительно растущего и набирающего вес.

В последние годы наблюдаются явное умножение сфер человеческой практики и рост числа территорий, прямо пораженных “трофейной” и криминальной активностью, сливающихся в единый феномен *деструктивной квазиэкономики* — более чем специфической хозяйственной сферы, подчиняющейся качественно иным, нежели легальная экономика, фундаментальным законам (фактически производя ущерб, то есть своего рода *отрицательную стоимость*) и уже сейчас vorочающей сотнями миллиардов долларов. Распечатываются и интенсивно эксплуатируются (в глобальном масштабе, с применением самых современных технических средств) запретные виды псевдоэкономической практики: производство и распространение наркотиков, крупномасштабные хищения, рэкет, контрабанда, коррупция, казнокрадство, компьютерные аферы, торговля людьми, “дешевое” захоронение токсичных отходов, отмывание грязных и производство фальшивых денег, коммерческий терроризм и т.п....

Симптоматично, что некоторые из видов деятельности, в сущности той же природы: игорный бизнес, распространение порнографии и некоторые другие виды индустрии порока расположены в легальной сфере, а их коммерческий результат *включается в подсчет ВВП*

соответствующей страны. Эффект от разрастания, усложнения и диверсификации подобного извращенного параэкономического базиса начинает все сильнее сказываться на большом социуме, подрывая его конструктивный характер, вызывая многочисленные моральные и материальные деформации, ведя к внутреннему перерождению общества. Становится также все труднее избавиться от впечатления, что утро XXI века заслонила тень *Второй великой депрессии*, но на этот раз глобальной и, что более важно, — выходящей за рамки собственно экономических неурядиц. Под воздействием разнообразных деструктивных процессов и тенденций на “обочине цивилизации” зреет новая, весьма непривычная форма организации общества.

Еще одна примета надвигающегося кризиса — сложная социальная ситуация на планете, которая к тому же грозит выйти из-под контроля. Вспомним о втором комплексе сценариев трансформации Третьего мира, связанном с нарастанием процессов цивилизационной коррупции. Действительно, ведь Третий мир, расколовшись, произвел на свет не только динамичный Новый Восток, обретший самостоятельное бытие вне рамок сырьевого Юга, но также — неоархаичный Глубокий Юг, пораженный вирусом новой бедности.

Дело в том, что деградация исторически сложившихся здесь общественных структур, обеспечивавших социальную стабильность и удовлетворение основных человеческих потребностей, не сопровождалась в отличие от Нового Востока сколь-либо эффективным модернизационным прорывом. Однако, раз запущенные, механизмы разрушения традиционного общества теперь перманентно производят люмпенизированные слои населения, в своей массе отчужденные от производительного труда, заполняющие псевдогородские конгломераты, плодя трущобы и бидонвили, постепенно утверждая в мире какой-то незнакомый, но странно устойчивый и по-своему универсальный тип культуры. О вероятности масштабной неоархаизации мира свидетельствуют, в частности, материалы Социального и Продовольственного саммитов, состоявшихся в 1995 году в Копенгагене и в 1996 году в Риме.

Итог XX столетия, почувствовавшего вкус земного изобилия, познавшего искус “позолоченного века”, века научно-технического прорыва и интенсивнейшего развития производительных сил общества (хотя и заметно деформированных молохом военного производства и высокоиндустриальных войн), — итог этот, в общем и целом, все же неутешителен: на пороге третьего тысячелетия существования современной цивилизации социальное расслоение на планете Земля не уменьшается, а растет.

Соотношение уровней доходов богатых и бедных, “золотого” и нищего миллиардов планеты заметно увеличилось с 13:1 в 1960 году до 60:1 в текущем, завершающем век десятилетия. А ведь по сравнению с серединой столетия совокупный объем потребления, по оценкам ООН, вырос приблизительно в 6 раз. Однако 86% его приходится сейчас на 1/5 часть населения, на остальные же 4/5 – оставшиеся 14%. Но и в этих цифрах отражена не вся истина.

Доля мирового дохода, находящаяся в распоряжении беднейшей части человечества, — а в настоящее время примерно 1,3 млрд. людей живут в условиях абсолютной нищеты — еще на порядок ниже, составляя около 1,5%. Это означает, что уровни дохода двух полярных, но примерно равных по численности групп населения действительно разнятся в *десятки* раз. Таким образом, на планете помимо североатлантической витрины цивилизации (хотя местами и параллельно, на одних и тех же с ней территориях) сопresentствует некий ее темный двойник: “четвертый”, зазеркальный мир, населенный *голодным миллиардом*.

Каковы же условия существования на этой второй, “опрокинутой” Земле, каков образ жизни обитателей полей и подземелий невидимой изнанки планеты? Около миллиарда людей в мире оторваны от производительного труда: 150 млн. — безработные, более 700 млн. — частично занятые, неопределенное, но значительное число вовлечено в криминальную деятельность. Миллиард — неграмотны. Примерно 2 млрд. прозябают в антисанитарных условиях. Почти каждый третий житель Земли все еще не пользуется электричеством, 1,5 млрд. не имеют доступа к безопасным источникам питьевой воды, 840 млн., в том числе 200 млн. детей, голодают или страдают от недоедания. В бедных странах ежегодно умирают 14 млн. детей от

излечимых болезней и 500 тыс. женщин от родов. Половина всех случаев детской смертности в странах Юга вызвана недостаточным питанием.

Особенно тяжелое положение сложилось в некоторых районах Южной Азии и Африканского континента. От хронического недоедания страдают 43% населения Африки к югу от Сахары.

Растущую тревогу вызывает также положение, складывающееся на дестабилизированном постсоветском пространстве. Здесь, в этом новом ареале социальной катастрофы, общее количество беженцев и вынужденных переселенцев за последнее десятилетие превысило 6 млн. человек.

* * *

Социальные проблемы, в том числе и угроза разложения общества, не являются, впрочем, исключительной принадлежностью Юга и “стран с переходной экономикой”. В рамках неосинкретичного Севера происходят, возможно, менее очевидные (и потому не столь драматичные), но не менее кардинальные изменения. Этот мир, отлученный от культурных основ и исторического замысла, объединяемый лишь суммой прагматичных интересов его членов, впадает в некое аморфное безвременье, “цивилизованную дикость”, мало-помалу утрачивая смысловой вектор событий. В лоне переживающей системный кризис цивилизации Нового времени возникают зачатки новой культурно-исторической общности (пока еще воспринимаемой все-таки скорее как социальный эксцесс или карикатурная антропологическая аберрация): атомизированного конгломерата интернационального общества потребления. Связи между людьми, выходцами из различных культур, их актуальный статус все более определяются здесь степенью причастности к процессам глобального перераспределения денег, информации, развлечений. Иными словами, реальный постиндустриализм предстает по преимуществу как гипертрофированная сфера услуг, причем не столько в области науки, культуры или высокого образования, сколько — финансов, информатики, шоу-бизнеса. В этом зыбком, виртуализированном космосе как на дрожжах растет и влияние нового класса — *людей услуг*.

Сколь же не похож подобный мир на умозрительные проекты постиндустриального творческого универсума, преображающего окружающий мир, избавляя человека от тягот и несовершенств внутренней и внешней природы. Общество, формирующееся на наших глазах, демонстрирует неожиданный ракурс “нового постиндустриализма”, столь же отличного от первоначального замысла и прогноза, как некто, обреченный молвой носить имя Франкенштейна, от планов своего несчастного создателя Виктора Франкенштейна.

* * *

Распад привычного культурно-исторического ландшафта, торжество эксцентричной “универсальной иллюзии” сопровождается прогрессирующим уплощением, стерилизацией и одновременно невротизацией личности, выводимой за пределы культурного контекста Большого Модерна и прямых человеческих связей. Ведь становление индивида, критически важные условия его существования предполагают *произнесение слова и совершение действия*, имеющих персонифицированный характер, порождающих отклик, результат в рамках некоей осязаемой общности. Массовость же и анонимность уходящих в дурную бесконечность социальных схем и информационных конструкций многоликого “планетарного субъекта” есть некоторым образом мера его коррозии. Эти же факторы продуцируют генезис нового варварства, растекающегося по унифицированным коридорам глобального мира.

В нарастающей угрозе всеобщей карнавализации и обезличенности кроется, по всей вероятности, исток спорадичных (но упорно повторяющихся), разнородных, нередко абсурдных с точки зрения здравого смысла, попыток утверждать методами эксцентрики и насилия свое право быть услышанным. И самое бытие — анигиляционной вспышкой (ища в способности к разрушению доказательство собственного бытия). А также, отчасти, —

энтузиазм и энергия нынешнего победного шествия Интернета. Основой же скрепой нового социума становятся массовая коммуникация вместо гражданской ответственности и рыночная среда вместо гражданского общества.

Безбрежный, атомизированный универсум чреват как массовым конформизмом, так и повсеместным, “аморфным” тоталитаризмом. Заодно отметим, что “информационное событие” в современном мире это, как правило, все же не само событие, но скорее его тиражированная интерпретация, *версия*, по отношению к которой императивно необходима самостоятельная оценка личностью. Гиперинформатизация физически истощает способность человека противостоять шквалу новостей, принуждая, в конце концов, к их некритичному восприятию (то же можно сказать и о навязчивых механизмах рекламы), что искажает саму основу взаимоотношения индивида со словом — провоцируя его девальвацию, *унижение* — и, соответственно, исподволь предуготовляя кризис личности, нередко фатальный. Отсюда также происходит нарастающее равнодушие к профанированию слова и цинизму публичных политиков, что подрывает основы уже политического мироустройства.

* * *

Итак, на закате XX века с переменным успехом были реализованы различные схемы, продлевающие существование современной, охваченной кризисом цивилизации Нового времени. Примечательно, что среди них фактически не нашлось (по большому счету) места одному из основных рычагов культуры Модерна — стратегии прорыва, вдохновению и энтузиазму инновационной научно-промышленной революции, использующей обновленные знания о фундаментальных свойствах мира... Вместо этого под ярлыком информационной революции сейчас происходит сложный и неоднозначный процесс перераспределения и оптимизации ранее полученных человечеством сведений, косвенно свидетельствуя о метафизической усталости эпохи. Повозка цивилизации, преодолев ухабистый, непростой, бурный и неровный “позолоченный век”, закрипела, а колея ее, кажется, пошла под уклон.

Очевидная растерянность мирового сообщества перед происходящими переменами особенно ярко проявилась в фатальном отсутствии перспективной стратегии, адекватной масштабу и характеру перемен. Популярная, но крайне невнятная концепция устойчивого развития вряд ли может считаться таковой, являясь все-таки паллиативным ответом на вызов времени, скорее, констатирующим его серьезный характер, нежели предлагающим действенные средства выхода из засасывающей цивилизацию воронки.

Вся же совокупность, *сумма* обнаружившихся на пороге третьего тысячелетия явлений и тенденций оставляет странный привкус — впечатление, будто мир современности находится на пороге какого-то невероятного, отчасти карикатурного, отчасти карнавального, но в целом достаточно последовательного возрождения, казалось бы, навсегда ушедших в прошлое теней и смыслов. Возрождения (или все-таки следует сказать — вырождения?), которое в отличие от исторического Ренессанса, некогда оживившего реалии и идеалы Античности, быть может, способно при определенных драматических обстоятельствах пробудить спящую беспокойным сном душу глубокой архаики Древнего Мира.

Человечество, демонстрируя более чем парадоксальную безграничность своей свободы, словно бы готовится совершить в III миллениуме трагическое *salto-mortale*. Оказавшись перед исторической альтернативой с большой буквы, оно при помощи миллиардов цепких рук и усталых сердец может решиться содейть нечто головокружительное — обратить время вспять, замкнув, таким образом, собственные дальние горизонты в переливчатое кольцо вечного возвращения. В попытке освободиться от тягот исполненного ответственности и требующего нравственных усилий подвига бытия, возвести на пьедестал безликую повседневность, утвердив на планете универсальную и деятельную иллюзии жизни.

Однако, если этот удивительный эпилог цивилизации обернется явью, во что тогда обратится жизнь людей? Не станет ли она простым ободом колеса вечно скрипящей телеги? Эдакой призрачной повозки, влекомой слепыми душами, по вязкой, извилистой колее никуда не

направленной и лишенной смысла *бесконечной истории*.

Но... “здесь страх не должен подавать совета”.

К.Л. Майданик

Современный системный кризис мирового капитализма и его воздействие на общество периферии (Латинская Америка)

А. Характеристика категории

Одним из главных векторов глобальной трансформации конца XX — начала XXI века стал очередной структурный кризис мировой капиталистической системы. Из тройки рысаков (или “коней апокалипсиса” — по вкусу), уносящих человечество в новое тысячелетие (два других — глобализация и цивилизационный кризис), это — единственный, с которым оно давно знакомо: уже четвертый (или пятый) раз за два века “длинные волны” капиталистического развития воспроизводят и внешние контуры системного кризиса, и его внутренний механизм. Подобная цикличность феномена делает возможным — и желательным — выделение этого процесса, сколь бы тесно и сложно ни был он взаимосвязан и переплетен с двумя другими.

Опуская — по требованиям “экономии места” — анализ остальных подходов к проблеме “великой трансформации”, начавшейся в конце XX века (глобализационного, цивилизационного, макроцивилизационного и др.), отмечу лишь, что каждый из них отражает, по-видимому, реальный и фундаментальный аспект этой трансформации. На стыке тысячелетий мир, действительно, находится в ситуации наложения и частично — синтеза кризисных процессов, в известной мере объединенных своим генезисом, но различных по своей природе, масштабу, глубине. Возможно, что именно эта синхронизация (почти все упомянутые гипотезы датируют начало “своих” кризисов 1970-ми годами) и переплетение кризисных процессов, кризисных фаз различных циклов объясняют “размытость” некоторых традиционных черт нынешнего системного кризиса (см. ниже).

Так или иначе именно этот кризис является предметом данной статьи. А исходным — при истолковании процесса трансформации в целом — его “кондратьевское” происхождение. При всех натяжках подобного подхода.

1. Место в истории

Под системным (структурным) кризисом понимается процесс, состояние, фаза исторического развития определенной общности (национальной, региональной, мировой), взятой в совокупности и взаимодействии всех своих структур (экономических, социальных, политических, культурных) и институтов. Кризис данных структур как системы. Этот (10-15-20-летний) период разрушения и преобразования определенной общественной системы знает два главных варианта “решения” своих проблем. Либо полное разрушение существовавшего порядка вещей (“социальная и политическая революция”), либо его преобразование в новую систему структур на прежней формационной (по общему правилу — капиталистической) основе.

Глубинными факторами, порождающими структурные кризисы, выступают: сопротивление исторического материала; блокирование эволюционных процессов наиболее инерционными структурами и субъектами системы, в наименьшей мере способными и “готовыми” принять и ассимилировать объективные сдвиги и императивы исторического процесса.

Вместе с тем, выражая дискретность развития капитализма, эта фаза “творческого разрушения” (Й. Шумпетер) в значительной мере обеспечивает живучесть капиталистической формации; выступает как метод преодоления ее противоречий и передачи — в процессе внутриформационного перехода — “ДНК” капиталистического способа производства...

Ареал системных кризисов XIX (XVIII?) — XX веков конституировали отдельные страны (Великобритания); регионы, объединяющие страны относительно схожей исторической судьбы и уровня развития (Запад, Периферийная Европа, Латинская Америка), и

мировая капиталистическая система, развитие и кризис которой были обусловлены соответствующими процессами в центре системы (Западная Европа → “большой Запад”), и становились обуславливающими для остальных регионов системы (“периферии”).

Общепризнанная связь между системными кризисами — и “длинными волнами” кондратьевских циклов, процессами технологической инновации — объясняет широкий консенсус по проблеме исторической последовательности и хронологии структурных кризисов на Западе (и в рамках Системы). Это:

- кризис 1830 — 40-х годов, завершивший первый кондратьевский цикл;
- кризис 1880 — 90-х, разделивший благополучные викторианские десятилетия — и годы “Belle époque”; открывший путь “циклу стали, олигополий и борьбы за мировое господство”;
- кризис 1930 — 40-х гг., завершивший третий кондратьевский цикл и заложивший основы системы “массового производства” и Welfare State, государственного регулирования и биполярного мира, Форда и Кейнса, нефти и автомобиля...;
- и, наконец, тот разворачивающийся в последние десятилетия XX века кризис, который на наших глазах покончил с “капитализмом середины XX века”, утвердил технико-экономические основы нового, “микроспроцессорно-информационного”, сетевого и глобализованного капитализма, — но оказался (пока) не в состоянии создать соответствующую социально-институционную подсистему. О нем и пойдет речь ниже.

II. Анатомия системного кризиса (СК)

На данный момент концепцией, наиболее полно и убедительно объясняющей механизм СК, мне представляется та, которая изложена в работах К. Перес и Кр. Фримена (и знакома российскому читателю в изложении и интерпретации С.Ю. Глазьева).

Данная, неомарксистская по своей методологии концепция трактует структурные кризисы как процессы (фазы), через которые осуществляется — и демаркируется — переход от одной системы капиталистических структур к другой. Каждая из этих систем (назовем их условно субформациями) характеризуется, согласно К. Перес, уникальной матрицей (“способ роста”), которой соответствуют все уровни и структуры системы — до культуры, идеологии, моды и международных отношений включительно. В национальном, региональном (Центр системы) и глобальном масштабах...

Обуславливающим же ядром каждого из “способов роста” (субформации) и процессом, определяющим цикл его развития, является инновационная смена технологий, а точнее — эволюция господствующей технико-экономической парадигмы (ТЭП). Именно она определяет оптимальную экономическую практику и специфический — в рамках каждой субформации — “здоровый смысл”, которые интегрируют, “приводят к общему знаменателю” все элементы и блоки матрицы и системы.

В свою очередь каждая из ТЭП прошлого и настоящего “основывается” на определенном “ключевом факторе” — на том продукте, товаре и т. д., резкое изменение цены которого (удешевление) способно воздействовать на все остальные структуры ТЭП, на всю систему цен в рамках “матрицы” и через этот сдвиг — определяет эволюцию последней.

Динамика кризиса рисуется следующим образом:

а) Отдельные элементы будущей ТЭП возникают глубоко в рамках предшествующей системы структур, как производные и подчиненные. Но по мере угасания технико-инновационных возможностей, быстрого экономического роста, роста (сохранения) нормы прибыли в рамках господствующей парадигмы “N”- и растущей наглядности преимуществ (прибыльность, качество инноваций) новых отраслей и технологий кривая развития ТЭП (а затем и системы) “N” искривляется — и переламывается. Наступают годы (десятилетия) все менее мирного сосуществования нисходящей ветви старой парадигмы и восходящей — к господству — ветви развития новой ТЭП (“N+1”). Это и есть стадия

перехода, в начале своем не носящая кризисного характера. Пока процесс изменений развертывается в основном в сфере производства (и управления), кризис представляется “ненужным”: рыночные механизмы саморегулирования, перетекания капитала, экономической ассимиляции, присущие капиталистическому развитию, “в принципе” способны направить последнее в эволюционное русло, плавно выводящее к качественному сдвигу (полная смена ТЭП и субформации).

б) Решающим фактором кризиса выступает режим взаимодействия (или — точнее — несоответствия) между экономическими структурами с их стремительным и в значительной мере спонтанным развитием — и социально-институциональными (политическими, психологическими, частично-культурными) структурами господствующей субформации. Последние отражают условия и императивы прежних фаз “способа роста”, периода его складывания. Их развитие (теперь мы можем добавить: “к несчастью — и к счастью”) обладает иной логикой, лишено спонтанности, не “объединено” факторами, подобными “прибыльности”; выражает различные интересы разных социальных групп и политических институтов — и отличается несравненно большей инерционностью (“угроза разорения” здесь не висит и не “подгоняет”). Ситуация в данных сферах, все еще тяготеющих к целостности “N” + инерция — в сознании — прежних успехов в сфере экономической и образуют “механизм торможения”, главный фактор перерыва эволюции. Производственно-экономическое развитие, устремившееся по руслу ТЭП “N+1” и уже по сути определяемое ею, не находит соответствующей (новой) общественной среды. В этих условиях новый способ роста (“N+1”) не кристаллизуется, а инволюция прежнего на определенном этапе перехода и принимает форму структурного кризиса. Одним из атрибутов последнего становится осознание ситуации (критической) обществом: падение консенсуса, рост напряженности на всех уровнях общественных структур, элементы институционального кризиса, кризис гегемонии. В ходе этой борьбы, сопровождаемой экономическими неурядицами всякого рода, и происходит “выбор” того варианта, который в наибольшей мере отвечает длительным (стратегическим?) потребностям уже сложившейся новой парадигмы.

Об особенностях нынешнего системного кризиса речь пойдет ниже.

III. Структурные кризисы на периферии системы

Концепция, излагавшаяся до сих пор, призвана объяснить происхождение и механизм кризисов, возникавших в центрах системы и транслировавших свои импульсы на ее периферию. Однако, для понимания происходившего в регионах последней, следует иметь в виду иные, хотя и подобные (и сопряженные) процессы, ареной и генератором которых были — и все еще остаются — сами периферийные общества; их специфические противоречия, взаимодействие этих процессов с системными кризисами в центрах.

Дело прежде всего в том, что структуры периферийно-капиталистических обществ лишены той однородности — капиталистической, индустриальной, цивилизационной (“западной”), которой они обладают в центрах системы с середины XIX века (со времен второй “длинной волны” капиталистического развития).

От Огненной Земли через Средиземноморье и далеко в глубь Евразии — структуры, тенденции и “напряжения”, порожденные “западным” развитием, в течение полутора — двух веков оказывались переплетенными, рядоположенными или синтезированными с докапиталистическими, прединдустриальными, азиатскими. Сам тип капиталистического развития был здесь иным — менее органичным, с многочисленными элементами дефазации, сжатым во времени (а потому “плохо переваривающим”), с несравненно бóльшим удельным весом элементов “развития сверху” и т. д. Частично к тем же последствиям — но и ко многим иным — ведет производный (от внешних факторов) характер общественного развития на периферии системы.

Отсюда и конкретные отличия региональных системных кризисов от их аналогов в

центре:

1) На периферии происхождение и обуславливающий механизм кризисов связаны не только с внутренними, экономическими процессами, не столько с императивами, ранее рождающимися в сфере экономического развития, — но и с импульсами, идущими извне национального общества (структурные и финансовые кризисы, войны и т. д.) — и из неэкономических его сфер. Иначе говоря, разнородность структур ведет здесь к такому накоплению структурных же противоречий, что роль детонатора кризиса может вызвать чуть ли не каждое из них. “Западный” механизм генезиса системного кризиса: “насыщение рынков — технологические инновации — новая (автохтонная) производственная парадигма — ее противоречия с другими общественными структурами и т. д.” — действует здесь вообще крайне редко.

По тем же причинам традиционные процессы и формы деблокирования капиталистического развития выражены на периферии гораздо менее отчетливо и органически — прежде всего в силу отсутствия “своей”, “выношенной” технико-экономической парадигмы — и слабости социально-политических сил, выступающих ее носителями.

Вытекающая отсюда сила и цепкость “механизма торможения” закономерно способствовала — “реактивно” — особой силе и укорененности альтернативных (капитализму, западному пути) тенденций решения критических (блокирующих) проблем. Если же решения проблем системного кризиса все же находились в рамках капиталистического развития — они оказывались невозможными на путях спонтанной, саморегулирующейся эволюции. Отсюда особая, несравнимая с “западной” длительность кризисов, частые ситуации “устойчивой неустойчивости”, с Государством в качестве главного агента,демиурга и “рулевого” развития. Но отсюда же — из вакуума гегемонии (буржуазной), равновесия борющихся тенденций и самой роли государства — и пробуксовка демократических форм буржуазной власти, полное преобладание авторитарных, а на решающем этапе “битвы альтернатив” — фашистских и квазифашистских тенденций...

Все это объясняет определенное хронологическое несоответствие между “длинными волнами” в мировом масштабе — и фазами региональных структурных кризисов на периферии. Хотя в обоих случаях речь идет о сменяющих друг друга совокупностях структур, интегрируемых (или нет) в ту или иную систему. И о кризисах, их разделяющих (и соединяющих). При этом различные регионы периферии проходят фазы формирования (и кризисов) однотипных систем в эпохи, разделенные подчас многими десятилетиями. Подобно каравану судов, проходящих одно за другим над одной и той же опасной отмелью развития.

“Отмелей” (“стремнин” и т. д.) таких тоже несколько, причем по многим своим характеристикам (но никогда — по времени) эти типы структурных кризисов капиталистического развития на периферии схожи с кризисами, уже имевшими место в центрах системы. Это:

1) Кризис структур преимущественно докапиталистического общества, хотя и с относительно развитым (предындустриальным) капиталистическим укладом.

Речь идет (на периферии) о ситуации — аналоге ранних буржуазных революций. Страны периферийной Европы, Россия, Япония прошли через подобный кризис в 1848 — 68 гг.; Латинская Америка стала регионом “социально-недоношенного” подобного рода кризиса и последующих “100 лет одиночества” в рамках олигархических режимов; полуколонии Востока пережили кризис данного типа в начале XX века.

2) Кризис системы капиталистических по преимуществу структур на этапе развернувшейся индустриализации (на Западе — период поздних буржуазных революций). Структурная неоднозначность обществ данного типа, особенно глубокая именно на периферии, привела здесь к особой остроте и многообразию общественных противоречий, обусловила и жесткость механизмов блокировки, и мощь альтернативных (капитализму) тенденций разблокирования. Если Запад оставил эту фазу развития позади в третьей четверти XIX века, то периферийная Европа шла через нее всю первую половину XX века, а Латинская Америка — с 30-х его годов. Именно здесь произошло первое “дефазирующее” наложение

системных кризисов: регионального (“аналога” второго системного кризиса на Западе) — и глобального (“третий” системный). Это стало одним из факторов беспрецедентной длительности структурного кризиса в Латинской Америке, в ходе которого она испытала на себе (см. ниже) и воздействие “следующего” (четвертого) кризиса мировой системы.

Б. Системный кризис конца XX века

1. Генезис кризиса

...Систему структур, соскользнувшую в 70-х годах в “downspring”, в стадию перехода, а затем и в кризис, правомерно называют послевоенной: именно на вторую половину 1940-х годов приходится ее окончательное оформление. Реформирование экономических, социально-политических и международных структур “капитализма начала XX века” (империализма) восстановило пошатнувшиеся основы формации, но частично изменило логику ее функционирования, ее социальный характер и ее границы. Все это — в направлении альтернативной модели развития.

50 — 60-е годы стали временем экспансии и зрелости новой системы, демонстрации ее возможностей и преимуществ. Осью и каркасом ее, базирующейся на дешевизне нефти технико-экономической парадигмы, было стандартизированное (крупносерийное) производство и потребление товаров длительного пользования для большинства (“общество двух третей”) и для государства (вооружение); тейлористские принципы управления (вертикального, специализированного, иерархизированного). “Верхний этаж” производственной и надстроечной системы составляло национальное “государство всеобщего благосостояния”, “welfare (и warfare) state”, осуществлявшее достаточно широкое регулирование мощного олигополистического рынка...

Рост и увеличивающаяся однородность потребления; социал-демократическое или социал-либеральное государство-гегемон; развитие и зрелость представительной демократии (ее “золотой век”) и гражданского общества, массификация (и иерархизация) культуры — отражали растущий изоморфизм, структурную однородность новой системы...

Фаза ее экспансии завершилась вместе с шестидесятыми годами. Уже в 1967 — 69 гг. обнаружались как признаки “гребня волны”, так и процессы-предвестники недалеких структурных конфликтов.

Главным из них было падение нормы прибыли и качества технологических инноваций данного цикла, замедление роста производительности труда, первые симптомы кризиса в сфере международных финансов. Достаточно резко изменилась общественная атмосфера: стало очевидным отторжение некоторых основополагающих характеристик модели молодежью США и Европы, при одновременном обострении традиционных классовых конфликтов. По мере насыщения рынков, роста неиспользуемых мощностей в традиционных и — еще вчера — новых отраслях производства — усиливался поиск новых путей к поддержанию нормы прибыли. Важнейшими из них стали перемещение достигших зрелости отраслей и технологий из центра — на периферию — и ускоренное развитие исследований в сфере новейших технологий, очаги и пророки (Н. Винер, К. Диболд) которых заявили о себе еще в начале 50-х, но которые не доказали пока своей общей экономической сверхэффективности (“фаза ниш”).

1971-73 гг. принесли конец Бреттон-Вудской системы, первый нефтяной кризис — и самый глубокий — за последние десятилетия — циклический кризис. Середина 70-х — резкое сокращение инвестиций (особенно в энергетику!); массу избыточного капитала (евро- и нефтедоллары), частично рециклируемого в страны третьего и “второго” миров, и стремительный рост безработицы в центрах системы. (По сути речь уже шла о кризисе “welfare state”). Одновременно поражение США во Вьетнаме (а впоследствии — и иранская революция) закрыло традиционный, “империалистический” путь решения встававшей в полный рост проблемы ресурсов.

В этой-то, уже перезревшей — для решающего сдвига — ситуации и приходит “момент

истины”, перерыва постепенности. В 1979 — 80 гг. резкое удешевление и массовое, “всеотраслевое” внедрение микропроцессоров обозначило начавшуюся смену “ключевого фактора” экономики — и раздвоения технико-экономической парадигмы в целом. Смену “здорового смысла” (инноваций, производства, распределения), все более основывавшегося отныне не на массовости, унификации, централизации и вертикализации управления, на национальном государственном регулировании и т. п., — а на диверсификации, фрагментации, гибкости, разнообразии, постоянстве технологических и управленческих сдвигов. На горизонтальных (сетевых) связях и резком усилении контрольно-распределительной роли глобализированного рынка.

На синусоидах кондратьевских циклов все это соответствовало “нисходящей ветви” прежней системы (“ГМК”, “капитализма середины XX века” и т. д.) — и круто восходящей ветви нового технологического макроцикла, новой ТЭП: от “школы” (70-х годов) — к “университету”. О том, что дело обстояло именно так, свидетельствовали и достаточно спокойная реакция “Севера” на второй нефтяной кризис (1979) и “национализацию нефтедобычи”, и начавшееся на стыке десятилетий глобальное идейно-политическое наступление справа (неолиберализм, неоконсерватизм)...

II. Новое в кризисе

Уже к середине 80-х годов топологическое и сущностное сходство происходившего с исторической ситуацией 1929 — 45 гг. стало очевидным. Но не менее явным стало иное: второй системный кризис XX века не воспроизводит — во всяком случае вокруг своей “колыбели” (центр системы) — апокалиптические картины полувековой давности.

Формула Шумпетера (“творческое разрушение”), китайское определение кризиса через два иероглифа, обозначающих “опасность” и “возможность” — оказались разделенными в пространстве, а не только (и не столько) во времени. “Творчество нового” (см. выше), реализованные возможности на этот раз сосредоточились в центрах системы, а полюсом “опасностей и разрушения” стали зоны полупериферии — капиталистической (Латинская Америка 80-х годов) и альтернативной. Ситуация в этом плане оказалась развернутой на 180° по сравнению с 1930-ми (СССР) и 1940-ми (Латинская Америка) годами. Как падение производства, инвестиций и т. д., так и рост безработицы, социальные, политические и военные потрясения в “Большом центре” (США, Западная Европа, Япония) оказались несравненно меньшими, чем пятьдесят лет назад. Напротив, трансляция кризиса на Латинскую Америку и, особенно, на Евразию и Центральную Европу привела к неизмеримо бóльшим разрушениям в экономике и — с обратным политико-идеологическим вектором (антиавторитарным и антиэтатистским) — в сфере политики...

Начавшаяся четверть века назад “стадия перехода” и сегодня далека от своего завершения. Неясно, в частности, пройдены ли уже решающие рубежи ее кризисной фазы (даже в центре системы).

С наибольшей очевидностью о продолжающейся структурной нестабильности глобальной историко-экономической ситуации свидетельствуют финансовые кризисы, уже пять лет сотрясающие традиционную и новую полупериферии системы. Более глубоким и важным признаком незавершенности фазы — и стадии перехода в целом — выступает несоответствие (разрыв?) между высокими темпами технологической инновации — и традиционными совокупными показателями экономического развития (начиная с темпов роста ВВП и занятости). Но главным системным изъяном исторической ситуации выступает отсутствие качественных (и проецируемых на весь последующий исторический период) сдвигов в социально-институциональной сфере. Сдвигов, сравнимых с теми, которые обеспечили в 30 — 40-х годах кристаллизацию новой субформации — и ее последовавшее развитие.

Сегодня об этом “изъяне” — по-разному определяя его, о необходимости и срочности его преодоления уже заговорили во весь голос (Давосский форум 1999 г., дискуссия насчет Пост-Вашингтонского консенсуса, выступления Д. Штеглица и т. д.). И это логично:

происходящее воспринимается как “задержка” развития; крепнет ощущение тревоги в связи с неопределенностью перспектив именно общественного развития. Ощущение того, что в традиционном “повторяющемся” механизме перехода — что-то разладилось. Или — изменилось.

Об одном из возможных “факторов задержки” имеет смысл сказать уже здесь. Существенной характеристикой большинства системных кризисов — и “мировых”, и, особенно, “региональных”, периферийных — было возникновение ситуации альтернативности (исхода кризиса и последующего развития). На развилке объективно возможных исторических путей развертывалась борьба между различными проектами, тенденциями, вариантами и даже альтернативами выхода из кризиса, решения его проблем. Происходившее, как правило, в рамках единого “пространства возможного”, определяемого сложившейся новой ТЭП (в центре) или императивами движения к ней (на периферии) это противостояние социально-политических сил, представлявших различные варианты развития, в конечном счете выступало как фактор ускорения процесса, особенно его творческой фазы. Оно облегчало “базовую”, системообразующую (в перспективе) тенденции преодолению “сопротивления среды”, инерции; придавало побеждающему варианту общественного развития оптимальную форму, ускоряло становление вокруг ТЭП новой системы — ее социально-институционных, политических, культурно-идеологических “несущих конструкций”, в наибольшей мере обеспечивающих жизнеспособность системы.

Примерами подобного “вклада” “иных” тенденций в равнодействующую посткризисного развития могут служить процессы либерализации/демократизации в Великобритании (во второй половине XIX века) и Западной Европе в целом (после кризиса 1880 — 1890 гг.); складывание “welfare state” в центрах системы в ходе (США) и сразу же после завершения кризиса 1929 — 45 гг. и др.

На этот раз ситуация выглядит — пока? — по-иному. И в центре, и, особенно, на периферии. В ходе — и в период — “четвертого системного” безальтернативности (включающая в себя безвариантность), однолинейность развития доминировала и на социальном, и на политическом, и — по существу — на идеологическом уровнях “перехода”. Будь то в определении социальной или мирохозяйственной ориентации процесса или его политических форм, или его результатов (в группах структурно-родственных стран). И если в центрах системы эта однолинейность частично компенсировалась сопротивлением и(или) инерцией глубоко укорененных элементов и блоков прежней социо-институционной подсистемы, то на полупериферии неограниченное воздействие фактора безальтернативности принимало зачастую тот характер “разрушения без созидания”, о котором говорилось ранее. Между тем в XX веке — и в начале, и в середине его (вплоть до первой половины 80-х годов) — именно общества капиталистической полупериферии отличались наиболее высоким потенциалом альтернативности. Ныне же вопреки определенным объективным (материальным?) предпосылкам и беспримерной остроте (или обострению) системных кризисов в Латинской Америке (80-е годы), Центральной Европе (80 — 90-е годы) и Евразии (80-е, 90-е, 2000-е годы), историческое развитие — за пределами отдельных, ограниченных во времени и пространстве эпизодов — не выявило мало-мальски значимых тенденций реального развития (?), помимо господствующей, “неолиберальной”...

Не касаясь пока вопроса о причинах данной “новации”, отметим, что, возможно, именно она стала одним из “векторов замедления” нынешнего перехода. “Слоновий срок беременности” общества (новой системой) в определенной мере связан с тем, что Фукуяма окрестил “концом истории”, а спортсмены назвали бы “забегом одиночки”.

Рассматриваемая проблема (растянутость и безальтернативность перехода) имеет и другой аспект. Доминирующий, неолиберальный проект (экономическая стратегия, социально-экономическая модель, соответствующая идеология) не создал вокруг себя — во всяком случае, на периферии — “поля консенсуса”, характерного для ведущих тенденций перехода в кризисах прошлого. Даже отсутствие альтернативных проектов не обеспечивает в большинстве “периферийных” случаев гегемонию проекта господствующего. Ни среди масс

большинства, ни в среде интеллигенции, в сфере общественной мысли. Что опять-таки объясняет длительность (или тупиковость?) переходной ситуации — и снова ставит вопрос о причинах и последствиях безальтернативности (в условиях социальной малопривлекательности неолиберального проекта).

В ходе поисков ответа на эти — и смежные — вопросы, наряду с привычными отсылками к “банкротству социализма”, “неумолимости императивов глобализации” или особому хитроумию и злокозненности неолибералов, возникают и иные решения проблемы. Наиболее частым, в принципе — верным, но сугубо предварительным — выступает объяснение всех новаций той ситуацией совпадения и наложения разнотипных кризисов, о которой уже шла речь.

Другие решения исходят из принципиальных особенностей новой (микропроцессорно-информационной) парадигмы; третьи — из особенностей перехода к системе, ядром которой эта парадигма является. Схематически: неолиберальная безальтернативность перехода, стадии разрушения — и широчайшая альтернативность стадии посткризисного развития: неолиберальная гусеница может смениться монстром общества социального апартеида — или прекрасной бабочкой партисипативно-демократических (социалистических) структур. (Модель развития, напоминающая фужер для шампанского.)

В. Системный кризис конца XX века: воздействие на периферию

Говоря о “периферии” мирового капитализма на стыке тысячелетий, мы имеем в виду почти все общества традиционного “третьего мира” и — с 1991 г. — большинство “экс-социалистических” государств. Пресловутое “всё остальное” (“все остальные” — по отношению к “золотому миллиарду”), отличное от центра системы и подчиненное ему. Крайняя — и неравномерно растущая — структурная разнородность этой периферии заставляет ограничиться двумя аспектами проблемы: некоторыми самыми общими контурами воздействия кризиса и, более конкретно, его результатами на латиноамериканской полупериферии.

Признаю, что именно вокруг данной темы переплетение процессов системного кризиса и глобализации является наиболее тесным, а разделение их слишком часто выглядит искусственным.

1. “Третий мир” перед лицом “перехода” в первом

К концу 70-х годов XX века положение и перспективы мирового Юга (и более широко — “Не-Запада”) в процессе мирового развития выглядели сугубо неоднозначно.

С одной стороны, стала историей антиколониальная трансформация и постколониальная эйфория 50 — 60-х годов. Пришло понимание реальностей зависимого развития. Экономическая дистанция между Севером и Югом в целом не сокращалась. А внешняя “плоскость опоры” развития последнего — мир “социализма” — все более явно демонстрировал симптомы неспособности к выполнению этой функции. Имущественная поляризация, социальные разрывы в обществах Юга не уменьшались. На наиболее экономически развитую, южноамериканскую зону “третьего мира” напознала тень фашизации...

С другой — это были годы крупнейшего военного поражения империализма — во Вьетнаме, последних ударов по колониализму (Африка) и первых — по т. н. “неоколониальным” формам эксплуатации (нефтяные кризисы, деятельность ОПЕК, национализация нефтепромыслов). Мировая экономическая ситуация в целом складывалась благоприятно для развивающихся стран: предкризисной фазе развития Запада соответствовали и перемещение на Юг, к дешевой и относительно квалифицированной рабочей силе ряда предприятий и отраслей обрабатывающей промышленности, и рост потребностей в “южном” сырье (а, стало быть, и цен на него), и обилие свободного и дешевого капитала. На Юго-Западе и Юго-Востоке шли крупномасштабные процессы

индустриализации. Уроки Вьетнама и сохранявшаяся военная мощь “социалистического мира” стали важным дополнительным стимулом поисков Западом новых, глобал-реформистских моделей отношений и взаимодействия с “третьим миром”, отказа от политики интервенций — и “политика прав человека”. Несомненным был сам факт внимания к проблемам “третьего мира” и его развития. То обстоятельство, что наиболее развитые страны “третьего мира” как бы вступали в общую с Западом (и “Востоком”) индустриальную фазу развития — и имели в своем пользовании капиталы (займы и экспортная выручка) Запада для движения по этому пути, усиливало “оптимистический”, догоняющий настрой элит Юга. Впервые ими был выработан эскиз глобального альтернативного проекта (программа НМЭП). Вопреки постепенно нараставшим процессам экономической и политической дифференциации, центростремительная тенденция в развитии Юга во второй половине 70-х годов все еще была преобладающей.

Инерция этих “переходных” процессов — и настроений — оставалась чуть ли не определяющей и в короткой “буферной” фазе 1978 — 1981 гг. Но уже в 1982 г. разбухшая сдвигами в центре и канализованная им на Юг волна ударила по “Не-Западу” (начиная с Латинской Америки) с силой цунами...

Между тем потенциал взаимодействия развития Юга — и “перестройки” на Севере представлялся исследователям и политикам “третьего мира” не однозначно. В течение всех 80-х годов.

Естественно, что большинство исследователей встретили новые импульсы с привычной (и в конечном счете — оправдавшейся) настороженностью. Как всё, несовпадающее с уже добытым знанием; как всё, что шло из центра системы. Тем более алармистской была эта реакция, что предкризисная конъюнктура воспринималась скорее оптимистически (см. выше), господствовавшая (в 40 — 70-х годах) этатистская ориентация рассматривалась как единственно-прогрессивная; а неоглобализм администраций Рейгана и Тэтчер нес на себе очевидный отпечаток реваншизма (Запада).

Главное же заключалось в том, что слишком разителен был контраст между новейшими технологическими (и управленческими) достижениями Севера — и реалиями Юга. Ощущение “расширения и углубления пропасти” между Севером и Югом рождалось почти спонтанно; образ “концентрических кругов” — или лабиринтов — “зависимости” (за каждым преодоленным барьером — колониальным, индустриальным — возникает следующий) становился первой реакцией на происходящее.

Однако в середине 80-х высказывались и иные суждения на этот счет, в диапазоне от антифаталистических (с известной натяжкой — альтернативистских) до апологетических. Первые исходили из более глубокого анализа новой парадигмы (точнее — нового в парадигме) и из более критической оценки предкризисной ситуации на Юге. В Латинской Америке наиболее известным текстом, отражающим данный подход к проблеме, стал позднейший (1990 г.) документ ЭКЛА “Transformacion productiva con equidad”.

“Прогрессивные оптимисты” (антифаталисты) констатировали, что смена парадигмы открывает перед Югом новые возможности для догоняющего рывка и указывали на новые приоритеты развития, необходимые для реализации этих возможностей.

Во-первых, потому, что подобную перспективу открывает перед наиболее развитыми странами периферии любая смена ТЭП в центре. Ибо страны эти в меньшей мере отягощены структурами и инерцией успехов прежней системы. Ибо сама “перестройка” в центрах требует времени, предполагает определенное замедление темпов роста в более развитых странах — и, стало быть, предоставляет это время периферии. Для “обучения”, для вхождения в новую систему — пусть даже “прыжком в последний вагон” замедлившего ход поезда.

Во-вторых же, в рамках нынешнего перехода существует (существовало) еще одно, специфическое “окно возможностей”: важнейшими элементами “вхождения” в новую модель были на этот раз не общая развитость промышленных отраслей, обладание современными специальными технологиями, навыки и опыт индустриального развития (как это было в конце XIX и середине XX века), а прежде всего — обладание научным и управленческим знанием,

информацией, в принципе доступным и ряду стран и регионов периферии с развитым университетским образованием. В том же направлении воздействовало и существование альтернативного “резервуара” научных знаний — стран “социалистического сообщества”, и процессы глобализации научной мысли.

Кроме того, характерная для новой парадигмы тенденция к фрагментарности, гибкости, диверсификации производства позволяла “обойти” тяжелейший — для периферийных стран — барьер экономически эффективных размеров рынка; использовать, превратить в преимущества ту специфику их условий, которая в условиях господства унифицирующей модели была несомненным препятствием для развития. А потенциальное всеприсутствие информационно-микропроцессорных технологий давало возможность модернизации сугубо традиционных, оставшихся на обочине индустриализации отраслей (сырьевых и т. п.), удельный вес которых на периферии был особенно велик.

При этом речь шла о “гонке против времени”: фаза, наиболее благоприятная для интеграции в новую модель, представлялась достаточно кратковременной (до конца века); преодоление центром структурного кризиса обещало вновь повысить барьеры и ускорить “ход поезда”. И использование “окон возможностей” предполагало быстрое преодоление инерции прежней, этатистско-“компенсирующей” модели (главным образом импортозамещающего ее варианта), а также максимальные вложения в “человеческий фактор” (образование, децентрализацию управления, смягчение социальной поляризации и резкое усиление творческого начала в развитии).

Этот прогрессивный потенциал начавшейся трансформации нельзя сбрасывать со счетов при оценке реальных ее результатов.

II. Первые итоги. Экономика

Смещение, поворот основных потоков инвестиций, торговли, процессов расширения рынков в сферу отношений “Север — Север” стало первым глобальным результатом новой технико-производственной революции. Резко сократившийся приток инвестиций и займов (на “Юг — Юго-Запад”) сопровождался ростом ресурсосберегающих технологий (на Севере): интенсивность потребления сырья, энергии и т. д. — замещалась интенсивностью информации; сокращение импорта из “третьего мира” — падением стоимости его продуктов. То же технологическое обновление обусловило падение заинтересованности Севера в дешевой рабочей силе Юга. Отсюда — кризис новых (60 — 70-х годов) промышленных отраслей “третьего мира”, обязанных своим недолговременным расцветом именно этому фактору. Наиболее впечатляющим памятником недавним надеждам на успех имитирующего индустриального развития становились руины автомобильной промышленности на периферии.

Одновременно финансовые потребности технологической перестройки у себя дома, общее резкое удорожание капитала не только оставили в прошлом недавнюю заинтересованность Севера в инвестициях на Юг (и займах его правительствам), но и привели к катастрофическому, вчетверо росту ссудного процента и общей суммы прошлой — инвестированной, растроченной, разворованной — задолженности.

Именно это “направление воздействия” оказалось (и показалось) главным вестником экономического ненастья для стран Латинской Америки — с начала 80-х годов (а для России — в конце 90-х).

Так, “перестройка” на Севере оборачивалась для Юга кризисом разрушения, подорвавшим основы роста и развития 1950 — 70-х годов — и девальвировавшим большую часть его достижений.

Наиболее остро и негативно системный сдвиг воздействовал на те регионы полупериферии и альтернативного развития, которые в предшествующие десятилетия были в наибольшей мере затронуты процессами традиционной индустриализации. При этом первый удар пришелся по зонам, наиболее интегрированным в мировое хозяйство (Латинская

Америка, Центральная Европа); затем настала очередь СССР (Евразии).

В Латинской Америке 1977 — 81 гг. были временем достаточно быстрого экономического роста, опиравшегося на мощный поток инвестиций и займов. Регулирующая и перераспределяющая роль государства не только обеспечивала благосостояние чиновников и средних слоев, но и смягчала положение более широких масс, причем не только в странах, снявших пенку с удвоенных нефтяных прибылей 1979 — 80 гг. Несмотря на мерзости, творимые диктатурами Юга и перешейка (Сальвадор, Гватемала), общее видение глобальной ситуации было скорее оптимистическим. В значительной мере благодаря экономическим итогам этих лет разрыв в темпах ежегодного прироста ВВП между странами ОЭСР и Латинской Америки возрос с 0.8% (+4.8 — и +5.6%) в 1960-х гг. до 2.7% (+3.2 — и +5.9%) — в 70-х. За этими цифрами — характерная ситуация “продвинутого” Севера, уже вступившего в очередную предкритическую фазу развития — и традиционного авангарда Юга, живущего инерцией и отражением прошлой, предпереходной полосы исторического развития.

Латинская Америка устойчиво воспринималась как авангард Юга, а наиболее развитые страны региона — как основные кандидаты на вступление в “клуб избранных”. (Правда, лишь в XXI веке.)

Переход в “иной мир”, действительно, совершился. Но гораздо раньше — в 80-е годы. И совсем не в предполагавшемся смысле...

1982 г. прервал инерцию тридцати лет “роста и модернизации”. Ревалоризация внешнего долга — и долговой кризис, падение экспорта, темпов роста, а затем и абсолютных показателей ВВП, череда “черных понедельников” (вторников, сред, а также четвергов и пятниц) в одной стране за другой обозначили перелом прежних кривых развития. Инерция “традиционно индустриальной” экономики (и нерешенных проблем, унаследованных от “давно прошедшего”) оказалась в 80-е годы в Латинской Америке столь же непреодолимой, как и в СССР; способность к саморазвитию — почти столь же ограниченной.

К концу десятилетия с ослаблением и исчезновением “второго мира” пропали и политические резоны повышенного интереса США к региону. Кончилась ситуация “большого аукциона”, началось десятилетие “политики низкого профиля”.

Как отмечается в уже упоминавшемся тексте ЭКЛА — “утратили динамизм все три основных источника экономического развития региона в 1950 — 80 гг. — экспансия сектора сырьевого экспорта, индустриализация, опиравшаяся сначала на внутренний, а затем и на внешний спрос, и постоянный рост инвестиций — национальных и, особенно, внешних”.

Общим результатом стал рост экономических диспропорций, экономическое и социальное истощение (desgaste) региона, растущая поляризация доходов, общий кризис всех сфер общественного сектора.

Автономное развитие отвечающих императивам нового цикла технологий, стартовавшее (в Бразилии) в 70-е годы, по существу прекратилось. Почти повсеместно “окна возможностей” были забиты. В промышленности вчерашнего (для мира) дня воспроизводились картины 30-х годов на Западе. На этот раз едва ли не главными жертвами кризиса оказались индустриальные рабочие и многие другие — в том числе еще вчера процветавшие — группы средних слоев; главным социальным продуктом эпохи стал не “новый пролетариат”, а армия “неформального труда”.

Резко расширилась брешь между регионом и зонами центра системы: на этот раз ежегодный прирост объема ВВП составлял соответственно +0.8 — и +2.7%. Одновременно Латинская Америка утратила и свое место “наиболее развитой из слаборазвитых”: как первое, так и второе поколения тигров и драконов Юго-Восточной Азии перепрыгнули через застрявший на рифах кризиса Юго-Запад...

Параллелизм ситуаций и тенденций 80-х годов в Латинской Америке и 90-х годов — в России подтверждает, что экономический провал зон индустриальной периферии в конце XX века стал результатом взаимодействия двух общих для них процессов развития: долгосрочного регионального кризиса — и столкновения с айсбергом кризиса мировой системы. Объединенные ограниченностью способности к “самоподдерживающемуся” (адекватно

реагирующему на изменения среды) развитию; инерцией процессов и успехов фазы экстенсивной индустриализации, врожденным (Латинская Америка) или заново приобретенным (СССР периода застоя) имитационным комплексом, “раздуванием” и неподконтрольностью государства — оба региона оказались наиболее уязвимыми в полосе перелома тенденций. Оба не смогли быстро адаптироваться, использовать те “окна возможностей”, которые открылись перед ними (или имелись у них) в период смены парадигмы...

Другое дело, что из ситуации “кризиса в кризисе” (региональном), к стабилизации (но не к модернизации и равноправной интеграции в новую, становящуюся систему; не к преодолению кризиса структур) Латинская Америка повернула значительно раньше России. В силу рыночного характера своей предкризисной экономики, несравненно более органичной интеграции в экономику мировую; большей укорененности традиций и институтов политической демократии и гражданского общества...

III. От демобилизирующего авторитаризма к демобилизованной демократии

Утратив свою роль авангарда в экономическом развитии “третьего мира”, Латинская Америка 80-х годов обрела ее в развитии политическом, возглавив антиавторитарный процесс в “незападных мирах”. Процесс, в который оказались втянутыми почти вся полупериферия системы, европейские страны “антисистемы” и ряд (большинство?) обществ “глубинной периферии”. Связь “мягкого” отступления авторитаризма со стадией “системного перехода” — и с глобализацией — представляется несомненной. Хотя и сугубо неоднозначной.

Осью воздействия сдвигов в центре системы на политические реалии ее периферии стала связка “глобализация+информатизация → дезэтизация (дерегулирование, приватизация, политика “уменьшения государства”) → либерализация (с несомненным антидиктаторским, а подчас и демократическим компонентами)”. Узловым моментом процесса — и борьбы вокруг него — представляется изменение объективной ситуации вокруг проблемы Государства и его роли в развитии.

На пересечении новых структурообразующих тенденций роль Государства уже не могла быть той, которую оно играло на этапах создания и форсированного развития тяжелой индустрии и массового производства (третий и четвертый кондратьевские циклы; периферийная — зависимая или автономная — индустриализация). Механизмы, экономическая и психологическая инерция, корпоративные интересы, политические институты, “здоровый смысл” “господствующего этатизма” (М. Чешков) середины XX века, оставаясь интегрированной системой, превращались в препятствия на пути “неомодернизации”. Напротив, вся прежняя критика в адрес государства — слева и справа — приобретала новый размах и новый характер. Сокращение (“уплощение”) государства, сферы его прямого вмешательства в процессы производства и обращения его всеобъемлющего контроля — или собственности, “открытие” — в той или иной форме — национального экономического пространства, возвышение роли рынка и гражданского общества, — все это отныне представлялось — и объявлялось — неперемным условием “конкурентоспособности” экономик и обществ “третьего мира”, его новой интеграции в обновляемую глобальную (экономическую и политическую) систему.

И все это — начиная с ухода государства из “незаконно” (нефункционально) оккупированных им “зон” (от тотального овладения сферой политики до национализации розничной торговли) — оказывалось несовместимым со структурами и институтами авторитарной, диктаторской, закрыто-националистической власти.

В этой структурной ситуации и при нарастании — под ударами кризиса — запасов “социальной взрывчатки” в обществе, изначальные слабости тоталитарных режимов достигли критической массы и не уравновешивались более их “преимуществами и достижениями”. Начался распад “тройственных блоков” (военно-гражданская бюрократия, буржуазия ТНК, местная крупная буржуазия). Этому способствовали и доносившаяся с Севера проповедь

неолиберализма, и старое недовольство экспансией госсектора в экономике, бюрократизацией, коррупцией, неэффективностью действий госаппарата, его неспособностью справиться со многими старыми и тем более — новыми вызовами развития. И воздействие на сознание низов (информационная революция, телевизоры в трущобах) отзвуков революций в Центральной Америке, падения диктатур на всех континентах “третьего мира”...

Отныне формы власти, открыто основанные на политическом насилии и социальном исключении, становились “контрпродукцент-ными”, воспринимались как “вчерашние” и извне (массы, буржуазная интеллигенция) и — в растущей мере — изнутри вчерашнего правящего блока (международным финансовым капиталом, крупной буржуазией и олигархией, уже не желающими делегировать свои квоты власти военной контрреволюции, и даже отдельными секторами “буржуазии власти”, включая военных). Начинается — с 1981-83 гг. — процесс “контролируемой декомпрессии”. Переговоры диктаторов с буржуазной оппозицией завершаются договорами о передаче власти, военные оттягиваются в казармы. Администрация США (после фолклендской авантюры своих аргентинских наперсников) — не возражает...

С другой стороны, несмотря на отдельные национальные “ситуации риска” в конце десятилетия (выборы 1988 г. в Мексике и Бразилии) правящие элиты — с их новой политикой и старыми союзниками — сохранили контроль над процессом, не допустили его экспансии ни в социальную (и экономическую) сферу, ни в сферу внешней политики. Рычаги финансового давления и контроля извне — в сочетании с телегипнозом и торговлей в кредит — оказываются более действенными “гарантами стабильности”, нежели “гориллократия”, “исчезновения” и пыточные камеры.

И если в центрах системы главным вектором политического сдвига 80-х годов стал поворот от центра (левого центра) вправо, от социал-реформизма к неоконсерватизму, то на периферии уход крайне правых авторитарных режимов во многих случаях сопровождался (впервые — в подобных ситуациях — в истории индустриальной цивилизации) отступлением левых сил. Гегемония почти повсеместно переходила к либерально-центристским течениям, которые — чем дальше, тем в большей мере — проводили правую, неолиберальную (антисоциальную и демобилизующую массы) политику.

Вторая волна демократизации, прокатившаяся по Южной Америке и Юго-Восточной Азии, не затронула ни социальную сферу, ни область отношений с “сильными мира сего”. Именно в этой ситуации и пришла в “третий мир” следующая волна идейно-политического воздействия извне, вызванная гибелью недавнего “второго мира” (1989 — 91 гг.) — и еще более ослабившая левый вектор происходившего сдвига...

Параллелизм процессов периферийной “дезавторитаризации” в трех главных ее ареалах — Латинской Америке, “втором мире” и Юго-Восточной Азии (кроме Сингапура) — очевиден. Однако механизм “взаимодействия” трех главных ее образующих — системного кризиса (смены парадигмы), глобализации и либерализации — были здесь различными.

- От экономического воздействия мирового системного кризиса на утратившие первоначальный “развитийный” импульс этатистские структуры региона; через распад авторитарного блока к “сивилизации”, либерализации, а затем и частичной демократизации политического режима.

- От перезревшего (гниение) регионального системного кризиса, заблокированного им экономического развития (и перспективы поражения в глобальном противостоянии); от идейно-психологического воздействия мирового кризиса на верхи (прежде всего), и лишь затем — “низы” национального общества → к демократизации, либеральному политическому перевороту и последующей авторитарной инволюции и экономической катастрофе...

- От успехов экономической модернизации в русле мирового экономического сдвига — и, опять-таки, от глобальных идейно-психологических сдвигов → к политическим формам, более соответствующим императивам продолжения модернизации, к начавшейся — подгоняемой и тормозимой финансовыми потрясениями — демократизации.

Такими видятся главные региональные (цивилизационные?) “проявления воздействия” системного кризиса на политические процессы “Не-Запада”.

Роль и удельный вес сознательного действия “низов” — различны в каждом из рассмотренных случаев. Но по сравнению с предшествовавшими сдвигами подобного масштаба (в частности, с антидиктаторскими революциями 1974/75 и 1978/81 гг.) роль эта эпизодична (ограничена в пространстве и времени) и почти нигде не выступает как определяющая (в рамках процесса в целом). Отчасти именно поэтому глубинным вектором, направляющей, идеологией политической трансформации во всех трех случаях выступил либеральный антиэтатизм; основные фракции правивших при авторитаризме групп остались при власти (и собственности), а альтернативные тенденции (за пределами двух — трех национальных случаев) почти не проявились.

Таким образом, первоначальное воздействие системного кризиса конца XX века на судьбы представительной демократии — и авторитаризма — оказалось обратным подобному же воздействию предшествовавшего кризиса.

В более долговременном плане периферийный “квартет” середины века: “индустриализация — этатизм — национализм — авторитаризм” сменяется (?) новым: “постиндустриализация” (или деиндустриализация) — глобализация — либерализация — ?”

Политические сдвиги 80-х годов бесспорно сыграли свою роль и в той стабилизации экономической ситуации на периферии (за пределами территории бывшего СССР), которой оказались отмечены начало и середина 90-х годов.

IV. Стабилизация или модернизация? Блеск и ловушки глобализации

1991 — 92 гг. изменили некоторые из главных тенденций кризисного развития на “полупериферии”. Пути Латинской Америки и Центральной Европы, приблизившись к азиатскому, резко разошлись с траекторией СССР-СНГ. Происходит новое, скачкообразное расширение притока финансового капитала из центров системы. Изменяется и характер инвестиций (в пользу краткосрочных, “летучих”, портфельных), и их география: Латинская Америка вновь попадает в “зону орошения”; с 26.3 млрд. долларов в 1983 — 86 гг. и 48.2 млрд. долларов в 1987 — 90 гг. общая сумма капиталовложений в следующее четырехлетие возрастает почти до 222 млрд. и достигла 80.4 млрд. в 1997 г.; от негативного, “донорского” баланса 1983 — 86 гг. (-113.1 млрд.) и 1987 — 1990 (-88.4 млрд.) — к позитивному (+90.5 млрд.) в 1991 — 1994 гг.

Соответствующие сдвиги этих лет оказались связанными — прямой и обратной связью — с одновременными неолиберальными реформами, трансформировавшими весь внешний сектор региональной экономики (либерализация торговли и финансовой сферы, приватизация, реструктурирование внешнего долга и др.) и по многим направлениям (но не по всем) еще более обострившим негативные социальные последствия кризиса.

При этом достаточно скоро выяснилось, что новые политические институты региона не только не препятствуют неолиберальным реформам, но, напротив, способствуют им — амортизируя и раздробляя массовые движения протеста, а главное — предотвращая их, направляя реакцию масс в русло индивидуальной борьбы за выживание и(или) приспособление (“информализация труда”, покупки в кредит, рост коррупции и преступности и т. п.)...

Компенсировав за счет “горячих”, а затем и “привати-зационных” денег отток “долговых” долларов и резко увеличив свой экспорт, Латинская Америка добилась значительного ускорения темпов экономического роста. Ежегодный прирост ВВП увеличился с +1.3% в 80-е годы — до +3.5% в 1991 — 94 гг. и после заминки 1995 г. (“эффект текилы”) достиг рекордной отметки +5.7% в 1997 г. Годом раньше был восстановлен докризисный душевой показатель.

С другой стороны, резкое сокращение бюджетного дефицита (в нарастающей мере — за

счет приватизаций) позволило справиться с одним из эндемических — и главных — бедствий региона: инфляцией. Региональный показатель ежегодного роста цен (исключая Бразилию) сократился с 49% в 1991 до 22% — в 1992, 19% — в 1993, 16% — в 1994. В 1994 г. инфляция была обуздана в ее эпицентре — Бразилии, и в 1997 общерегиональный индекс инфляции упал до +10.3%.

Укрощение инфляции стало успехом не только экономического, но и социального развития: в Латинской Америке, как нигде, инфляция прописана по конкретному социальному адресу — тех, “чей банк — в кармане”. Именно победа над инфляцией уравнивала (в общественном мнении и избирательных результатах) остальные, негативные результаты неолиберального курса, стала решающим фактором, обеспечившим в 1993-1997 гг. правым поддержку значительной части городских низов (против этатистской, левой и левоцентристской оппозиции).

К достижениям десятилетия можно отнести и ускорение экономической интеграции в регионе...

Вместе с тем, даже на гребне успехов неолиберального реформирования, до вступления (1998 г.) региона в новую полосу трудностей были очевидны, во-первых, противоречивость его результатов, во-вторых, — обратимость многих достижений и, в-третьих, — их ограниченность.

Противоречивость — поскольку речь идет о решении текущих проблем, о конкретике социальной ситуации.

Лишь назовем те негативные явления и процессы, которые накопились за десятилетие.

- Неравномерность в распределении доходов (в Латинской Америке — наибольшая в мире) не уменьшилась; резко возросшая в 80-е годы, она, несмотря на сокращение инфляции, осталась в 90-е на прежнем уровне. В метрополисах региона четко проступила тенденция социальной сегрегации, распада — в том числе пространственного — единого общественного организма.

- В 90-е годы выросла (и больше всего там, где произошли наиболее радикальные реформы) безработица: открытость рынков требует жертв — и от деревни, и, особенно, от города.

- Ухудшилась (сокращение госрасходов!) ситуация со всеми социальными службами — прежде всего в здравоохранении, образовании, пенсионном обеспечении, культуре.

- Продолжалась “информализация (к информации отношения не имеет) труда” — 84% новых рабочих мест в регионе (1990 — 95 гг.) создано в неформальном секторе.

- Продолжала расти уличная и организованная преступность, наркобизнес; коррупция заменила инфляцию в качестве “национальной проблемы №2”.

- При облегчении условий обслуживания внешнего долга общая сумма его продолжает расти, достигнув в 1998 г. 700 млрд. долларов.

- Новым символом бедности, неравенства, общественной дезинтеграции в регионе стало положение детей — детская беспризорность и преступность стремительно растут почти во всех странах Латинской Америки.

Список можно продолжить — без особого напряжения.

“Неравенство и внутренний раскол в латиноамериканских обществах сегодня больше (глубже?), чем когда-либо в прошлом. В меньшинстве стран региона при отступлении бедности продолжает царить несправедливость, в большинстве — число граждан, обреченных на неприемлемые, жалкие (*ingratos*), вызывающие негодование условия существования, растет; и одновременно расширяется та и прежде глубочайшая пропасть, которая отделяет бедных от богатых, деревню от города, черных и смуглых — от белых, женщин — от мужчин, детей — от остального общества. Не растет занятость, сокращаются доходы, а расходы на образование, здравоохранение, строительство жилья и защиту детей все еще ниже уровня, существовавшего до потерянных десятилетий. Нашим неокрепшим демократиям постоянно грозят попытки переворотов, скудость экономических достижений, вполне естественная апатия населения, обессиленного (*agotado*) каждодневной борьбой за выживание. Не успевшие

консолидироваться нации региона испытывают удары не знающей жалости глобализации — подчас фиктивной и раздутой усилиями масс медиа, но всегда ограничивающей хрупкие суверенитеты, с таким трудом выстроенные за последние полтора века...”

В этом отрывке из наиболее известного в регионе политического документа последних лет бросается в глаза не только очевидность параллелей с Россией. И не только констатация изъянов неолиберального процесса. В нем сквозит ощущение обратимости и, главное, сугубой ограниченности позитивных результатов процесса. Суть дела в том, что результатом “десятилетки восстановления” стала не “модернизация — пусть даже с тяжелыми социальными издержками”, а стабилизация; не выход из системного кризиса, а преодоление очередной его “ямы”; “кризиса в кризисе, вызванного кризисом” (глобальным).

Ибо ни одной из тех глубинных проблем, которые лежали в основе начавшегося 70 лет назад регионального кризиса структур, это десятилетие не решило. А та единственная, которая была частично решена в прошлые десятилетия (индустриализация), оказалась вновь в подвешенном и даже инволюционирующем состоянии.

Не решены (по сути — и практически не поставлены) проблемы:

- внутренних источников накопления, финансирования развития;
 - преодоления (смягчения) сверхполяризации доходов (нищеты);
 - преодоления структурной неоднородности (социальной, культурной, пространственной и т. д.) обществ региона;
 - достижения устойчивых темпов развития, необходимых для сокращения безработицы — и “дистанции до Севера”;
 - догоняющего развития образования;
 - использования “окон возможностей”, открытых процессами перехода в центрах системы, для создания предпосылок автономного научно-технологического развития, для интеграции “на равных” в процессы глобального перехода;
 - выравнивания уровней развития (с Севером) или хотя бы прогресса на пути к нему, сужения “дистанции разрыва” — и, соответственно
 - проблема “субъектности” обществ региона;
- и т. д., и т. п.

Иначе говоря, удельный вес элементов, “позитивной модернизации” — в отличие от ставших уже традиционными методов разрушения отживающих свой, “импортозамещающий” век структур — оказался невелик. Или даже (образование) предваряется знаком “-”. Зависимое позднеиндустриальное развитие почти нигде в регионе (в зоне дискуссии — Чили и северное пограничье Мексики) не переходит в органическое постиндустриальное — пусть даже имитирующее — развитие. Историческая дистанция, “разрыв” между Латинской Америкой — и регионами Севера (да и “тиграми первого поколения”), зависимость ее развития возросли — и пока продолжают нарастать. Надежды на догоняющее использование фазы перехода (в центре) не сбылись и уже не сбудутся в ближайшие десятилетия.

Через средостения и бреши между различными кризисными и трансформационными процессами, между стабилизацией и постиндустриальной модернизацией, между новой силой рынка и неизжитой слабостью гражданского общества быстро проникают лишь издержки начинающегося перехода. Идущие от глобализации (изобилия спекулятивных краткосрочных вложений, привлеченных высотой учетных ставок, нацеленных на “выкачку” финансовых и иных ресурсов принимающих стран — и действующих по незабвенному принципу кторовского героя). От неолиберальной “дезэтизации” (сокращение социальных гарантий, инволюционные тенденции на рынке труда; ослабление институтов и сфер действия гражданского общества, пока что отступающих вместе с государством, а не заступающих на его место). От неолиберальных, правых тенденций “микрорелектронной модели” — к тенденциям дезинтеграции национального общества и социального апартеида, инволюции демократических институтов (и культуры).

Первой жертвой совокупного воздействия смены ТЭП, глобализации,

“безальтернативности” стал, как уже говорилось, “средний класс” (третьей четверти века, этатизированной экономики). Но угроза этому классу — и интеграции общества в целом — связана не только с издержками глобализации и переходов (стабилизационного и — эвентуально — модернизационного). Она идет и от перспективы успешного утверждения новой модели, если нынешние (неолиберальные) тенденции перехода останутся доминирующими и, особенно, “монополизи-рующими” и на последующих фазах развития.

Дело в том, что при прежней ТЭП и в центре, и на периферии в эпохи массового производства и импортозамещающей индустриализации “хозяева жизни” были в конечном счете кровно заинтересованы в массовости, расширении, а в центре системы — и в сравнительной однородности рынка большинства. При новой — гибкой, сегментированной, глобализованной — это не является императивом. “Можно так, но можно и иначе” (Р. Дарендорф). Что и порождает тенденцию, воплощающуюся в новом экономическом пространстве — с “карманами” (и “мешками”) производства и рынков позавчерашнего дня (особенно на глубокой периферии); с преобладающими зонами дня вчерашнего (индустриального, slow track капитализма) и с зонами (или анклавами) “сегодняшнего” (завтрашнего?) производства и общества, объединенными в глобальном масштабе. Происходит выделение “новых верхов”, проживающих в особых кварталах и зонах — с полным жизнеобеспечением, с сегрегированными школами и больницами, с десятками и сотнями тысяч частных охранников и т. д. Рассекая эту границу, отделяющую сугубое меньшинство населения (больше — в центре, меньше — на периферии) от остального общества, вниз, диагонально уходит другая линия, разделяющая все общество на две неравные части, о которых уже говорилось — “fast track” (отсек глобализирующихся услуг и производства) — и “slow track” капитализма (“все остальные”, “национальный трюм”)...

Процессы “неомодернизации в нищете” (она же — “модернизация прилавков”) порождают еще одну пронизывающую все общество тенденцию, в чем-то противоположную той, о которой шла речь, в чем-то переплетенную и даже совпадающую с ней. Это — нарастание коррупции — наверху и сверху; неорганизованной, уличной преступности — “снизу”, организованной (с наркобизнесом в качестве ядра) — на обоих уровнях. Тенденция эта, ставшая системообразовавшей в нефте- и наркосообществах, представляет собой и инерцию этатизма, и продукт его разложения.

Очевидно, что подобное развитие усиливает тенденцию к выхолащиванию представительной демократии и парализует (в рамках пока еще интегрированного национального общества) развитие “демократии участия”. Демократические институты и тенденции оказываются “демобилизированными”, зажатыми между нищетой (унаследованной от прошлого), атомизацией общества (порождаемой неолиберальным настоящим) и сегментацией, дезинтеграцией общественных структур (проецируемых из “безальтернативного будущего”).

Усиливается и “асимметричность взаимозависимости” региона. Связано это не только с глобализационной фазой мироинтеграционного развития (пришедшей на смену транснационализации 50 — 70-х годов). Но и с новой информационно-интенсивной парадигмой развития, с наибольшей (по сравнению с промышленностью и даже финансовым капиталом) концентрацией именно знаний, научного и информационного потенциала в странах Севера. С исчезновением большинства факторов, воздействовавших на систему “извне” (начиная с биполярности мира недавнего прошлого — военной, идейно-политической и в известной мере экономической). И со спецификой едва ли не главного инструмента стабилизации — “горячих”, спекулятивных инвестиций Севера.

Все это — противоречивость и ограниченность результатов стабилизации, полярность ее долгосрочных тенденций, ее зависимый характер — неразрывно связано еще с одним ее изъяном: неустойчивостью процесса, обратимостью его результатов. “Путь, полный ловушек”; “уязвимый рост” — так характеризовалась (в документах ООН) экономическая ситуация в регионе еще до финансовых потрясений середины и конца десятилетия, подтвердивших правильность этих характеристик.

В целом уже сейчас можно сказать, что в Латинской Америке “вторая модернизация” оказалась процессом гораздо более противоречивым, дезинтегрирующим, исключаящим (во “внутрь” и во вне), чем “индустриальная модернизация” середины века.

Возможно, что последние два года века, учет уроков финансовых кризисов обозначат какие-то новые тенденции процесса, частичную его государственническую (и социальную) коррекцию. Но не меньше вероятность того, что накопившийся потенциал противоречий образует с проекцией этих кризисов такую смесь, в которой даже стабилизационные процессы увязнут на годы.

А тем временем тот же финансовый кризис (верный спутник всех кризисных фаз системного цикла) поразил все три основных ареала “восходящих рынков” (полупериферии). И показал, что структурная неустойчивость не является монополией Латинской Америки.

...В 70 странах “третьего мира” жизненный уровень населения остается более низким, чем 30 лет назад. А 1998 г. уже объявлен худшим годом для развивающихся и “постсоциалистических” стран после 1982 г. Хотя и лучшим, — во всяком случае для Латинской Америки — чем нынешний 1999. Не намного радужнее перспективы на “сам” 2000 год.

До “upswing’a” еще не близко. Периферия все еще блуждает в джунглях “перехода” или барахтается в топи его кризисной фазы. Нерешенной остается и ключевая проблема: чего хочет Север? Поскольку неясно, куда идет он сам. Неясность, подчеркнутая, а быть может, и усиленная войной на Балканах (появление аналога нацистского варианта 1930—40-х годов?).

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭПОХА

Ч

то происходит со странами Латинской Америки в процессе глобальных переходов к постиндустриальной эпохе? Как отреагировали эти страны на то, что в центре мировой экономики уровень жизни, производство товаров и услуг всё больше зависят от накопленных научных знаний, образования населения и потоков информации? Какие перспективы открываются перед латиноамериканскими странами в начале XXI века? Попытка ответить на эти вопросы предпринимается в данной статье. Основное внимание уделено наиболее крупным и развитым странам Латинской Америки — Бразилии, Аргентине, Мексике и Чили. При этом в статье рассматриваются преимущественно социально-экономические аспекты постиндустриализации; социокультурные и политические стороны латиноамериканской действительности затрагиваются в меньшей мере, хотя они и не игнорируются полностью, поскольку играют большую роль в процессе становления постиндустриального мира.

1. "Слабое звено" мирового индустриализма?

Не секрет, что в России до сих пор распространено пренебрежительное представление о латиноамериканском капитализме как о зависимом от других стран, слаборазвитом капитализме, порождающем отсталость и вопиющую социальную пропасть между горсткой богатеев и массой бедняков.

Конечно, по многим параметрам капитализм в Латинской Америке уступает обществам с рыночной экономикой в Западной Европе и Северной Америке. Тем не менее этот капитализм сумел, хотя и с помощью государства, провести индустриализацию, освоил производство конкурентоспособных промышленных товаров, воспринял некоторые научно-технологические достижения. В период с 1955 по 1975 г. индустриальное производство в Латинской Америке возрастало в среднем на 6,9% в год, тогда как в США оно увеличивалось в среднем лишь на 2,8%, в странах Западной Европы — на 4,8%. Континентальный рекорд по темпам промышленного развития долгое время удерживала Бразилия. Там индустриальное производство увеличивалось в среднем на 8,5% в год в течение почти трёх десятилетий, с 1950 по 1978 год. В результате такого роста к середине 70-х годов уходящего века Латинская Америка стала континентом, где сложились современные отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка, химическая, нефтехимическая, автомобильная и электротехническая промышленность. Но именно достижения Латинской Америки в области индустриализации во многом обусловили глубокий социально-экономический кризис, который она пережила в 80-е годы.

Форсированная индустриализация в Латинской Америке — это импортзамещающая индустриализация, проводившаяся при активной роли государства. Государство создавало целые отрасли промышленности (энергетика, добыча и переработка нефти, транспорт, машиностроение), ограждало внутренний рынок от конкуренции иностранных товаров с помощью протекционистских мер, регулировало трудовые отношения, вводило социальное страхование, развивало массовое образование. Правда, при этом в большинстве стран региона оставались практически нетронутыми архаичная структура аграрного производства и общественные отношения в деревне (латифундии и масса безземельных крестьян-батраков), которая поставляла дешёвую рабочую силу в города. Быстрый рост индустрии в Латинской Америке был главным образом экстенсивным, т.е. шёл за счет вовлечения новых сырьевых и трудовых ресурсов, а производительность труда и капитала возрастала значительно более низкими темпами, чем объёмы производства.

Правда, в конце 60-х годов Бразилия при военном режиме, а в 70-80-е годы и некоторые другие страны Латинской Америки предприняли попытку, в том числе с помощью иностранных займов и инвестиций, повысить эффективность экономики и освоить некоторые направления высокотехнологичного производства. В частности, в Бразилии увеличивалось число научных институтов и центров, которые занимались технологическими разработками, подготовкой кадров специалистов. Появились и органы управления, которые должны были содействовать развитию науки и новых технологий в стране. Частным фирмам предоставлялись налоговые льготы, субсидии и кредиты с целью стимулировать инновации. Благодаря политике государства в стране удалось создать основы аэрокосмической индустрии и ядерную энергетику, наладить выпуск электронно-вычислительной техники.

История бразильских ЭВМ заслуживает особого внимания в контексте тех проблем, о которых идёт речь в статье.

Первый в Бразилии компьютер, выпущенный филиалом ИБМ, был установлен в 1960 г. в Католическом университете Рио-де-Жанейро. В 1970 г. в стране насчитывалось 506 компьютеров, а через 5 лет их было уже 3843. В 1972 г. при Министерстве планирования и координации была организована Комиссия по деятельности в области электроники (КАПРЭ). Одним из важнейших результатов ее работы и явилось в 1974 г. начало производства собственных ЭВМ в Бразилии на предприятии “Кобра”. Весьма показательно, что в 1979 г., всего через три года после появления первого персонального компьютера “Эппл” Джобса и Возняка в США, бразильские ученые-инженеры Э.Френьи и Й.Манастерски из университета штата Сан-Паулу создали первую бразильскую “персоналку”. Тогда же вместо КАПРЭ под эгидой могущественного Совета по национальной безопасности появился новый орган – СЭИ (Секретариат по электронике и информатике) с более широкими полномочиями, чем его предшественница. Он должен был контролировать импорт, выдавать разрешения местным производителям выпускать электронную технику, регулировать закупки электронной техники государственными предприятиями и учреждениями. Усилия СЭИ не пропали даром. По темпам внедрения электронной техники и информатизации Бразилия в начале 80-х годов не уступала многим развитым странам Западной Европы, в ней было сосредоточено более половины парка компьютеров всей Латинской Америки. Наконец, в 1984 г., перед самым уходом военных с политической сцены, в Бразилии был принят Закон об информатике, призванный способствовать переходу страны к информационной стадии развития.

Однако, несмотря на достижения в области науки и новых технологий, ни Бразилия, ни другие страны Латинской Америки не смогли переступить барьер предыдущего, первого этапа НТР — научно-индустриальной революции. Там так и не произошла “революция управляющих”, не была проведена массовая рационализация труда и промышленного производства. Мало помогали модернизации производства и налоговые льготы. Основная масса фирм и предприятий не спешила осваивать новые технологии. Если эти технологии и использовались, то главным образом крупными государственными компаниями и ТНК. Причиной такого положения дел был сам подход государства к проблемам инноваций и управления производством. По существу в Бразилии, как и в других странах Латинской Америки, на практике осуществлялась технократическая идея о том, что научно-технические успехи экономики зависят в первую очередь от масштабов развития науки, технологических разработок и подготовки специалистов. Ориентация бразильских правящих кругов на рост потребления главным образом верхних слоев населения не способствовала ликвидации массовой бедности. Дешёвая рабочая сила имела в избытке, и часто было выгоднее нанимать её, чем внедрять научно-технические достижения. Это снижало эффективность усилий военно-бюрократической элиты по модернизации страны.

Между тем с конца 60-х годов в Латинской Америке заметно увеличиваются заимствования капиталов на рынках развитых стран — в основном под ожидаемые успехи продолжавшейся импортзамещающей индустриализации. Возрастает и приток прямых иностранных инвестиций. Ряд государств континента, прежде всего Бразилия, возводят сотрудничество с ТНК в ранг государственной политики, видя в нём важнейший инструмент модернизации технологии и управления. Но в середине 70-х годов из-за резкого подорожания нефтепродуктов у стран Латинской Америки — за исключением экспортирующих нефть Мексики и Венесуэлы — ухудшается платёжный и торговый баланс. Ответом на эту проблему становятся попытки увеличить экспорт. С целью расширить производство товаров на экспорт и продолжить замещение импорта продукцией собственного производства страны Латинской Америки прибегают к новым заимствованиям. При этом далеко не всегда полученные кредиты использовались рационально. Немало их было потрачено на осуществление дорогостоящих амбициозных проектов и попросту разворовано нечестными на руку чиновниками. Между тем уже в начале 80-х годов Латинская Америка попадает под двойной удар, непосредственно связанный с информатизацией и микроэлектронной революцией.

Во-первых, микроэлектронная революция в развитых странах Запада и в Японии способствовала внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий, что уменьшило предельные и средние издержки производства многих товаров, снизило цены. Например, средние издержки производства 1 фунта меди в США с 1982 по 1989 год сократились с 85 до 50 центов. В течение 80-х годов экспорт из стран Латинской Америки увеличился в натуральном выражении на 60%, а в денежном — из-за снижения цен — лишь на 24%. А ведь нужно учесть и возросшую благодаря микропроцессорной технике гибкость производства в развитых странах.

Использование её достижений позволило реагировать чуть ли не на индивидуальные запросы потребителей, причём без увеличения издержек! Кроме того, примерно в то же время заявили о себе на мировых рынках азиатские “тигры”. Перед Латинской Америкой открылась тревожная перспектива потерять конкурентоспособность по тем товарам, которые она ранее сумела продвинуть на мировые рынки — от сырья и полуфабрикатов до продукции химической промышленности и машиностроения.

Во-вторых, на мировых финансовых рынках произошло “удорожание денег”. Увеличились процентные ставки в США, а потом и в других странах Центра. Это было сделано, как известно, с целью упорядочить финансы и подавить инфляцию, рационализировать государство благосостояния и сконцентрировать ресурсы для перестройки экономики в соответствии с новым, информационным, технологическим укладом. Свободные, прежде всего “горячие”, капиталы стали утекать из Латинской Америки, а по кредитам нужно было платить повышенные проценты. Таким образом, из-за падения своей конкурентоспособности и “удорожания денег” на мировых рынках капиталов Латинская Америка в начале 80-х годов, точнее, в 1982 г., вступила в кризис внешней задолженности. Увеличение латиноамериканского экспорта перекрывалось величиной процентов, которые нужно было выплачивать по старым и новым долгам. Выплата процентов усугубляла дефицит бюджета. В сочетании со структурными диспропорциями экономики, инерцией популизма и неэффективностью государства это порождало жестокую инфляцию. При этом общей тенденцией экономики Латинской Америки стало падение ВВП на душу населения, а в некоторых странах — и в абсолютном объёме. Недаром 80-е годы в социально-экономическом отношении были названы “потерянным десятилетием” для Латинской Америки. Такое определение как нельзя лучше подходит и к той ситуации, которая сложилась в сфере научных исследований и технологических разработок.

В Бразилии в условиях затяжного кризиса нарушилось согласие между различными группировками элиты по поводу стратегии развития страны. Это отразилось на судьбе электронной промышленности и информатизации в стране. Так, политические деятели и чиновники, связанные с филиалами ТНК, предприниматели, получавшие товары или комплектующие электронной техники по импорту, противодействовали развитию информатики и микроэлектроники в Бразилии. Не обошлось и без давления со стороны Соединённых Штатов, обеспокоенных ростом южного конкурента на рынке электронной техники и программного обеспечения. В 1985 г. в США решили расследовать, не проводит ли Бразилия политику демпинга на их рынке ЭВМ и программного продукта, не следует ли предпринять “меры” в отношении её товаров. Это вызвало беспокойство среди бразильских экспортёров апельсинового сока, которые пытались заставить правительство пойти на уступки Соединённым Штатам в отношении рынка компьютеров. В результате в 1987 г. Конгресс Бразилии, принимая законопроект о программном обеспечении, фактически облегчил США доступ на свой рынок программ. Примерно в это же время начала снижаться и конкурентоспособность бразильских ЭВМ и программного обеспечения, усилилась конкуренция со стороны производителей электронной техники из Восточной Азии. Фактически к концу 80-х годов национальные производители электронной техники и программного обеспечения оказались в крайне сложном положении, а государственная политика Бразилии в области информатики по существу была свёрнута.

Ещё более печальной оказалась судьба электронной промышленности и информатики в Аргентине. Экономическая политика военной хунты, совершившей переворот в марте 1976 г., привела к либерализации финансов и устранению барьеров перед импортом. В результате страна потеряла конкурентоспособность по многим товарам с высокой добавленной стоимостью. Одновременно в Аргентине ухудшалось качество человеческого капитала. Доля заработной платы в валовом внутреннем продукте Аргентины упала с 45% в 1974 г. до 28% в 1989 году. В таких условиях технический прогресс и инновации были сведены к минимуму. Возникшие незадолго до этого очаги высокотехнологичного производства ликвидировались. С 1974 по 1983 год производство компонентов электронной техники в Аргентине упало на 91%, т.е. практически исчезло в стране. Количество инженеров в электронной промышленности с 1978 по 1983 год сократилось на 49%. К 1983 году, когда военные были вынуждены оставить власть, единственным крупным производителем электроники в Аргентине оставалась компания “ИБМ Аргентина”, фактически работавшая вместе с небольшими фирмами-субподрядчиками на свою материнскую компанию в США в рамках внутрифирменных поставок. Созданная в 1984 г. Национальная комиссия по информатике,

которой надлежало выработать политику по развитию электроники и информатики, не справилась с возложенными на неё задачами. Не хватало необходимых ресурсов для НИОКР и подходящих кадров специалистов. Крупные аргентинские фирмы попросту не считали нужным использовать достижения электроники и информатики, что объективно ограничивало возможности расширения рынка ЭВМ и информационных технологий внутри страны.

Положение в области электроники и информатики, научно-технических разработок в целом усугублялось общей социально-экономической ситуацией на континенте. Отчаянные попытки стабилизировать экономику и подавить разрушительную инфляцию, которые предпринимали правительства латиноамериканских стран, невольно отодвигали в сторону какие-либо планы развития в соответствии с императивами постиндустриализации. Достаточно сказать, что в течение 80-х – начала 90-х гг. в одной только Аргентине военные и гражданские правительства опробовали 12 планов по стабилизации экономики и финансов. Несколько планов было разработано и осуществлено в Бразилии. Но все они ограничивались в основном сферой денежного обращения, не затрагивали отраслевую и институциональную структуру экономики, те механизмы, которые регулируют её. Система государственного патернализма и утративший эффективность госсектор промышленности оставались в целом нетронутыми, поэтому стабилизационные программы давали лишь краткосрочный эффект. После некоторого улучшения ситуации происходил срыв, начинался новый виток дестабилизации.

Правда, 80-е годы, оказавшись потерянными десятилетием с точки зрения технологического и социально-экономического развития, ознаменовались консолидацией гражданского общества и политической либерализацией почти во всех странах континента. Эти процессы представляли собой реакцию на неспособность авторитарных режимов, особенно в странах Южного конуса, решить основные социально-экономические проблемы своих стран, а также (прежде всего в Чили и Аргентине) явились результатом протеста против репрессий и ограничений основных свобод, вызывавших ненависть к диктатурам. И хотя политическая либерализация сама по себе не позволила Латинской Америке справиться с кризисом, она открыла путь к решению проблем континента. Другое дело, каким оказалось это решение.

2. Неолиберальные преобразования

Глубокий социально-экономический кризис, в конце концов, потребовал устранить его главную причину — латиноамериканский этатизм и политику импортзамещающей индустриализации. Непосредственной реакцией части элит в латиноамериканских странах на этот кризис явился переход к неолиберализму.

Первыми странами в Латинской Америке, где ещё в 70-е годы начала осуществляться неолиберальная социально-экономическая политика, стали Чили и Уругвай после переворотов 1973 г. За ними последовала Аргентина после переворота 1976 г., хотя там неолиберализм распространялся в основном на сферу торговли и финансов. В конце 80-х — начале 90-х годов практически везде в Латинской Америке, хотя и с разной скоростью, начался переход к неолиберальной экономической политике. Интересно, что, например, в Аргентине проводить неолиберальный курс взялось руководство Хустисиалистской (перонистской) партии, которая раньше проводила популистскую политику и старалась ограничить действие рыночных механизмов. Подобную метаморфозу пережили и некоторые другие популистские партии и деятели в Латинской Америке, например, боливийский президент Виктор Пас Эстенсоро или Институционально-революционная партия в Мексике.

Наступление и распространение неолиберализма на латиноамериканском континенте нужно рассматривать в контексте тех перемен, которые произошли на рубеже 70 — 80-х годов в развитых странах Запада и в Японии. Пример развитых стран создал видимость того, что неолиберальные экономические принципы более эффективны, чем этатистские. На первый взгляд это подтверждалось и успешным опытом Чили во второй половине 80-х годов. Возникло вполне понятное желание распространить неолиберализм на всю Латинскую Америку в надежде на скорый успех.

Однако существовали ли в Латинской Америке те же социальные условия, которые породили

“рыночный ренессанс” в развитых странах Запада в 80-е годы? Последний, на наш взгляд, был обусловлен стечением трёх обстоятельств: огромным накоплением человеческого капитала в предшествующий период, процессами глобализации в мировой экономике и быстрым ростом кредитно-финансовой сферы.

Накопление человеческого капитала — освоение научных знаний, ценностей культуры и профессиональных навыков, которое совершалось во многом благодаря кейнсианской экономике и государству благосостояния, — открыло для многих людей, в том числе и наемных работников, широкие возможности стать самостоятельными предпринимателями, продвинуться вверх по социальной лестнице. С этим же были связаны и начало информатизации, и бурный рост небольших, но мобильных фирм в высокотехнологичных отраслях экономики. Они не нуждались в государственной опеке, были заинтересованы в “экономике предложения”, снижении налогов и сокращении государства благосостояния. Так что идеология и практика неоллиберализма вполне соответствовали интересам и настроениям тех, кто явился субъектом нового этапа НТР – информационной революции.

Неоллиберализм, провозглашая универсальность рыночных законов, легко объясняет и снижение роли национального государства в результате глобализации. Когда производственно-технологические цепочки включают в себя предприятия, расположенные во многих странах, государство действительно не может эффективно контролировать процессы в экономике, социальной сфере, финансах, поскольку они лежат за пределами его прерогатив. Ссылки на “невидимую руку” рынка внешне оправдывают отказ государства от вмешательства в экономику во имя “глобальности”.

Неоллиберализму созвучно и бурное развитие кредитно-финансовой сферы, которое опирается на достижения информатизации (см. статьи А.И.Неклессы и А.Г.Макушкина в сборнике 1). Ежедневно в мире по глобальным информационным сетям снуют триллионы долларов в день, которые ищут наиболее выгодного приложения. Объёмы этих потоков растут значительно быстрее, чем ВВП разных стран, инвестиции и обороты международной торговли. Хозяева невидимых денег, участники транзакционных сделок, как никто другой, нуждаются в “свободных рынках”, безграничном расширении поля приложения спекулятивных капиталов. Экономический неоллиберализм для них – новая религия и “руководство к действию”.

Что же касается стран Латинской Америки, то неоллиберальные преобразования там явились следствием сложившихся обстоятельств — кризиса этатизма и внешней задолженности. В середине 1989 г. при активном участии США и МВФ был принят “план Брейди” (министра финансов США) с целью добиться финансовой стабилизации на континенте и решить проблему долгов. В соответствии с этим планом краткосрочные долговые обязательства латиноамериканских стран были переведены в долгосрочные. Кроме того, предлагалось обменять долговые обязательства на акции государственных предприятий, которые, следовательно, подлежали приватизации. Так, по существу, был дан толчок неоллиберальным реформам в Латинской Америке.

В то же время нельзя утверждать, что Латинская Америка к концу 80-х годов совсем не была готова перейти к неоллиберальной социально-экономической политике. Конечно, самым сильным мотивом для смены модели развития было стремление избавиться от изматывающей и разрушительной инфляции. Но были и другие факторы, которые в социально-психологическом плане облегчили переход к неоллиберализму.

Кризис этатизма развеял надежды многих людей на чью-либо помощь и заставил их рассчитывать только на себя и свои силы. Своеобразный “вклад” в распространение индивидуалистических идей, прежде всего в странах Южного конуса, внесли военные режимы. Провозглашая своей целью модернизацию общества на западный манер, они разрушали систему ценностей, характерную для популистских движений и популистской политики.

Неоллиберальные реформы в Латинской Америке включали в себя: 1) приватизацию большинства госпредприятий, 2) финансовую стабилизацию, 3) налоговую реформу, 4) реформу банков и установление положительной ставки процента (т.е. более высокой, чем темп

инфляции), 5) либерализацию финансовых рынков, отказ от регулирования рынков капитала и рабочей силы, 6) либерализацию внутренней и внешней торговли, 7) устранение препятствий для иностранных капиталовложений, 8) законодательную защиту прав собственности, 9) структурную перестройку экономики в соответствии с новым международным разделением труда, сложившимся в 80-90-е гг. Причём приватизация госсектора экономики и разрушение системы этатизма — будь то устранение протекционистских барьеров или резкое сокращение государственных льгот и дотаций частным предприятиям — стали ключевым моментом неолиберальных реформ в Латинской Америке.

“История латиноамериканской приватизации” начинается в Чили, где передача государственных предприятий в частные руки началась вскоре после переворота 1973 года. Однако никакой спешки в этом деле не наблюдалось. Приватизации предшествовало преобразование того или иного государственного предприятия в акционерное общество, а сама она нередко растягивалась на несколько лет и осуществлялась путём продажи акций на торгах. Во время экономического кризиса 1981-1983 гг. правительство вновь национализировало ряд частных предприятий и банков, оказавшихся на грани банкротства. Фактически это был способ передать их впоследствии более умелым хозяевам.

Гражданское правительство, сменившее хунту Пиночета, внесло некоторые изменения в политику приватизации, решив передавать в частный сектор только мелкие и средние госпредприятия, а также небольшие пакеты акций крупных компаний. Тем не менее за последние годы в частные руки перешли авиакомпания “ЛАН-Чиле”, часть акций электроэнергетических и транспортных компаний, национального радио.

В Мексике приватизация тоже растянулась на годы, начавшись ещё в 1982 г. при президенте Мигеле де ла Мадриде с мелких и средних предприятий легкой, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности. Позже приватизация распространилась на предприятия машиностроения и нефтехимии, добычу и переработку минерального сырья. Акции крупных предприятий, особенно в машиностроении, передавались новым владельцам по частям. Только в 1989 г. правительство приступило к полной приватизации крупных предприятий в промышленности и сфере услуг, кредитных учреждений и страховых компаний, части транспортной сети. Причём до сих пор в государственном секторе сохраняется ряд прибыльных предприятий, включая нефтедобывающую компанию “Пемекс”.

В Бразилии приватизация началась в конце 80-х гг. Темпы ее ускорились с начала 90-х при президенте Фернанду Коллоре. После его отставки по обвинению в коррупции президент Итомар Франку ужесточил финансовый контроль над передачей госпредприятий частным хозяевам, стимулируя в то же время распыление акций среди возможно большего числа собственников. Одновременно иностранные инвесторы получили право приобретать 100% акций приватизируемых компаний. При нынешнем президенте Фернанду Энрике Кардозу была отменена государственная монополия на добычу и переработку нефти, центральное газоснабжение, телекоммуникации и каботажные перевозки. Частным инвесторам разрешено приобретать предприятия по распределению электроэнергии и финансовые компании. В 1995 г. началась приватизация предприятий нефтехимии. Сейчас приватизируются компании, занятые производством электроэнергии, особенно в индустриально развитых южных штатах страны. Характерно, что в Бразилии первоочередной приватизации подлежали убыточные и малоэффективные госпредприятия, и только потом приватизация распространилась на компании, работавшие с прибылью. В последнее время большую роль в ходе бразильской приватизации стали играть власти штатов, особенно таких мощных в экономическом отношении, как Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Минас-Жерайс, Риу-Гранде-ду-Сул. По закону 1995 г. местные власти получили право передавать в частные концессии предприятия общественного обслуживания. Так, в штате Рио-де-Жанейро несколько десятков автострад и мостов переданы частным лицам.

Поистине ударными (“чубайсовскими”) темпами проводилась приватизация в Аргентине правительством президента Карлоса Менема. В 1990 г. были предоставлены концессии на деятельность в сфере транспорта и нефтедобычи, проданы первые пакеты акций компаний

ЭНТЕЛ (телефонная связь) и “Аэролинеас архентинас”. В течение 1992 г. были проданы сталелитейные предприятия, компании по электро- и водоснабжению, компания по добыче газа (“Гас дель Эстадо”), железные дороги и даже метрополитен в Буэнос-Айресе. В 1994 г. завершилась приватизация нефтяной промышленности и большинства предприятий по выработке и распределению электроэнергии. Со временем частных хозяев обрели даже почтовая служба, зоопарки и кладбища. Близится к завершению приватизация аэропортов, монетного двора и атомных электростанций. Резервы для дальнейшей приватизации сохранялись только в провинциях, где было намечено передать частным владельцам местные банки, системы водо- и электроснабжения.

Первоначально ни в одной из тех стран, о которых идет речь (за исключением Чили), правительства не разрабатывали заранее способы и механизмы приватизации. Неудивительно, что первое время она сопровождалась злоупотреблениями, особенно в Аргентине и Мексике, вызывая скандалы и критику властей. Однако, как показал опыт той же Аргентины, наибольший эффект достигался в результате не “обвальная” приватизации, а тщательной и порой длительной (2-3 года) подготовки предприятия к торгам. Такая подготовка состояла в изменении организационной структуры компании, предварительном преобразовании ее в акционерное общество, разработке планов реконструкции, маркетинговых исследованиях по продукции предприятия, смене управляющих и т.д.

Приватизация в Латинской Америке была неразрывно связана с подавлением инфляции и сокращением бюджетного дефицита.

Расходы бюджета сокращались благодаря реорганизации госаппарата и уменьшению числа чиновников, ликвидации льгот и дотаций государственным и многим частным предприятиям, реструктуризации внешней задолженности, в том числе путём продажи акций внешним кредиторам. Увеличение доходов было достигнуто за счет продажи госпредприятий в частные руки и повышения сбора налогов. Во всех странах Латинской Америки были проведены налоговые реформы, ужесточен контроль за уплатой налогов. Уклонение от неё карается огромными штрафами и тюремным заключением. В то же время число налогов, как и само налоговое бремя, уменьшилось. Налоговая система стала проще. Так, реформа в Аргентине установила четыре вида налогов: 1) налог на добавленную стоимость (18% в целом, хотя в случае отпуска газа, электроэнергии, воды для нежилых помещений его ставка составила 25%; 2) подоходный налог для корпораций и подоходный налог для физических лиц, включая налог на доходы от банковских вкладов и ценных бумаг; 3) импортный тариф (20% на предметы личного потребления, 10% — на товары, предназначенные для промежуточного потребления); 4) акцизы на табак, спиртные напитки и топливо. Практически ликвидированы налоги на экспорт, а импортные тарифы сохраняются временно, чтобы дать возможность местным предпринимателям и иностранным инвесторам модернизировать производство и повысить конкурентоспособность аргентинских товаров. Аналогичную роль призваны сыграть и импортные тарифы в Бразилии; предполагается отменить их в 2001-2002 годах.

Меры по оздоровлению финансов и налоговые реформы сопровождались реформами банковской системы, в частности преобразованиями центральных банков рассматриваемых стран. Так, в Аргентине и Бразилии центральные банки обеспечивают стабильность национальных валют, песо и реала, активами и золотовалютными резервами. Это позволяет поддерживать конвертируемость национальных валют по отношению к доллару. В частности, в Аргентине 1 песо равняется 1 доллару США уже на протяжении 7 лет. В Бразилии курс реала оставался стабильным до второй половины 1997 года, когда из-за финансового кризиса и массового бегства “горячих капиталов” из страны курс реала снизился. Следующее его снижение произошло в конце 1998 года. Это, однако, не привело к серьезному усилению инфляции. В целом финансовая система Бразилии остается стабильной, а в первой половине 1999 г. курс реала даже немного вырос (примерно до 1,7 за 1 доллар, хотя и не достиг прежнего соотношения, когда 1 доллар оценивался в 1,2 реала).

Что же принесли странам Латинской Америки неолиберальные реформы в экономическом плане?

После “потерянного десятилетия” в Латинской Америке начался рост ВВП и промышленного производства. В 90-е годы начали возрастать доходы на душу населения, в том числе и у самых бедных слоев общества. Увеличился объём внешней торговли. Инфляция, которая буквально бушевала на континенте с небольшими перерывами в течение десятилетий, сведена к минимальной величине. После оттока капиталов, который наблюдался в 80-е годы, на континент вновь пошли иностранные инвестиции, прямые и портфельные. По темпам экономического роста на протяжении 90-х годов развитые страны Латинской Америки (см. таблицу 1) лишь немного уступали Китаю, Индии и новым индустриальным странам Восточной и Юго-Восточной Азии (до финансового кризиса 1997 г.).

Таблица 1 Темпы прироста ВВП (%% к предыдущему году) в ряде стран Латинской Америки в 1991-1998 гг.

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Страна								
Аргентина	10,5	10,3	6,3	8,5	-4,6	4,3	8,4	4,0
Бразилия	—	-0,9	4,6	6,1	4,1	2,9	3,1	0,5
Мексика	4,2	3,6	2,0	4,5	-6,2	5,1	7,1	4,8
Чили	7,3	10,7	6,6	4,2	8,5	7,2	7,1	3,4

Рассчитано за 1991-1996 г. (по Бразилии за 1991-1995 гг.) по: International Financial Statistics. Washington: IMF, 1997, September, pp.104, 172, 206, 484; Источники данных за 1996-1998 гг.: — Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Indicadores Macroeconómicos Seleccionados (<http://www.mecon.ar/informe/informe27.actividad.htm>); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (<http://www.ibge.gov.br/informacoes/estatmain.htm>); Banco de México y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Principales Indicadores Económicos (<http://www.quicklink.com.mexico/tablaec/tabpri99.htm>); Banco Central de Chile. Indicadores Económicos (<http://www.bcentral.cl/indicadores/PIB/pib.htm>).

Вместе с тем следует отметить, что в 90-е годы в Латинской Америке не было ни одного государственного переворота (исключение — Гаити и бескровный разгон коррумпированного парламента в Перу президентом Альберто Фухимори, а также неудачные попытки переворотов в Венесуэле и Парагвае). Смена власти в странах континента происходила мирным путем, через демократические выборы. Даже скандальная отставка Фернанду Коллора в Бразилии прошла в рамках законности. Традиционно сильная в Латинской Америке власть президентов уравновешена прерогативами судебной и законодательной власти. Повышается роль исполнительных и законодательных органов власти на уровне штатов (Мексика, Бразилия) и провинций (Аргентина). Весьма многозначительным событием в жизни Мексики и всей Латинской Америки стало избрание на пост алькальда (мэра) Мехико представителя левоцентристской Партии демократической революции Куаутемока Карденаса, сына мексиканского президента времен популизма Лазаро Карденаса. Тем самым была нарушена многолетняя монополия на власть Институционально-революционной партии и подорваны устои авторитарного режима гражданской бюрократии, причем в самом сердце страны.

Таким образом, налицо очевидные достижения и политической, и экономической либерализации в Латинской Америке за последние десять лет. Латинская Америка, безусловно, продвинулась вперед за эти годы. Но за этими достижениями стоят и новые проблемы, которые ждут своего решения.

Например, достижения Чили в социально-экономическом развитии конца 80-х — 90-х годов часто связываются с курсом военной хунты Пиночета. Но при этом игнорируются два обстоятельства: во-первых, тот факт, что в результате кризиса 1981-1983 гг. хунта была вынуждена прибегнуть к активному регулированию рынка, стимулируя государственными капиталовложениями структурную перестройку экономики. Во-вторых, неолиберальная экономическая политика в Чили начиналась раньше, чем в других латиноамериканских странах, ещё в индустриальную эпоху, и сопровождалась преобразованиями на уровне

предприятий и отраслей, что во многом и обусловило успех чилийской экономической модернизации.

Либерализация внешней торговли в Чили заставила чилийских предпринимателей снижать издержки производства, чтобы устоять перед конкуренцией со стороны дешёвых и качественных импортных товаров. Снижение издержек обеспечивалось за счет рационального использования материальных ресурсов, сокращения заработной платы и интенсификации труда. Одновременно отсекались лишние звенья производственно-технологических цепочек. Часть вспомогательных производств и цехов крупных предприятий превратилась в самостоятельные фирмы, связанные с прежними хозяевами субподрядными отношениями. Эти фирмы также были вынуждены рационализировать управление и производство, подстраиваясь под интересы своих мощных клиентов.

Рационализация труда и управления на уровне предприятий, причём на первых порах без существенных перемен в оборудовании, позволила Чили частично компенсировать технологическое отставание от других стран и сделать ряд товаров конкурентоспособными на мировых рынках. Это было достигнуто при низкой норме накопления – в среднем 15-16% ВВП на протяжении 70-80-х гг.!

В условиях экономической политики хунты в Чили сформировался новый тип предпринимателя – мобильного, агрессивного, готового к быстрым перестройкам своего предприятия и колебаниям конъюнктуры. Но одновременно – благодаря рационализации труда и необходимости быстро менять профессии в условиях массовой безработицы – сложился и новый тип работника, обладающего *сложной рабочей силой*. Фактически Чили, в отличие от других стран Латинской Америки, удалось решить проблему модернизации управления предприятиями и формирования нового качества рабочей силы.

Вместе с тем результатом чилийской модернизации, проведённой военным режимом, стали далеко не самые прогрессивные структурные изменения в экономике. Да, в Чили очень быстро – в основном за счет иностранных инвестиций — росли сектора услуг (особенно банковских) и телекоммуникаций, успешно развивались химическая промышленность, деревообработка, производство бумаги и полиграфической продукции, продвинулись вперед сельское хозяйство и пищевая промышленность, углубляется переработка меднорудного сырья. Однако, в отличие от стран Восточной и Юго-Восточной Азии, которые провели *модернизацию на опережение* и освоили наукоемкие технологии в массовом производстве, Чили в основном модернизировала старые технологические уклады и традиционные для своей экономики отрасли, хотя и использовала при этом достижения микроэлектроники и информатики.

Позже по тому же пути — модернизации и повышения эффективности *старых* отраслей и технологических укладов — стали развиваться и другие страны Латинской Америки. Во многих из них либерализация внешней торговли в большей мере стимулировала рост импорта, особенно технически сложных изделий, нежели увеличение экспорта. В частности, это наблюдалось в Бразилии — стране с мощным научно-технологическим потенциалом. Одна часть бразильских корпораций под давлением международной конкуренции действительно повернулась лицом к технологическим разработкам (например, компания “Пердигао”, занятая переработкой продуктов питания, выпуском и монтажом холодильного оборудования, выпуском мельниц и т.д.). Но другая часть фирм предпочла узкую внутриотраслевую специализацию, выбирая ниши на внешних рынках с продукцией, производство которой опирается на давно известные технологии, экстенсивное использование ресурсов и дешевой рабочей силы, пренебрежительное отношение к окружающей среде. В результате бразильский промышленный капитал уступил часть своих позиций в отраслях средних и высоких технологий (телекоммуникации, производство измерительных приборов, телеметрической аппаратуры и компонентов для электронной техники, машиностроение) иностранным компаниям, а в бразильском экспорте, несмотря на усилия правительства, снизилась доля промышленных товаров глубокой степени переработки. Одно из немногих исключений составляют самолёты для местных и средних линий, которые поставляются в США и Канаду.

В Аргентине и Мексике, как и в Чили, быстро развивались телекоммуникации и

банковско-финансовая деятельность. Эти отрасли и стали в первую очередь объектами для иностранных инвестиций. Так, в Аргентине в телекоммуникации было вложено 18,4% всех иностранных инвестиций, полученных страной в 1997 г, в сферу банков и финансовых услуг — 13,9%. Наряду с телекоммуникациями и банковско-финансовыми услугами в стране успешно развивались также автомобильная промышленность, добыча и переработка нефти и газа, нефтехимия и пищевая промышленность. Но при этом экономический рост и в Аргентине, и в Бразилии в течение 90-х годов носил капиталоемкий характер. Так, с 1991 по 1996 год внутренние инвестиции в основной капитал возросли в Аргентине на 120% (при росте ВВП на 40% и производительности труда — на 55%). Подобная капиталоемкость производства, оправданная в периоды восстановления после глубоких спадов и кризисов, сейчас, через 8 лет после стабилизации, не соответствует тенденциям постиндустриализации — повышению роли сложной рабочей силы и информации, научного знания в производстве. Скорее, она свидетельствует о том, что неолиберальные преобразования не привели к росту эффективности аргентинской экономики — даже несмотря на то, что 65% всей продукции индустрии страны конкурентоспособны на мировом рынке. Ведь эта конкурентоспособность за небольшим исключением (в частности, автомобили, продукция химической промышленности) характерна главным образом для продукции отраслей старых технологических укладов. Примитивизация экспорта и увеличение импорта привели к тому, что у ряда стран Латинской Америки, в том числе Бразилии и Аргентины, сложилось отрицательное сальдо внешней торговли, причём на две этих страны в 1997 г. пришлось более 80% всего внешнеторгового дефицита континента. Увеличивается и их внешний долг (см. таблицу 2).

Таблица 2 Внешний долг крупных стран Латинской Америки (млрд. долл.)

Страна	Внешний долг	
	1991 г.	1998 г.
Аргентина (1)	58,4	118,2
Бразилия	123,8	222,5
Мексика	117,0	158,0
Чили	17,3	30,7
Латинская Америка и страны Карибского бассейна в целом	452,4	697,8

(1) — без краткосрочной задолженности частного сектора

Источник: CEPAL. Balance Preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, Diciembre de 1998. Anexo estadístico. Cuadro A-15: Deuda externa total desembolsada (<http://www.cepal.org/espanol/Publicaciones/bal98/anexoest.pdf>).

По-прежнему, как и в 80-е годы, выплата процентов по долгам требует и дополнительных бюджетных расходов, и новых заимствований, отвлекая ресурсы от нужд развития.

В потоке зарубежных капиталовложений в Латинскую Америку велика доля (около 50%) портфельных вложений — “горячих денег”, которые не спешат создавать новые рабочие места и развивать новые технологии, зато могут уйти за границу при малейших признаках неблагополучия. С этой проблемой в 1994 г. столкнулась Мексика, где отток спекулятивных капиталов опустошил валютные резервы страны и привёл к финансовому кризису с последующей девальвацией песо почти на 70% и экономическим спадом в 1995 году. В том же 1995 году пережила спад производства и Аргентина (на 4,6% ВВП). В Бразилии попытки правительства Кардозу стимулировать иностранные капиталовложения с помощью высокой ставки процента также привели к наплыву не столько прямых инвестиций (хотя и они составляют немалую величину), сколько спекулятивных капиталов. В то же время длительное удержание высокой ставки процента в Бразилии сдерживало экономический рост и усугубляло безработицу. Это вызывало недовольство со стороны и предпринимателей, и профсоюзов, ставило под угрозу согласие в обществе по поводу реформ. Тем не менее угроза финансового кризиса в октябре — ноябре 1997 г. заставила Центральный банк страны вновь повысить ставку до 43% и лишь к середине 1998 г. она вернулась к уровню 20-21%, чтобы затем опять взлететь до небес в связи с потрясениями конца года.

В целом к социально-экономическому развитию латиноамериканских стран можно применить термин “неустойчивая стабилизация”. Вторая половина 1998 и первая половина 1999 года отмечены явным замедлением темпов роста, а кое-где даже абсолютным падением ВВП. Видимо, подходит к концу “чилийское чудо”: в стране все более очевидной становится необходимость смены модели развития. Сильный удар по Чили (а равно и по Перу с Мексикой) нанес азиатский кризис в силу тесных внешнеэкономических связей через Тихий океан. Наконец, наблюдается спад объемов и ВВП в целом, и промышленного производства в особенности в Аргентине. В IV квартале 1998 г. ВВП сократился на 0,5 % по сравнению с IV кварталом 1997 г., а выпуск продукции обрабатывающей промышленности — на 4 %. Начало 1999 года принесло новые тревоги: в I квартале ускорилось падение промышленного производства, в марте оно составило 11,5 % по сравнению с мартом 1998 года. Связан ли такой спад только с ухудшившейся конъюнктурой в Бразилии, как считают официальные круги в стране? Или за ним стоят более глубокие и серьезные причины, прежде всего — исчерпание возможностей неолиберальной модели? Очевидно, однако, что в условиях государственного “невмешательства” в экономику направления и структура капиталовложений, внешней торговли и финансовых потоков во многом зависят не только от внутреннего потенциала каждой страны, но и от экономического поведения предпринимательской элиты, её отношения к объективным процессам. Многие предприниматели в Латинской Америке предпочитают иметь дело с “горячими деньгами” и по-прежнему недооценивают значение технологических новаций, рационального менеджмента и организации производства, стратегических решений в конкурентной борьбе на рынках. У немалой части латиноамериканской бизнес-элиты стремление подражать примеру развитых стран, сыгравшее важную роль в переходе от этатизма к неолиберализму, в основном ограничивается стандартами потребления. “Общественное мнение, выраженное потребителями, хотело Майами, а не Силиконовую долину”, — с иронией заметил один исследователь по поводу настроений, сложившихся в Бразилии под влиянием стандартов потребления 90-х годов. По мнению некоторых аргентинских экономистов, к моменту завершения финансовой стабилизации и начала экономического роста в их стране не было социальных субъектов, заинтересованных придать этому росту долговременный, устойчивый характер.

Пассивная позиция многих бизнесменов в отношении научно-технических разработок неразрывно связана с социальными аспектами неолиберальных преобразований экономики в странах Латинской Америки.

3. Социальные последствия и поиски альтернатив неолиберальной глобализации

Одним из последствий неолиберальных реформ в Латинской Америке стало углубление социальной дифференциации. С одной стороны, в 90-е годы заметно обогатилась верхушка общества. Обогащение достигалось в основном благодаря приватизации и удачному включению в мировые финансовые потоки. Правда, в отличие от России и СНГ, практика Латинской Америки не знает массовых “назначений миллиардерами”. Там обогащались в первую очередь те группы, которые и раньше были богатыми. Особенно это характерно для Мексики, где государство сознательно поощряло концентрацию богатства в руках элиты. В 1994 г. Мексика вышла на 4-е место в мире по числу миллиардеров, уступая лишь США, Японии и Германии — из 358 миллиардеров в мире было 24 мексиканца. (Впрочем, финансовый кризис конца 1994 г. сократил число мексиканских сверхбогачей и существенно уменьшил их активы.) Сам способ приумножения богатства элиты сделал ненужными тяжкие думы об эффективности производства.

С другой стороны, рост доходов самых бедных слоёв населения во многих странах континента,

особенно в Аргентине и Мексике, отставал от роста доходов богатых, а в самое последнее время и вовсе сменился падением. В Аргентине плоды реформ достались в основном населению наиболее развитых провинций и их центров – Буэнос-Айреса, Кордобы, Розарио, Мендосы и Мар-дель-Платы, где проживает около половины всего населения страны. Но и они распределяются крайне неравномерно. Даже по оценкам сторонников неолиберализма, треть населения страны фактически была “выключена” из процесса развития. При этом усугубилась не только социальная, но и межрегиональная дифференциация, которая ранее наблюдалась в Бразилии — между развитым Югом и отсталым Севером. В Бразилии и Чили, где число бедных в последние годы снижается, оно всё равно, по разным оценкам, составляет от 35 до 45 (Бразилия) и не менее 28 (Чили) процентов населения. А с бедностью прямо связано низкое качество рабочей силы, несоответствие сегодняшнему дню квалификации многих наёмных работников, готовность множества людей работать за низкую зарплату и — как следствие — незаинтересованность предпринимателей внедрять новые технологии.

С проблемой бедности в Латинской Америке сопряжена проблема образования. Существует колоссальный разрыв между качеством элитарного, университетского образования и массового образования в начальной и средней школе. Последнее, как правило, не дает шансов получить хорошо оплачиваемую профессию и, следовательно, вырваться из тисков бедности. Кроме того, многие дети из бедных семей вообще не могут окончить школу, так как вынуждены идти работать. Соответственно, не получив образования, они и в дальнейшем обречены на бедность. Так возникает порочный круг “бедность — неграмотность — бедность”. Это хорошо видно на примере крупнейшей страны континента, Бразилии, где живут десятки миллионов бедняков: на фоне крупных научно-технических достижений — ядерной энергетики, авиации, спутников, общенациональных информационных сетей, в 1996 г. 14,7 % всех жителей страны старше 15 лет были неграмотными; на Северо-Востоке неграмотные составляли 28,7 % взрослого населения. Естественно, на их долю выпадает плохо оплачиваемая работа либо занятость в “неформальном секторе” экономики. Последний стал единственным прибежищем для множества людей в странах континента. Он создает почти три четверти всех новых рабочих мест в Латинской Америке, компенсируя сокращение занятости в формальном секторе.

Рост “неформального сектора” представляет собой общее проявление двух параллельных процессов — ослабления государства и эрозии гражданского общества. Расширение “теневой экономики” и падение роли государства идут рука об руку со снижением эффективности управления, распространением коррупции и преступности. “Сокращение государства”, его частичный уход из экономики в целом не сделали государство в странах Латинской Америки более эффективным, хотя в некоторых странах (Бразилии, Чили) кое-какие положительные изменения в этом отношении и произошли. Вместе с тем экономическая либерализация не способствовала и укреплению гражданского общества. Индивидуализация людей, сопутствовавшая неолиберальным преобразованиям и разрушению государственного патернализма, привела, скорее, к атомизации социума, к взаимной отчужденности людей друг от друга, росту настроений пассивности и апатии. В Аргентине и Мексике ослабло влияние профсоюзов, которым всё больше приходится считаться и с сегментацией рынка труда, и с высокой безработицей. Разрушение этатизма и индустриальной системы в Латинской Америке размывает средний класс: вследствие приватизации и реконструкции многих предприятий безработными стали высококвалифицированные рабочие и специалисты. Из-за сокращения государственных расходов ухудшилось положение многих служащих, учителей и преподавателей университетов. А ослабленное — во многом из-за эрозии среднего класса — гражданское общество не может заменить собой государство в выполнении им тех функций, особенно в социальной сфере, с которыми оно ранее худо-бедно справлялось.

Отступление гражданского общества в Латинской Америке оставляет открытым вопрос о том, насколько прочна в странах континента либеральная политическая демократия. Пока неолибералам в Бразилии, Аргентине, Перу, Мексике даже удалось пройти через повторные президентские выборы — в основном благодаря тому, что они обуздали инфляцию. Но,

видимо, не случайно некоторые страны (Мексика, Колумбия) сотрясаются актами насилия на почве политического противоборства, а часть населения тоскует по “твёрдой власти”. Правда, пока сторонники “железных рук” не выходят за рамки законности. Сейчас в Латинской Америке не видно заметных фигур и группировок, готовых создавать хунты и организовывать перевороты. Но никто не может поручиться, что такие фигуры не появятся в будущем. Углубление социальной дифференциации в сочетании с эрозией и понижением статуса средних слоёв может способствовать появлению массовых неопопулистских движений. А неопопулизм, в свою очередь, может вызвать резкую реакцию справа. Исторические прецеденты для такого поворота в Латинской Америке имеются в изобилии.

Следует отметить, что сегодня в Латинской Америке, в отличие от СНГ вместе с Россией и многих регионов бывшего Третьего мира, почти нет крупных социальных движений и этнических групп, которые бы выступали против модернизации с позиций социокультурного и тем более религиозного фундаментализма. Примерами протеста против модернизации могли служить ликвидированная несколько лет назад маоистская группировка “Сендеро Люминосо” и движение “Тупак Амару” в Перу, отдельные выступления индейцев в Центральной Америке. Но эти движения в 90-е годы занимали в целом маргинальное место в политической жизни континента. Протест в Латинской Америке, принимает ли он социальную, религиозную или политическую окраску, направлен не против модернизации, а против исключения из процессов модернизации, против элитарности и ограниченности неолиберальной модернизации. Именно такой характер носят выступления индейцев в мексиканских штатах Чьяпас и Герреро, заставившие правительство страны вступить с ними в переговоры.

В то же время в Латинской Америке реакция на процессы глобализации является далеко не однозначной. И если глобализация в сфере производства и финансов рассматривается, по меньшей мере, как противоречивый процесс, в котором переплетаются положительные и отрицательные стороны, то глобализация в сфере культуры, попросту — агрессия американской массовой культуры и стандартов потребления, встречает негативную реакцию даже в среде прозападно настроенных интеллектуалов и политиков.

Очевидно, перспективы демократии, как и модернизации в целом на континенте, будут зависеть от того, насколько удастся решить социальные проблемы, найти альтернативу неолиберальным преобразованиям, которые проводятся в соответствии с задачей “приспособить” экономику латиноамериканских стран к процессам глобализации по сценариям МВФ.

Интересно, что поиск альтернатив неолиберализму в Латинской Америке ведётся главным образом в плоскости не противопоставления этатизма и рыночных механизмов, а их рационального сочетания друг с другом, развития гражданского общества и его инициатив. Такова, в частности, позиция Экономической Комиссии ООН по Латинской Америке и Карибскому бассейну (ЭКЛА/СЕПАЛ), что подтвердил в 1996 г. её исполнительный секретарь Г.Розенталь.

Одной из альтернатив неолиберальной глобализации является развитие общего внутреннего рынка стран Латинской Америки, что, естественно, предполагает их экономическую интеграцию. Весьма успешно в 90-е годы развивался “Южный рынок” — Меркосур (Mercado del Sur), объединяющий Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай. Начав в 1991 г. с введения свободной торговли между странами-участницами, это объединение с 1 января 1995 г. перешло к таможенному союзу, установив единый внешний таможенный тариф по 85% товаров. В течение 90-х гг. торговля между странами Меркосур, а также их торговля с Чили развивалась значительно быстрее, чем торговля входящих в него стран с США и ЕС. Только с 1994 по 1997 год товарооборот Аргентины со странами Меркосур вырос на 72%, с Чили — почти на 60%, а с США — на 33%. Товарооборот между Аргентиной и Бразилией с 1993 по 1997 год вырос в 2,3 раза, составив 14,6 млрд. долл. Такая региональная интеграция позволяет диверсифицировать внешнеэкономические связи латиноамериканских стран и придать устойчивость их экономике. Увеличиваются и потоки взаимных инвестиций внутри интеграционного объединения, хотя их объёмы ещё заметно уступают капиталовложениям в

страны Южного конуса из США и Европейского Союза.

ЭКЛА обращает внимание на то, что повышение эффективности и конкурентоспособности латиноамериканской экономики предполагает и её перестройку на микроэкономическом уровне. В связи с этим ЭКЛА считает нужным изменить организационную структуру крупных компаний латиноамериканских стран по типу японских и южнокорейских корпораций, а именно: 1) развивать диверсификацию компаний; 2) финансировать долгосрочные инвестиции через “банковское ядро” той же компании, что обеспечивает мобильность финансовых ресурсов, позволяя концентрировать необходимые средства на приоритетных направлениях; 3) проводить вертикальную и горизонтальную интеграцию, подключать мелкие и средние предприятия к крупным проектам.

Вместе с тем в Латинской Америке крепнет понимание того, что в сегодняшнем мире успешное развитие зависит от социальных факторов и освоения новых технологий. Так, президент Кардозу отмечал в одном из своих выступлений: “Конкурентная позиция страны по отношению к другим странам все больше и больше определяется качеством ее человеческих ресурсов, знанием, наукой и технологией, применяемой к производству. Обильные трудовые и сырьевые ресурсы все меньше и меньше составляют сравнительное преимущество...”

Развитие высоких технологий, наукоёмкого производства, особенно в таких крупных странах, как Аргентина или Бразилия, является не только вопросом престижа и самоутверждения в мире. В постиндустриальную эпоху оно становится жизненной необходимостью, поскольку от него зависит, как, на какой основе страна сможет включиться в процессы глобализации, будет ли она субъектом или пассивным объектом международных экономических отношений.

В последние годы страны Латинской Америки стали уделять больше внимания науке и технологическим разработкам. После заметного сокращения в начале 90-х гг. возрастают расходы на научные исследования, хотя пока они в большинстве стран континента весьма далеки от рубежа в 1% ВВП, который позволяет рассчитывать на технологическую независимость. Ближе всех к этому показателю в Латинской Америке стоят Чили и Бразилия.

В Чили на исследования и разработки в 1996 г. было затрачено 0,66% ВВП, в 1997-м — 0,69%. В 2000 г. этот показатель должен составить 1,09%. При этом в расходах на исследования и разработки быстро увеличивается доля предприятий. В 1981 г. она составляла всего 0,2% всех расходов на НИОКР, в 1992-м — 9,9% и в 1996-м — 20%. Такие расходы частного бизнеса на науку и технологии — своеобразный рекорд среди стран Латинской Америки.

В Бразилии сосредоточена половина всех научных исследований и технологических разработок Латинской Америки. Это единственная страна континента, которая может позволить себе вести исследования почти во всех областях знания как фундаментальные, так и прикладные. Доля расходов на научные исследования и технологические разработки составляет примерно такую же величину, как и в Чили — 0,7% ВВП. Но при этом лишь 10% таких расходов приходится на долю предприятий, к тому же главным образом гигантов, которые либо находятся под государственным контролем, либо держат крупные пакеты акций в руках государства: “Петробраз”, “Электробраз”, “Телебраз” и “Вале ду Риу-Досе”. Согласно правительственному плану на 1996-1999 гг., утвержденному Конгрессом, предлагается довести расходы на НИОКР к 2000 г. до 1,5% ВВП, причем частный сектор должен обеспечить 40% затрат на эти цели. Пока, однако, бразильское правительство не смогло добиться того, чтобы частный сектор с готовностью увеличивал расходы на научные исследования и новые технологии. По оценкам экспертов, в середине 90-х годов не более тысячи (!) бразильских фирм систематически инвестировали средства в научные исследования и технологические разработки. Даже в тех случаях, когда эффект от внедрения технологических новаций очевиден, бразильский частный бизнес проявляет чрезмерную медлительность.

Конечно, во многих случаях разработка и внедрение новых технологий упирается в недостаток необходимых финансовых и материальных ресурсов. Далеко не все частные фирмы в Латинской Америке обладают достаточными средствами, чтобы финансировать внедрение

новых технологий. И всё же главным препятствием для инноваций является не нехватка финансовых средств, а сохраняющаяся бедность огромной массы населения, дефицит человеческого капитала.

Нельзя сказать, что в Латинской Америке ничего не делается для устранения бедности и уменьшения безработицы. Так, в Мексике с 1989 года реализуется государственная Программа Национальной Солидарности (“ПРОНАСОЛЬ”). В соответствии с этой программой в госбюджете выделяется сумма, которая используется на реализацию проектов, предлагаемых самим населением (создание рабочих мест, переквалификация людей и т.д.). Выполнение проектов контролируется на местах общественными комитетами, которых по всей стране насчитывается несколько десятков тысяч, а их финансирование осуществляется не менее, чем на две трети через созданные государством специализированные фонды, управляемые остающимися в госсобственности банками. Остальные затраты на реализацию проектов берет на себя местное население. Однако финансовый кризис 1994-1995 гг. и последующая нелиберальная стабилизация по своим последствиям “перекрыли” действие программы, а сама она стала предметом злоупотреблений со стороны коррумпированных чиновников и жуликов-финансистов.

В Аргентине перестройка структуры экономики и вызванная ею безработица вынудили правительство Менема уделить серьезное внимание переобучению людей новым профессиям. Ежегодно через государственные курсы по переквалификации проходит несколько сотен тысяч человек. Правда, безработица хоть и сокращается, пока остается на высоком уровне: 16,1% — в мае, 13,7% — в октябре 1997 г., 13,2% — в мае 1998 г., 12,4 % — в октябре 1998 г.

Однако во многих странах, в том числе в Аргентине и Мексике, борьба с бедностью на практике не связана с задачей развития, а направлена прежде всего на смягчение социальной напряженности, угрожающей стабильности общества.

Относительно успешной оказалась программа борьбы с бедностью и голодом “Солидарное общество” в Бразилии (1995 г.). Она действительно позволила сократить число бедных в стране, особенно в крупных городах, примерно на треть. Причём в Бразилии усилия властей направлены на устранение причин бедности, прежде всего на то, чтобы разорвать порочный круг “бедность — необразованность”. С этой целью правительство Кардозу в Бразилии стремится развивать образование в стране, в первую очередь — начальное и среднее. Объявив в конце 1997 г. о дальнейшем сокращении государственных расходов, оно оставило в неприкосновенности расходы на здравоохранение и образование. Одновременно в стране проводится реформа системы образования, призванная повысить его качество, охватить школьной сетью всех детей соответствующего возраста и устранить множество ненужных бюрократических структур, выросших на ниве просвещения в годы этатизма. Главным действующим лицом и в начальной школе, и в университете, по замыслам инициаторов реформы, должен стать преподаватель. О том, что цели реформы вполне достижимы, свидетельствует опыт её проведения в штате Минас-Жерайс. Примечательно, что выбор образования в качестве одного из приоритетов страны поддерживается широкими слоями общества в Бразилии, в том числе немалой частью бразильской элиты. Как показали социологические исследования среди элитных групп бразильского общества, почти 30% предпринимателей и 25% высокопоставленных государственных чиновников поставили задачу повысить образование населения на первое место среди других целей государственной политики.

В Чили борьба с бедностью также рассматривается правительством в неразрывном единстве с развитием образования. При этом широко используется потенциал самого гражданского общества. В стране действует Национальный Совет по преодолению бедности, куда входят представители предпринимательских кругов и профсоюзов, учёные, деятели церкви и различных фондов. Образование, особенно школьное, является одним из важнейших направлений деятельности Совета. Следует подчеркнуть, что успехи в этом деле, достигнутые Чили, выделяются на фоне других стран Латинской Америки. (Надо полагать, недаром Вторая встреча глав государств обеих Америк, на которой образование было названо важнейшим

приоритетом внутренней политики стран континента, прошла в апреле 1998 г. в Сантьяго.) Ресурсы, выделяемые на образование в стране только за счет бюджета, выросли в 1995 году на 12%, в 1996 — на 16%, что превышало темпы инфляции в стране (соответственно 7,3% и 6,6% в год). Среди правящих кругов и бизнес-элиты страны крепнет понимание того, что нельзя бесконечно использовать свои сравнительные преимущества в выращивании цветов, переработке фруктов и химического сырья, а необходимо включаться в международное разделение труда на современной технологической основе. Для этого требуется соответствующее качество человеческого капитала.

Таким образом, опыт Чили, как и опыт Бразилии, показывает, что трудные проблемы, связанные с глобальными переходами к постиндустриальному обществу, поддаются своему решению, если есть понимание сути происходящих процессов и политическая воля общества. Вместе с тем очевидно, что Латинская Америка только лишь подошла к порогу постиндустриальных преобразований, в ходе которых ей предстоит преодолеть немало препятствий.

Китай в мировом хозяйстве

На наших глазах происходит качественный сдвиг в положении Китая в мировом хозяйстве. Сдвиг этот начался примерно в середине десятилетия и был подготовлен длительным периодом скорректированной экономической политики, инициированной в конце 70-х годов. Ее содержание понимается зачастую несколько упрощенно и, как правило, сводится к проведению реформ и либерализации внешнеэкономической сферы в Китае. Трафаретным стало представление о синхронности “открытия” и “реформ” в Китае, внутреннем единстве обоих явлений. Между тем эта связь не столь проста. Например, реформы в промышленности начались в Китае спустя 5 лет после запуска программы специальных экономических зон и совместного предпринимательства с иностранными инвесторами, а начало бума зарубежных предпринимательских инвестиций в китайское хозяйство совпало в 1990-1991 гг. с широко распространившимися выводами зарубежных аналитиков об окончании реформ в КНР. Сама же политика Китая в области внешней торговли, иностранного предпринимательства и валютного регулирования сочетает шаги по либерализации с жестким контролем и протекционизмом.

Необходимость более тщательного и во многом выходящего за обозначенные рамки анализа процесса взаимодействия китайского хозяйства с внешним миром особенно актуальна в обстановке кризиса в Восточной и Юго-Восточной Азии. Он многими и не без оснований воспринимается как кризис “открытых экономик”¹.

Остается добавить, что события 1997-1998 гг. отчетливо продемонстрировали обратную связь между степенью открытости хозяйств ряда азиатских стран и их общей экономической устойчивостью.

По-видимому, такое явление закономерно. Перебор открытости, накапливавшейся в последние два десятилетия XX в. и в значительной мере искусственно стимулировавшейся финансовым вздутием мирового хозяйства, с неизбежностью вел к избыточной конкуренции за внешние рынки, однообразию экономических стратегий, всевозможным скрытым “перегревам” и, следовательно, потенциальному кризису, масштабы и глубину которого еще предстоит определить.

Похоже, сбываются довольно мрачные предсказания по поводу состояния мировой экономики и торговли, положения НИС первой и второй волны и оптимистические в отношении китайского хозяйства (например, Л.Ларуш, А.Неклесса)². Заметим, что эти и некоторые другие ученые оценивают китайскую стратегию как альтернативную ортодоксальным либеральным, фритредерским и постиндустриальным доктринам.

Становятся малопродуктивными прямые сопоставления Китая с НИС первой и второй волны: и не только из-за масштабов китайского хозяйства. Противоположной стала экономическая динамика. “Скромный” показатель прироста ВВП в 7,6% у КНР в 1998 г. (7,9% в последнем квартале года) теперь слишком уж явно противостоит резкому хозяйственному спаду у всех соседей (за исключением Тайваня). Кроме того, неизмеримо лучше и все показатели внешней платежеспособности Китая. Валютных резервов стране достаточно для оплаты годового импорта, доля краткосрочных заимствований во внешнем долге не превышает 20%, а коэффициент его обслуживания составляет порядка 6%.

Границы экономики Китая

Прежде чем приступить к рассмотрению новых качеств хозяйства Китая, остановимся на,

казалось бы, простом вопросе, вынесенном в подзаголовок. Дело в том, что на него уже нет удовлетворительного ответа. Ясно, разумеется, что основной массив китайского хозяйства представлен 22 провинциями, пятью автономными районами и четырьмя городами центрального подчинения (далее “массив”, “материк”). При этом остается все меньше оснований для квалификации в качестве отдельной части экономики Китая специального административного района Сянган. Немногим в этом смысле отличается от Сянгана Аомынь (Макао), переход которого под суверенитет КНР произойдет в декабре 1999 г. Сложнее обстоит дело с двадцать третьей провинцией — Тайванем. Немалые трудности в определении степени вовлеченности в хозяйство Китая возникают и в отношении предпринимательской деятельности китайцев за рубежами перечисленных территорий.

У нас появляется все больше оснований к расширительному толкованию понятия “экономика Китая”. Дело здесь не только в предстоящих рано или поздно консолидациях под единым суверенитетом. Такое толкование правомерно и все более популярно в силу углубляющейся кооперации между китайцами, проживающими в различных частях страны, и, как мне кажется, преобладания центростремительных тенденций в том ареале, которые современные авторы из КНР и других стран относят к “Большому Китаю” (массив, Сянган, Макао, Тайвань).

Факт преобладания именно центростремительных тенденций легко проиллюстрировать многочисленными данными об опережающих (по сравнению даже с восточно-азиатскими) темпах роста и направленности потоков товаров, услуг и капиталов внутри “Большого Китая” в 90-е годы. С несколько меньшей достоверностью можно говорить о центростремительном движении между “Большим Китаем” и зарубежными сообществами китайцев за его пределами.

Расширение всевозможных потоков “между Китаем и окрестностями” стало особенно бурным в 1993 г., но уже к этому времени оформилось китайское транснациональное пространство в движении предпринимательских инвестиций в Восточной Азии: в наименьшей степени этот процесс затронул Филиппины и Южную Корею — страны, где хуацяо относительно немногочисленны или почти отсутствуют (табл. 1). Реализованные же в КНР капиталовложения из НИС почти полностью приходились на гонконгских и тайваньских доноров. Гонконг как главный формальный источник иностранного капитала, в свою очередь, формировал реальный компонент инвестиций из местного оборудования, а также его закупок в странах Юго-Восточной Азии, Японии, Европе и т.д.

Таблица 1
Накопленные прямые инвестиции в отдельных азиатских странах (% , 1993)

<i>Доноры / получатели</i>	<i>КНР</i>	<i>Индонезия</i>	<i>Малайзия</i>	<i>Филиппины</i>	<i>Таиланд</i>	<i>Южная Корея</i>
Япония	8,6	20,6	22,3	15,5	23,8	40,1
США	8,1	5,5	11,2	50,2	14,0	29,3
НИС	65,0	25,5	31,3	9,3	24,9	3,0

Источник: Takatoshi Ito and Anne O.Krueger (ed.) *Financial Deregulation and Integration in East Asia*. University of Chicago Press. Chicago. 1996. P.111. В число НИС включены: Гонконг, Тайвань, Южная Корея и Сингапур.

Рост прямых инвестиций тунбао (соотечественников из Гонконга, Тайваня и Макао) в КНР резко ускорился после 1993 г. Качественно новый характер явлению придали даже его масштаб. Достаточно сказать, что в 1994-1997 гг. суммарный объем этих капиталовложений составил огромную сумму — свыше 120 млрд.долл. (только реализованные инвестиции). Вряд ли необходимо разьяснять, сколь значительные последствия для внутренней интеграции “Большого Китая” имело перемещение такого объема капитала. Оно, естественно, сопровождалось не менее бурным увеличением товарных, денежных, информационных и

людских потоков.

Другим важным аргументом в пользу понимания экономики Китая как качественно иной, причем расширяющейся, *целостности* представляется мне некоторая синхронизация темпов роста экспорта и отчасти импорта, соответственно — массива, Сянгана и Тайваня. И если в 1996 г. их замедление происходило одновременно с падением аналогичных показателей у Южной Кореи и Сингапура, то с появлением кризисных явлений в экономике Юго-Восточной Азии в первой половине 1997 г. ускорение динамики внешнеэкономических показателей коснулось только НИС, входящих в “Большой Китай” (во второй половине 1997-1998 гг. ситуация в “Большом Китае” несколько изменилась — об этом ниже).

Таким образом, расширяя границы “экономики Китая” в мирохозяйственном понимании, вероятно, уже сейчас справедливо включать в это понятие Сянган и Макао, учитывать тенденцию быстрой интенсификации связей с Тайванем (все же качественно слабее Сянгана и Макао, привязанного к хозяйству массива), но не выходить за эти географические рамки. Следует отметить, что привязка Тайваня к китайскому рынку все 90-е годы шла довольно быстро, хотя тайваньские власти нередко это отрицают. Действительная картина, отчасти иллюстрируемая статистическим курьезом (табл. 2 — выросшая разница в данных таможенной статистики соответствует части тайваньского экспорта на материк), иная. Существенно, что без рынка сбыта в массиве Тайвань, считающийся эталоном развития экспортной ориентации, уже имел бы отрицательный баланс по текущим операциям. По некоторым данным, суммарный актив Тайваня в торговле с массивом и Сянганом составил в 1997 г. порядка 15 млрд. долл.

Таблица 2
Экспорт тайваньских товаров в Гонконг (млрд.долл., 1987-1996)

<i>Годы</i>	<i>По данным тайваньской статистики</i>	<i>По данным гонконгской статистики</i>
1987	4,11	4,27
1988	5,59	5,69
1989	7,03	6,61
1990	8,56	7,45
1991	12,43	9,56
1992	15,42	11,30
1993	18,45	12,20
1994	21,26	13,96
1995	26,12	16,57
1996	26,80	15,80

Источник: Hong Kong Customs Statistics (1997); Trade Statistics (Ministry of Finance, Republic of China, 1997).

Кто кого интегрирует?

“Интеграция в мировое хозяйство” — выражение сколь привычное, столь и малопродуктивное, когда начинаешь прикладывать его к современному положению Китая в международном разделении труда. Когда же основным свидетельством и критерием “углубления” этой интеграции считают отмеченную выше лавину предпринимательских инвестиций в КНР в середине 90-х годов, то сразу возникает “парадокс Сянгана”. Под ним я имею в виду тот простой факт, что с восстановлением китайского суверенитета над этой территорией пропадают основания для квалификации в качестве “иностранных” большей части предпринимательских инвестиций, поступивших и продолжающих поступать в КНР. Они перешли в разряд внутренних капиталовложений в широко понимаемой экономике Китая. И дело не только в формальной и статистической стороне дела. Уже в 80-е годы немалая часть “гонконгских инвестиций в хозяйство КНР” представляла собой транзитное

движение капитала, источниками и организаторами которого были государственные предприятия в самой КНР и Гонконге. Несомненно, в 90-е годы этот транзит еще несколько расширился, составляя около 20-30% упомянутого инвестиционного потока.

Примерно так же обстоит дело с товарными потоками. И реэкспортные операции Гонконга (их доля в экспорте территории выросла с 30% в 1980 г. до 80% в 1994 г.) и обработка грузов в порту часто связаны с межрегиональной торговлей в массиве. К тому же нередко все операции по внешнеторговому обслуживанию грузов (включая кредитование и оформление сделок) выполняются принадлежащими КНР государственными организациями и банками, расположенными в Сянгане.

Вплоть до перехода под суверенитет КНР Гонконг, хотя и в убывающей степени, вполне справедливо рассматривался большинством исследователей как важный инструмент вовлечения Китая в мировое хозяйство. По-видимому, так считали и в самом Пекине. Тогда поддержка хозяйства территории, несомненно, входила и в число политических приоритетов. Однако в нынешних условиях — после восстановления суверенитета КНР над территорией — ситуация существенно изменилась. Безусловным политическим приоритетом стал Тайвань, а получив в последние три года многочисленные подтверждения внешнеэкономической полноценности хозяйства страны в целом, Пекин уже не склонен рассматривать “интеграцию вообще” как безусловное благо. Сянган на глазах теряет свою привлекательность в качестве “окна в мир” и вынужден уже, в свою очередь, активно бороться за место во внутрикитайском разделении труда. Заметим, что это достаточно непросто в условиях состоявшейся относительной деиндустриализации: доля обрабатывающей промышленности в ВВП Гонконга снизилась с 24% в 1980 г. до 9% в 1997 г. Из-за конкуренции других портов КНР роли перевалочной базы становится недостаточно для реального сектора экономики, который, например, впервые за десятилетия испытал во втором квартале 1998 г. спад на 5%.

Достаточно исключить презумпцию “интеграции в мировое хозяйство в целом” из современных целей Пекина и признать за политикой последнего способность к действительной интеграции Сянгана и Тайваня, чтобы правильно понять реальные и обозримые в будущем границы китайской экономики. И не столько как “неотъемлемой части мирового хозяйства” — это выражение мало о чем говорит, — сколько достаточно обособленной от него системы, уверенно втягивающей в себя упомянутые территории.

В пользу же необходимости очень осторожного употребления термина “интеграция” применительно к внешнеэкономической политике Китая приведу одну цитату: “КНР не может позволить себе выйти на мировой рынок без тщательного учета риска и опасностей, которые подстерегают ее там”. Казалось бы, этим строкам лет пятнадцать-двадцать. Между тем они произнесены Цзян Цзэмином на сессии ВСНП в марте 1998 г., когда уже было ясно, что КНР сравнительно благополучно преодолела очередной виток азиатского кризиса (в первом квартале года были отмечены, в частности, достаточно высокие темпы роста экспорта).

Говоря о носителях интеграции в китайской экономике и за пределами “Большого Китая”, следует, по-видимому, выделить двух главных исполнителей. Это — транснациональный китайский капитал и государственные организации КНР. Их взаимодействие, переплетение, конкретные иерархии и т.п. заслуживают специального рассмотрения. И все же именно условия в массиве китайского хозяйства, а стало быть, и роль организаций КНР пока являются определяющими. По-моему, к складывающейся в отношении с транснациональным китайским капиталом ситуации вполне, а быть может, даже особенно хорошо применима характеристика, данная Г.К.Широковым деятельности ТНК в 60-70-е годы: “Что же касается производительного капитала, то, по-видимому, термин “интернационализация” расширительно трактует происходящие процессы. Дело в том, что само перемещение производительного капитала за рубеж свидетельствует о наличии в мировом хозяйстве национально-обособленных воспроизводств, отличающихся друг от друга по тем или иным параметрам. Но, попадая в эту национально-обособленную среду, перемещенный капитал производительного типа может воспроизводиться в расширенном виде только в том случае, если он приспособливается к ней”³. Таким образом, в современном китайском случае даже об

“интернационализации” хозяйства массива в связи с массированным импортом предпринимательского капитала можно говорить лишь с очень большой натяжкой.

Китайская специфика?

Этнокультурным своеобразием, китайской спецификой часто и, по-моему, не всегда оправданно аргументируют обособленность Китая. Как один из признаков системности эта “обособленность” справедлива лишь с той точки зрения, что за рубежами “Большого Китая” его представителей не очень различают между собой. К действительной специфике (обособленности), с точки зрения рассматриваемой темы, я бы в первую очередь отнес уровень и динамику внутренних цен в КНР. В отличие от своих соседей по Восточной и Юго-Восточной Азии Китай перешел к конвертируемости своей валюты по текущим операциям (1996) при существенно более низком уровне внутренних цен, более того, проявившейся в последние 12 лет тенденции к их относительному снижению (табл. 3). Последнее обстоятельство *принципиально* отличает китайский подъем от того, что наблюдалось в похожих фазах развития новоиндустриальных стран и Японии. Там внутренние цены постепенно приближались к уровню развитых стран и даже существенно превосходили его, например, на ряд сельскохозяйственных товаров.

Таблица 3
Уровень цен в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности КНР в % к аналогичным показателям в США

	1985	1986	1993	1994
Пищевая	44,96	38,50	35,81	29,63
Легкая	46,52	40,31	40,41	37,18
Химическая	51,15	45,21	45,23	32,49
Металлообрабатывающая	33,77	31,14	61,48	40,13
Машиностроение	60,53	52,29	52,49	38,08
Прочие отрасли	39,91	33,14	31,99	22,97
Всего	49,38	45,22	49,00	37,19

Источник: Ren Ruoen. China's Economic Performance in an International Perspective. OECD. Paris. 1997. P.136.

Девальвировав юань, Китай в 1994 г. установил очень высокую планку ценовой конкурентоспособности по широчайшему ассортименту промышленной продукции потребительского назначения, многим инвестиционным товарам. Эту планку в середине десятилетия, как представляется, стало все труднее преодолевать соседним странам Азии. Оттуда в гигантскую ценовую котловину массива китайского хозяйства начал ускоренно стекать предпринимательский капитал — и отнюдь не от одних хуацяо. Не вызывает поэтому особых сомнений связь между этим фактором и наблюдаемым в Восточной Азии кризисом. Для Китая же сложившийся уровень и пропорции внутренних цен оказались весьма благоприятными, их рост замедлился в 1995 г., что способствовало общей стабилизации хозяйства (табл. 4-5) и переходу экономики в отмечаемое в этой статье новое мирохозяйственное качество.

Таблица 4
Отдельные показатели экономического развития КНР

Годы	Прирост розничных цен, %	Экспорт, млрд.долл.	Импорт, млрд.долл.	Реализованные прямые инвестиции из-за рубежа, млрд.долл.
1983	1,5	22,2	21,4	0,6
1984	2,8	26,1	27,4	1,3
1985	8,8	27,4	42,2	1,7
1986	6,0	30,9	42,9	1,9
1987	7,3	39,4	43,2	2,3
1988	18,5	47,5	55,3	3,2

1989	17,8	52,5	59,1	3,4
1990	2,1	62,1	53,4	3,5
1991	2,9	71,8	63,8	4,4
1992	5,4	84,9	80,6	11,0
1993	13,2	91,7	104,0	27,5
1994	21,7	121,0	115,7	33,8
1995	14,8	148,8	132,1	37,7
1996	6,0	153,0	137,0	41,8
1997	1,1	181,2	143,8	45,3

Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь, 1997. Пекин. 1998. По предварительным данным за 1998 г., внутренние цены в КНР снизились примерно на 2,5%, а объемы экспорта, импорта и притока иностранных инвестиций незначительно уменьшились.

Валютно-финансовый кризис в Азии отчетливо показал, что китайский уровень товарных цен оказывает растущее воздействие на их формирование в мировой экономике. И мне вовсе не кажется преувеличением заметить, что недавняя волна девальваций, пробежавшая по Азии, возможно, свидетельствует о том, что более “правильными” на этом континенте являются китайские цены. А отсюда уже следует вывод о наличии глубокой трещины в мировой экономике, стереотипно понимаемой как едином и укрепляющемся целом. Куда правдоподобнее выглядит тезис о скором наступлении волны нового протекционизма, торговых войн и т.п., т.е. разломе, но не цивилизационном, а, скорее, все-таки экономическом. Не исключаю, что именно такого рода предчувствия породили на Западе и почему-то в России большое количество книг и статей о “китайской угрозе”, “рождающейся новой сверхдержаве”, “грядущем конфликте с Китаем” и т.д.

Таблица 5

Экспорт КНР (первая половина 1998 г.)

<i>Зарубежный рынок сбыта</i>	<i>в % к первой половине 1997 г.</i>
Северная Америка	17,8
Япония	-4,3
Европейский Союз	25,0
Страны АСЕАН	-12,9
Южная Корея	-30,2
Страны Латинской Америки	33,3
Африканские страны	44,1

Источник: Far Eastern Economic Review. 24.09.1998. P.52.

Существенное отличие КНР от большинства азиатских и “переходных” стран заключается в формах и пропорциях привлеченных извне ресурсов. В основном они представлены транснациональным китайским капиталом (не очень крупным, как правило), причем преимущественно поступающим в виде прямых инвестиций в промышленность, а также производство в сфере услуг. Соответственно, транснационализация хозяйства в “Большом Китае” имеет принципиальное отличие от аналогичного процесса в мировой экономике: в первом случае она, на мой взгляд, пока не ведет к снижению регулирующей роли государства; быть может, здесь лучше говорить лишь о некоторой децентрализации государственного контроля — да и то с большими оговорками.

Еще одна важная особенность состоит в селективном и крайне осторожном подходе КНР к интеграционным процессам в глобальном и даже региональном масштабе (если не иметь в виду “Большой Китай”). Достаточно упомянуть, что восстановлением своего членства в ВТО (ГАТТ) Пекин занимается уже пятнадцатый год. Тайвань, напомню, покинул ГАТТ еще в 1951 г. Показательна уверенная позиция страны в сложных отношениях с ВТО. На недавнее заявление президента КЕС Ж.Сантера: “Торговая политика китайского правительства во многих областях остается протекционистской. Пекин почти не идет на уступки и в реформировании экономики. Однако без реформ доступ в ВТО останется закрытым”; последовал спокойный ответ: “Если Китай не будет принят в ВТО в 1999 г., то он будет сам

уточнять и совершенствовать свои торговые нормы в XXI в.”⁴

Добавим, что кризис в Восточной Азии в краткосрочном плане объективно способствует росту протекционизма в Китае — сейчас лучше защитить динамичный внутренний рынок, чем искать нелегкой удачи на внешних рынках.

Открытость и самообеспечение

Последовательная стратегия “опоры на собственные силы”, как выясняется, не противоречит быстрым тактическим ускорениям в развитии внешнеэкономических связей. Интересно, что не сбылись многие прогнозы резкого увеличения зависимости Китая от импорта сырья, продовольствия и топлива, строившиеся на рубеже десятилетий на констатациях экстенсивного характера хозяйственного роста в КНР.

Весьма неожиданным стало, например, почти двукратное снижение энергоемкости производства. Относительно скромными остаются закупки нефти и нефтепродуктов, нетто-импортером которых КНР стала в 1993 г. Растет при этом экспорт угля, синтетического газа (КНР — его крупный экспортер с 1994 г.) и кокса. В 90-е годы Китай вопреки прежним предположениям достаточно регулярно оказывался нетто-экспортером зерновых (1992 и 1996 гг.) и другого продовольствия.

При этом нынешнее десятилетие отмечено значительными достижениями КНР в ассимиляции (“сяохуа”) зарубежных технологий. В куда меньшей мере, чем другие азиатские страны, Китай следует по пути простой сборки готовых изделий из импортных компонентов. Иностранные и квазиинициативные капиталовложения в этой стране при этом все чаще минуют зоны открытости, устремляясь во внутренние районы — как прибрежных, так и центральных провинций.

Уже простое сопоставление приростов импорта и объемов зарубежных инвестиций (табл. 4) в последние три года демонстрирует то, что можно было бы назвать “растворением” капиталов тунбао и хуацяо в массиве китайского хозяйства, безусловно способствующее его внутренней интеграции: при огромном скачке в объемах инвестиций извне рост импорта был умеренным. Похоже, в Китае более успешно справляются с теми издержками, которые обыкновенно несет чисто очаговое, сборочное зарубежное предпринимательство на территории страны — по сравнению с предыдущим десятилетием и практикой других азиатских стран.

В немалой степени эти успехи связаны с непосредственным участием государства в совместном предпринимательстве, а также пропорциональностью, сопоставимостью экономических возможностей партнеров, строгим соблюдением иерархии китайских участников — в зависимости от объема осваиваемых инвестиций. Это один из фундаментальных принципов внешнеэкономической политики КНР, на который редко обращают внимание. Он имеет много конкретных проявлений. Например, политика принимающей стороны в отношении зарубежного инвестора часто строится в соответствии с известной в Китае поговоркой “лучше быть головой петуха, чем хвостом коровы”.

Сказанное не исключает сотрудничества с крупным капиталом. Много писали об отказе КНР от государственной монополии внешнеэкономических связей в связи с допуском в сферу внешнеторговых операций иностранного капитала. В действительности речь шла несколько о другом — создании крупных внешнеторговых объединений с участием иностранного капитала, причем уже хорошо знакомого китайским властям и прочно встроенного в китайское хозяйство. Вот как выглядели требования к партнерам из-за рубежа, сформулированные во временных правилах, принятых Госсоветом КНР в сентябре 1996 г. Было разрешено создание в двух местах (в СЭЗ Шэньчжэнь и Пудун) внешнеторговых предприятий с иностранными инвестициями. Минимальный уставный фонд — 100 млн. юаней, доля иностранного вкладчика — не менее 29% и не более 49%, руководителем фирмы может быть только гражданин КНР. Иностранец должен иметь солидный объем торговли с Китаем в течение предшествующих подаче заявки трех лет — не менее 30 млн. долл., а также такие же по объему инвестиции в КНР. Отдельное требование к партнеру —

годовой оборот внешнеэкономических операций в 5 млрд. долл.

Примечательно существенное ускорение темпов экономического роста в Шанхае и Тяньцзине. Оба города в 80-е годы серьезно отставали по этому показателю от других прибрежных промышленных центров, что в немалой степени объяснялось трудностями с освоением поступивших из-за рубежа технологий и инвестиций: высокими затратами внутренних ресурсов и времени. В обоих городах ориентировались, как правило, на зарубежные капиталовложения относительно высокого технического уровня, с большим удельным весом машиностроения. В 90-е годы ситуация с общей экономической динамикой стала постепенно меняться: проведенная техническая модернизация в ряде национальных центров тяжелой промышленности дала отложенный во времени эффект: существенное ускорение экономической динамики — в том числе за счет экспорта готовых изделий, почти полностью произведенных в Китае. Поэтому, кстати, выражение “рост интеграции” и в узком производственно-внешнеэкономическом смысле (как поддетальная и поузловая кооперация) не всегда адекватно реалиям китайских связей с мировым хозяйством в 80-90-е годы, особенно, если их картина рассматривается на относительно протяженном временном отрезке. Здесь необходимо также упомянуть, что очень значительная часть сделок по организации в Китае совместных производств неизменно обуславливалась постепенной заменой импортных комплектующих на изделия китайского производства.

Показателен недавний пример. В конце 1998 г. гонконгская печать сообщила об очередных закрытых правительственных директивах по рынку средств мобильной связи. В них ставится задача довести долю китайских продуцентов до 40% к 2001 г. и 70% к 2003 г. (в настоящее время их доля около 10%). Работающим в этой области совместным предприятиям настоятельно рекомендуется увеличить к 2003 г. местный компонент до 80% в коммутационных системах, 60% в базовых станциях и 60% в телефонных аппаратах. Введение пятипроцентного налога на установки мобильной связи должно обеспечить финансирование местных НИОКР в этой области. Добавим, что обе ведущие китайские компании — операторы мобильной связи (“China Telecom”, “Unicom”) — являются государственными. Соответственно, именно они решают, у кого закупать оборудование.

В связи с этим можно отчасти согласиться с авторами, считающими политику привлечения иностранных инвестиций тактической линией, лежащей на фундаменте “сталинистской” стратегии опоры на собственные силы, преимущественном внимании производству средств производства⁵. Хотя лучше, вероятно, все-таки говорить об определенном синтезе обеих установок — одной из важных, на мой взгляд, причин повышения экономической динамики КНР в середине десятилетия и известного иммунитета ее хозяйства по отношению к разразившемуся в Азии кризису. Неточно, разумеется, относить “опору на собственные силы” к китайской специфике или “сталинизму”. Аналогичная по содержанию индийская концепция “свадешти”, как известно, была выдвинута еще Махатмой Ганди и с тех пор не выходила из экономического арсенала Индии.

Факт устойчивости китайского хозяйства к неблагоприятным внешним явлениям, взятый в широком контексте состояния современной мировой экономики, может интерпретироваться по-разному. Справедливо включение в число факторов такого иммунитета исключительного внимания, уделяемого КНР поддержанию постоянно положительного сальдо платежного баланса, относительно консервативной валютной политики и высокой ликвидности у соответствующих государственных институтов, строгих ограничений в области доступа на внутренний фондовый рынок нерезидентов и т.п. Надежно ограждены крупные сектора внутреннего рынка. Достаточно заметить, что очень лимитировано совместное предпринимательство или запрещены полностью иностранные инвестиции в телекоммуникациях, издательском деле, кино-, радио- и телеиндустрии, внутренней и внешней торговле, финансах. На внутреннем рынке периодически вводятся новые запреты: например, недавно была приостановлена деятельность фирм, практикующих торговлю “дверь в дверь”, через цепочки и пирамиды индивидуалов-дистрибьютеров (“Avon” и др.).

Но не менее достоверной кажется и следующая версия. Стагнация в Японии, кризис в Южной

Корею, с одной стороны, и продолжающийся рост в Китае, Индии и США, с другой, могут свидетельствовать о складывающихся дополнительных преимуществах очень крупных национальных хозяйств. Быть может, мы также имеем дело с нарастающей исчерпанностью относительно открытых экономических моделей, ориентированных на “интеграцию” — в противовес протекционистской “адаптации” (если говорить об отношении к мировому хозяйству в целом), явно наблюдаемой в КНР, а также Индии. В пользу такого предположения свидетельствует и одна деталь в сопоставимых между собой “переходных” государствах — экономические результаты в 90-е годы оказались лучше в странах, не имеющих выхода к морю, то есть там, где “интеграция в мировую экономику” затруднена по определению (Чехия, Словакия, Венгрия, Белоруссия, Узбекистан). Явные же преимущества жесткого протекционизма, проводимого Китаем, перед фритредерской политикой большинства “переходных стран”, думаю, уже мало у кого могут вызвать сомнения. Кризисные явления в мировой экономике особенно четко проявили преимущества контролируемой открытости. При этом чисто теоретически (исходя из ортодоксального либерализма) Китай вроде бы более других стран заинтересован в свободе торговли — благодаря высокой ценовой конкурентоспособности. Тем не менее Пекин явно не торопится с реализацией сравнительных преимуществ своего хозяйства, — по-видимому, прекрасно отдавая себе отчет в действительных возможностях закрепления на внешних рынках за счет одних только ценовых факторов. Более того, даже политика в отношении иностранного предпринимательского капитала формулируется в последних официальных документах так, что допускает двойное толкование относительно будущих намерений страны. Буквально это выражено следующим образом: “сохранение определенного масштаба иностранных инвестиций”. Ясным контрастом нынешнему увлечению “переходных” стран иностранными инвестициями выглядят, например, требования национальных предприятий КНР уменьшить приток иностранного капитала в страну, в том числе из-за переноса на китайский счет политически чувствительного актива в торговле с развитыми странами.

Таблица 6
Доля внешней торговли в ВВП КНР

Годы	При пересчете по официальному курсу	При пересчете по покупательной способности	Курс юаня к доллару
1985	22,8	7,1	2,94
1986	25,0	6,8	3,45
1987	25,7	6,8	3,72
1988	25,6	7,7	3,72
1989	24,8	8,4	3,77
1990	29,8	7,7	4,78
1991	33,4	7,7	5,32
1992	34,3	7,8	5,51
1993	32,6	7,9	5,76
1994	45,3	8,7	8,62
1995	48,5	8,8	8,62
1996	45,6	7,6	8,61
1997	46,0	8,1	8,33

В связи с изложенным выше значительный интерес представляет вопрос об уровне включенности хозяйства Китая в мировую экономику. Его обычно измеряют показателем доли внешней торговли в ВВП (табл. 6), добавлю, что в 1998 г. этот показатель существенно снизился.

Как ни странно, эта относительно простая процедура, как правило, производится без учета в разнице покупательной способности валют. В результате этот показатель переоценивают (левая колонка) — как и роль внешних факторов в нынешнем подъеме Китая. При этом обыкновенно делается и вывод о значительном росте вовлеченности Китая в мировое

хозяйство в последние 10-12 лет. При учете же покупательной способности юаня (и его фактической конвертируемости с 1996 г.) индикатор включенности в мировое хозяйство оказывается около 8-9%. А “рост” вовлеченности КНР в мировую экономику в последнее десятилетие (общее место сотен работ по Китаю), как хорошо видно из приведенных данных, повисает в воздухе. К тому же описанные выше статистические парадоксы, возникшие после восстановления суверенитета над Сянганом, вполне могут трактоваться в пользу представлений об еще более низкой зависимости основного массива китайского хозяйства от внешних факторов.

Справедливо, скорее, говорить о повышении качества участия КНР в международном разделении труда, об этом, в частности, свидетельствует значительное сокращение доли сырьевых и топливных товаров в экспорте: с 50% в 1985 г. до примерно 15% в середине 90-х. Между тем еще в начале 80-х годов в КНР и за ее пределами были популярны идеи превращения страны в крупного экспортера топлива. В силу ряда причин этот замысел не был реализован, наоборот, с 1984 г. начала проводиться в жизнь политика так называемого замещения экспорта — т.е. повышения степени обработки вывозимых сырьевых товаров. Ограничение экспорта наиболее эффективной продукцией, заметим, считается признаком интенсивно развивающегося хозяйства⁶.

Налицо, таким образом, сильное воздействие Китая на мировое хозяйство (главным образом опосредованное — через низкий уровень цен) и относительно слабая обратная зависимость — явный признак системности, самостоятельности и укрепляющейся целостности этого экономического организма. Получается, что при этом Китай с мирохозяйственной точки зрения нельзя отнести ни к развивающимся, ни к развитым, ни к “переходным”, ни к “новоиндустриальным” странам — причем ни по структурным, ни по динамическим показателям.

Методический порок расчета доли внешней торговли в ВВП “по курсу” иллюстрируется не только китайским случаем. Фантастические скачки показателя в результате девальваций в Азии серьезно искажают реальную картину взаимодействия стран континента с мировым хозяйством.

Гетерогенность, сбалансированность, роль государства

Помимо обособленности свойством системы принято считать сочетание в себе различных элементов. И как раз в этом смысле Китай, пожалуй, единственная страна в мире, сумевшая к настоящему времени абсорбировать практически все известные способы хозяйствования — как в их технико-экономическом, так и социальном содержании. На территории “Большого Китая”, чрезвычайно разнообразной в географическом отношении и в целом умеренно обеспеченной почти всеми видами природных ресурсов, представлены сверхсовременные технологии и тяжелый ручной труд, финансовые империи и примитивнейшие мастерские, гигантские государственные предприятия и мелкие коллективные, частные и единоличные организации. Эта пестрота, конечно, не редкость в Азии. Но в Китае она имеет вид хорошо скрепленной мозаики, существенно иную структуру, связанную с особой ролью государственного сектора. Государство в КНР пока дает пример функционально эффективного и исторически преемственного подхода к проблемам собственности и управления ею. Соответственно, у него неизмеримо больше возможностей в структурировании весьма разнородного пространства и его реальной интеграции, в том числе путем разрушения межукладных перегородок и барьеров, обычных в развивающихся странах.

Именно государство регулирует основные пропорции в экономической системе. Эта роль вытекает не только из имеющегося социалистического опыта. Она традиционна для аграрного общества в Китае, где земледелие всегда требовало объединения и организации масс населения для решения инфраструктурных, ирригационных и т.п. задач. К тому же в этой стране нумеролого-пропорциональный способ мышления имеет очень глубокие исторические корни. Обычна и для послевоенного Китая постановка политических и экономических задач с

использованием чисел и соотношений (“борьба с тремя и пятью злоупотреблениями”, “на 30% полезный, на 70% вредный”, “увеличение ВВП в четыре раза за двадцать лет” и т.п.). Существование же в современной хозяйственной системе этой страны предприятий, разных по эффективности, новизне, техническому уровню, требует простоты постановки целей, а также балансов и иерархий, которых не достичь с помощью одного лишь рыночного регулирования. Необходимость выравнивания диспропорций и огромной перераспределительной работы усиливается с ростом гетерогенности внутри “Большого Китая”. А из-за того, что большинство провинций являются сейчас чистыми получателями средств из центра, существует мощная поддержка требований усилить финансовую роль Пекина. С другой стороны, сохраняющаяся высокая экономическая динамика (5-8% в западных, 7-9% в центральных и 10-12% в прибрежных районах КНР) минимизирует потребность в крупных структурных и, тем более, системных преобразованиях.

В конце августа 1998 г. финансовая администрация Сянган предприняла массивную интервенцию на местном фондовом рынке — общий объем скупленных акций составил около 15 млрд. долл. Событие представляется символическим: на самом либерализованном пятячке хозяйства “Большого Китая” государство впервые за много лет сочло необходимым прямое вмешательство в рыночный механизм, что, кстати, было одобрено большинством местных финансистов. Примечательно, что одним из результатов этих действий стало приобретение государством контрольного пакета акций в крупнейшем банке Азии — “Hong Kong and Shanghai Banking Corp.” (HSBC).

Сам факт системности китайского хозяйства (сочетающего, помимо всего прочего, свободно-рыночный анклав в Сянгане с жестким директированием хозяйственной деятельности в массиве) определяет преимущественно внутренний характер проблем, стоящих перед Китаем. По сути эти проблемы во многом иного свойства, чем те, что решают страны с “переходными” экономиками и большинство развивающихся государств. Цели “реформ”, “глобальной интеграции” и т.п. применительно к Китаю уже не актуальны — страна с этим кругом проблем, похоже, уже справилась. Для КНР несколько большую трудность представляет, по-видимому, другое — сочетание “азиатского” и “тихоокеанского” (“континентального” и “морского”) массивов хозяйства — и соответствующих стратегий и ориентаций, в том числе внутри “Большого Китая”. Решающую роль в решении этой проблемы сыграют успехи в дальнейшей диверсификации хозяйства и его модернизации, а с территориальной точки зрения — достижения в развитии центральных провинций страны. Туда, а также в северо-восточные и западные районы, по-видимому, будет смещаться инвестиционная активность, определенная часть международных проектов.

Примечательно, что этот процесс начался задолго до декларированного в долгосрочных национальных планах 2000 года как рубежа, когда акцент в хозяйственном развитии должен быть перенесен с прибрежных на внутренние провинции. В отношении иностранного капитала, например, в приморских районах введен национальный режим, а в центральных существуют льготы. В последних также более благоприятен и общий налоговый режим. Развивается практика шефства прибрежных районов над внутренними, набор именно в последних персонала для государственных строительных программ за рубежом и т.п. В какой-то мере уменьшению дифференциации может помочь азиатский кризис: испытывая трудности на внешних рынках, некоторые прибрежные регионы разворачиваются лицом к внутренним районам.

Проблема сочетания “азиатского” и “тихоокеанского” в какой-то мере включает и дальнейшую интеграцию внутри “Большого Китая” — в том числе центральную политическую задачу Пекина — воссоединение страны. Очевидно, что в обозримом будущем эта проблема и ее отдельные составляющие будут требовать продолжения особой внешнеэкономической стратегии, сохранения ведущей роли государства в ее разработке и непосредственном осуществлении.

Законченность, подобие

Достаточно законченный вид “Большому Китаю” придают уже имеющиеся связи с зарубежными сообществами этнических китайцев. Этот “спрут” уже довольно густо покрывает поверхность планеты, а экономическое “кровообращение” в его щупальцах не имеет выраженной направленности. Дело в том, что значительную трудность всегда представляло определение эквивалентности во встречном движении “товар — деньги” в отношениях массива с Гонконгом и хуацяо. К тому же в 90-е годы каналы родственных связей стали использоваться и для движения финансовых средств из массива вовне, например, стали нередки случаи поддержки зарубежных родственников преуспевающими жителями КНР (помощь в открытии собственного дела за рубежом, оплата расходов на обучение, лечение). Некоторое исключение составляет, быть может, информационно-технологический ток, более направленный внутрь массива. Важно при этом отметить, что глобальное присутствие не требует от экономики Китая крупных ресурсов, зарубежные сообщества, как минимум, сами себя обеспечивают. Соответственно, Пекину не грозит то, что называется “сверхпротяженностью” (overexstention). Этот недуг, как известно, часто оказывался роковым для многих империй и систем.

Среди многочисленных признаков самодостаточности необходимо упомянуть стройный комплекс представлений о внешнем мире и месте Китая в нем. Устойчивость основных политических установок (“многополюсный мир”, “пять принципов мирного сосуществования”, “мирное внешнее окружение”, “одна страна — две системы”) в течение длительного периода связана, конечно, не только с последовательностью пекинского курса. Очевидно, что эти постулаты выведены из точных наблюдений и хорошо продуманных прогнозов — в том числе в области развития мирового хозяйства. Так, экономический феномен интегрирующегося “Большого Китая” справедливо рассматривать как часть процесса “регионализации” мирового хозяйства, выявления геоэкономического содержания в концепциях “многополюсного мира” и “мирного окружения”.

Многомерная самоидентификация страны ее руководством удачно дополняет теоретическую цельность и гибкость внешней политики. Пекин охотно ассоциирует себя и с “Югом”, и с “Востоком”, и с “социалистической страной”. Это облегчает практическое маневрирование на международной арене. Заметным явлением в 90-е годы было еще и введение в идеологию внешней политики компонента, связанного с апелляцией к традиционным ценностям, восточным философиям. Это существенно повысило уровень взаимопонимания с азиатскими государствами. Многим исследователям концептуальная база китайской внешней политики кажется несуществующей или размытой⁷. Это — поверхностное впечатление. Если видеть в развитии Китая с 80-х годов осуществление принципов сочетания, синтеза, конвергенции и т.п., то хорошо понятны связность и системность представлений о мире и его отдельных частях, взаимопроникновение экономической стратегии, внутренней и внешней политики. В последней, так же как и во внутреннем курсе, прослеживаются примерно те же принципы: последовательности и преемственности, пропорциональности, концентрации на ближайших задачах, алгоритм “зажать — отпустить” (в международных делах это проявляется в способности как улучшать, так и ухудшать отношения с отдельными странами в зависимости от ситуации) и т.п. Впрочем, этот предмет заслуживает отдельного рассмотрения.

Заслуживает внимания и еще одно свойство экономики Китая, которое можно было бы охарактеризовать как подобие, отражение и т.п. Участие в мирохозяйственных процессах заставляет и эту страну искать организационно-институциональные формы, аналогичные по функциям общераспространенным. Этого же требует и принцип пропорциональности партнерства. Соответственно, помимо сферы сотрудничества с хуацяо и тунбао, представленной по большей части небольшими и средними проектами, набирают силу аналоги ТНК, представленные крупными территориальными и отраслевыми объединениями КНР (внешнеторговые и инвестиционные компании центрального подчинения и отдельных провинций, базирующиеся в Гонконге холдинги, торгово-промышленные конгломераты,

опирающиеся на гигантские госпредприятия). Они активны на внешних рынках, иногда даже конкурируют между собой. Вместе с тем государство выступает как их непосредственный участник, организатор и координатор, проводя, в частности, достаточно согласованную и обеспеченную внешнеполитическими средствами, инвестиционную деятельность за рубежом. Поэтому подобие в китайском случае носит в большей степени характер функционального обеспечения системы и необходимой для нее степени участия в мировом хозяйстве, т.е. скорее самовоспроизведения, чем воспроизведения социально-экономических и структурных параметров, обычных для внешнего мира.

Из положения экономики Китая в мировом хозяйстве как обособленной системы и нынешнего кризиса следуют довольно простые выводы. Во-первых, системное качество хозяйства принципиально достижимо в современных условиях и, возможно, повторимо и перспективно в других очень крупных странах или группах соседних стран. Ничего сверхъестественного в экономике и политике Пекина в последние десятилетия не наблюдалось, а продолжающийся почти тридцать лет динамичный рост был начат из очень тяжелого положения. Стратегия самообеспечения в принципе вполне сочетаема с интенсификацией внешнеэкономических связей, а цели адаптации к внешнему рынку, несомненно, приоритетней, чем задачи интеграции в него, — последний процесс для крупных стран, вероятно, уже не очень возможен.

Учитывая, что стратегия развития и реформы в Китае следовали в общем-то за естественными потребностями развития производительных сил этой страны (а иначе они вряд ли были бы столь успешными), можно предположить, что аналогичные стратегии станут еще популярнее, будут и дальше приводить к формированию достаточно обособленных от мирового хозяйства комплексов — с существенно другими ценовыми, структурными и внутрисистемными характеристиками. Возможно, это приведет к затуханию очередной волны глобализации, а очередной цикл мирового развития будет более ориентирован на внутренние рынки. На сей счет применительно к развитым странам уже существует немало прогнозов, подкрепленных эмпирикой наблюдений за ходом циклических процессов в мировой экономике.

Стало общим местом признание слабеющей экономической роли государства в ходе глобализации (интеграции). Однако закономерность эта, по-видимому, не универсальна и охватывает лишь развитый мир, да и то с определенными оговорками — в связи с регионализацией и замещением национальных институтов довольно мощными региональными, наднациональными. В остальных же странах проблематичность полноценной мирохозяйственной интеграции оставляет для национального государства еще слишком много проблем внутреннего развития, чтобы говорить об ослаблении этой роли. Тем более, что региональная интеграция, развернувшаяся в Азии и Латинской Америке, еще очень далека от завершения, в свою очередь, требуя от национальных государств значительного вмешательства в ход событий. Регионализация в китайском случае (интеграция массива и территорий) отчетливо демонстрирует, сколь огромная роль принадлежит в этом процессе государству. Не исключено, что с затуханием глобализации и в других странах экономическая роль государства будет иметь тенденцию к усилению, углубляемую кризисными явлениями в мировом хозяйстве.

Системность Китая, его внешнеэкономическая (внешнеполитическая) полноценность и самодостаточность позволяют предположить, что дальнейшее развитие этой страны будет сохранять значительную специфику, — то есть базироваться главным образом на внутренних потребностях. Вряд ли КНР будет повторять известные траектории новоиндустриальности, хотя в отдельных частях системы сходство окажется значительным. Тем не менее, учитывая преимущественно аграрный характер массива, а также теоретическую достижимость постиндустриальной стадии на основе уже сложившейся социально-экономической структуры (имеющей все шансы для безболезненного перерастания в смешанную экономику), мы можем предположить, что положение “мастерской мира” отнюдь не обязательно станет очень длительным этапом и основным компонентом будущей эволюции Китая. Китайская городская и сельская действительность во многом противоречат классическим представлениям о

капитализме и имеют немало потенциальных черт нового, постиндустриального строя, в том числе вследствие воспроизведения при активном участии государства некоторых его черт. К ним можно отнести существенно изменившееся взаимодействие науки и производства, многократно возросшие в связи с этим вложения в качество работника, невозможность измерить результаты многих современных видов труда в категориях трудовой теории стоимости, частичное замещение рыночных импульсов субъективным целеполаганием, опережающий рост коллективной собственности, а также индивидуальной (личной) собственности самостоятельно занятых и, соответственно, низкой роли прибыли среди мотивов производства.

Не нужно исключать, что “постиндустриальность” в китайском варианте развития примет формы модернизации деревенской жизни в большей мере, чем это рисуют прогнозы урбанистического свойства. На этом, уже обсуждаемом китайскими футурологами, пути есть немало заманчивых перспектив, впрочем, как и сложных технико-экономических проблем. Ясно, однако, что аграрный компонент китайской цивилизации сыграл и сыграет куда большую роль в ее развитии, чем мы это обыкновенно представляем, — хотя бы потому, что со многими проблемами, стоящими перед нынешними преимущественно городскими экономиками Восточной Азии, Китай уже справился, так и оставшись в основном крестьянским обществом.

Вряд ли это обстоятельство можно продолжать считать за признак отсталости или отставания страны от ближайших соседей по Азии. Тем более, что крестьянство может в ряде случаев оказываться современной горожан. В исследовании известного социолога Алекса Инкелеса (Alex Inkeles) и его коллег, предметом был индивидуальный уровень модернизированности сознания. Выяснилось, что жители сельских районов в Китае (окрестности Тяньцзиня) существенно превосходят горожан по пониманию своей социально-экономической роли (личной эффективности), склонности к продолжению образования, способности к долгосрочному планированию хозяйственной деятельности, умению использовать в работе технические достижения и т.д.⁸

Становление “Большого Китая” в качестве системы в международном разделении труда, как мне кажется, подчеркивает условность категорий, претендующих на универсальный характер, в частности, понятия “переходные” страны. Последнее, скорее, имеет локальный смысл. Вероятно, лучшим критерием для классификации стран “периферии” было бы деление по принципу “интегрирующихся” или “дезинтегрирующихся” пространств — с точки зрения их внутренней социальной и экономической консолидации.

Существование и укрепление относительно обособленных систем и подсистем в современном мире, по-видимому, свидетельствует не только о его многополярности, но и полисистемности, — означая тем самым очередной крах универсально-шаблонных представлений о характере социально-экономических процессов на планете.

Намеки России?

Все это важно для России. У нас акцент часто делается на успешности китайских реформ. Мне кажется не менее плодотворным и актуальным анализ механизмов выработки именно государственной (национальной) политики в этой стране, в том числе в мирохозяйственной области, а также в сфере международного курса.

К сожалению, даже специалисты не всегда точны в воспроизведении и понимании китайских установок. В ноябре 1995 г. тогдашний посол КНР в России Ли Фэнлинь упомянул одну из них: “...для Китая главное, как говорят, это правильное сочетание шести иероглифов, выражающих три понятия: социальную стабильность, развитие и реформу”. Комментируя это высказывание, Н.А.Симония пишет: “В этой формуле важны не только сочетание трех названных факторов успеха, но и сам порядок их перечисления: сначала стабильность как важнейшая предпосылка, затем — развитие как основа и, наконец, реформа, успех которой и предопределен двумя предыдущими факторами. Представляется, что в правильном сочетании

этих трех факторов выражается универсальная значимость китайского опыта, залог успеха реформ в условиях переходного периода в развитии любых стран”⁹.

В действительности соотношение между перечисленными терминами понимается в Китае по-другому: “Реформы — сила, развитие — цель, стабильность — гарантия”. То есть реформам отводится чисто инструментальная (отнюдь не целевая) роль — во всяком случае в указанной системе понятий. К этому нужно добавить, что слово “реформа” может иметь в КНР и чисто пропагандистский смысл — “не было бы компартии, не было бы и реформы”, и сугубо церемониальное значение — “обмен опытом реформ с Россией”, и даже меркантильный оттенок — когда речь идет о привлечении льготных внешних займов.

Я не склонен апологетизировать китайскую стратегию, хотя она не лишена привлекательности и стройности. Замечу лишь, в связи с изложенными наблюдениями, что иные славословия в адрес китайских реформаторов весьма затуманивают действительную картину внешнеэкономических успехов Китая. Рассуждения по поводу гениальности “теории” кошки (“мао лунь”), или “теории” нащупывания (каменей) (“мо лунь”) сильно обедняют, примитивизируют, сводят к эмпиризму китайскую стратегию и политику, в том числе мирохозяйственную. В позднем СССР и новой России явно недооценили степень научной разработанности всего этого комплекса (стратегии, политики, практики) в КНР — в том числе вопросов увязки мирохозяйственного курса с общей экономической стратегией и внешней политикой, а также роли дотошного анализа опыта азиатских стран, ситуации на мировых и региональных рынках и т.п. Наш бесхитростный фритредерский максимализм был принят без всякой оглядки на Китай (а теперь оправдывается натянутыми ссылками на экономический либерализм, якобы имеющий там место), который и хронологически, и институционально, и информационно-интеллектуально опережал (или, лучше сказать, превосходил) СССР перед последним десятилетием XX в. в такой сфере, как развитие мирохозяйственных связей.

В связи с этим особенно малопродуктивными кажутся сравнения России и Китая как реформирующихся в рыночном направлении или осуществляющих “рыночный системогенез” обществ¹⁰. Рассуждая сразу о создании “рыночной инфраструктуры и институтов”, авторы таких построений, как правило, совершают типичную ошибку в своих наблюдениях над ходом экономической эволюции КНР в последние два десятилетия. Успех Китая связан с тем, что сначала там создавали *товарную* экономику, главным “институтом” которой является в конечном счете национальное предприятие, способное к росту выпуска продукции и повышению ее качества. Лишь спустя длительное время — после нахождения способов балансирования между спросом, ценами и предложением, интересами предприятия и общества — в Китае заговорили о рыночном хозяйстве.

Вопросы формирования и эволюции внешнеэкономической стратегии Китая в последние 25 лет лежат как бы несколько в стороне от “постиндустриальной” тематики. Если оглянуться назад, то и вовсе натянутой покажется связь между рождавшимися в западных университетах на рубеже 70-80-х годов представлениями о новом обществе или этапе (научно-техническом, постиндустриальном, информационном, посткапиталистическом и даже постэкономическом — единого названия ему еще не придумали) и политическими установками, разрабатывавшимися в Чжуннаньхае. Слишком уж значительным представлялся тогда разрыв между КНР и миром развитых стран, а также рождавшимися в этих мирах концепциями.

Однако со временем выяснилось, что многие китайские установки вполне современны, более того, перспективны. Во всяком случае они обеспечили и уточнение парадигмы развития и сравнительно дешевые и, вдобавок, постоянно расширяющиеся каналы получения реальных плодов “постиндустриальности”. Китай в 70-е годы явно опоздал с посадкой в “постиндустриальный вагон”. Однако это опоздание обернулось к его выгоде, поскольку успевшие сесть в вагон, по меткому выражению Л.Ларуша, не заметили или не хотят замечать, что состав так и не тронулся с места.

“Постиндустриальность” части внешнего мира не признается в китайской политике ее исключительным, единственным, главным или постоянно усиливающимся свойством. Технологическая и информационная революция, скорее, воспринимается в Китае в качестве

одного из многих и привычных свойств развитых стран — и, что существенно в нынешних условиях, вполне достижимой (в течение, разумеется, длительного периода) стадией собственного развития. Парадоксально, но значение научно-технических вопросов, проблем, связанных с передачей технологии и т.п., в течение последних двадцати лет даже несколько убывало в содержании диалогов Пекина с развитыми странами по мере роста научно-технической независимости КНР.

Перевоорачивая многие устоявшиеся представления, восточноазиатский кризис, несомненно, обладает и мощным разрешающим действием, демонстрируя новые, а еще чаще — старые истины экономической теории и практики. Особенно интересен в этом смысле период 1995-1998 гг. — время нарастания кризисных явлений в хозяйствах стран Восточной Азии и одновременного перехода экономики Китая в новое качество. Исключительно же высокий темп изменения ситуации в восточноазиатском регионе в последние месяцы заставляет буквально “на ходу” пересматривать привычные положения о расстановке сил в современной политике и мирохозяйственных тенденциях, а поступающая информация нередко носит действительно сенсационный характер. Особое положение КНР, оказавшейся менее других своих соседей затронутой негативными последствиями кризиса — экономическими, социальными, психологическими, делает эту страну чрезвычайно привлекательным объектом изучения и сотрудничества. К сожалению, реакция на это обстоятельство в России остается замедленной.

Несомненна потребность России в особых отношениях с КНР, вытекающая не только из географической близости и общности некоторых уровневых и социально-исторических параметров, но и новой, достаточно необычной роли этой страны в международном разделении труда. Однако специфику таких отношений я бы не торопился непременно связывать с расширением масштабов двустороннего сотрудничества в ближайшем будущем. Куда важнее качественные аспекты кооперации, быть может, обоюдное укрепление самообеспеченности партнера. Китайский опыт нам нужен — в той части и того периода, которые актуальны для предельно упрощившихся задач восстановления хозяйственной системы. Я имею в виду 80-е годы.

В куда меньшей степени актуально для России сотрудничество с Китаем “в рамках азиатско-тихоокеанской кооперации”. Когда-то модное, но все более туманное понятие “АТР”, как представляется, несколько вытеснило из российской политики сугубо континентальный аспект отношений с азиатским соседом. Учитывая же преимущественно внутренний характер стоящих перед Китаем проблем, соответствующую направленность его долгосрочных планов, важно определить и, возможно, подчеркивать именно сухопутную специфику наших связей и взаимодействий.

Китайские международники уже давно сделали вывод о “возвышении Азии”. “При общем спаде в мировой экономике, — отмечал, в частности, известный специалист Хэ Фан, — Азия становится движущей силой мирового хозяйства. То, что развитие экономики Азии постепенно ослабляет ее зависимость от США, уже стало реальностью, у нее вполне достаточно сил для самостоятельного развития внутренней экономики”. Характерно, что ученый разделяет понятия “Азия” и “АТР”¹¹. Тем самым азиатское самообеспечение обозначается как одна из важных глобальных тенденций XXI в.

Интересно, что схожие оценки перспектив развития азиатской и тихоокеанской экономики высказываются и некоторыми тайваньскими специалистами-международниками. Один из них, Юн Вэй, отмечая быстрое развитие связей между Тайванем и Китаем в 90-е годы, делает следующее заключение: “Все эти цифры свидетельствуют о том, что, хотя традиционные отношения с океаническими нациями остаются важными для Китайской Республики на Тайване, действительной сферой расширения ее отношений с внешним миром является континентальный Китай, в конечном итоге такое расширение будет включать также связи с Россией, Вьетнамом, Северной Кореей и Центральной Азией. Соответственно, для будущего Тайваня необходима смешанная стратегия развития: укрепление отношений с США, Японией, Юго-Восточной Азией и Европой следует дополнить ориентированными в будущее связями с материковым Китаем, Россией и другими странами континентальной Азии. Более того, в

отсутствие формальных политических отношений нужно интенсивно налаживать функциональные и социально-экономические связи со всеми этими зонами”¹².

Сближение уровней социально-экономического развития России и Китая, происходившее в 90-е годы, однопорядковость макроэкономических индикаторов в расчете на душу населения, размеры хозяйств и, что, самое главное, незавершенность индустриальной стадии эволюции в обеих странах объективно способствуют нарастанию общности в подходах России и КНР к основным проблемам “постиндустриального” мира.

При всей разнице в структуре экономики Россию и Китай объединяет потребность в высоких темпах “обычного” роста и достаточно туманная перспектива расширения сбыта в развитых странах. При всех временных ускорениях становится очевидной недостаточность американского рынка как “локомотива”, ориентированного на экспорт развития. “Континентализация” (“азиатизация”) Китая, как следствие этой недостаточности, выглядит мощным стимулом для двустороннего сотрудничества в будущем в качестве важного элемента возрождения производительных сил России, исторически формировавшихся в парадигме “освоения”, “масштаба”, “заделов на будущее” и т.п.

Стратегическое партнерство с Китаем останется пустым лозунгом без подведения под него адекватной экономической базы, которая, на мой взгляд, могла бы включать проработку идей коллективного самообеспечения, взаимного укрепления экономической и военной безопасности партнеров, повышения их технологической независимости, возможно, выпуска стимулирующих сотрудничество денег (бартерных, клиринговых, кредитных) и т.д.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ В ЭПОХУ РЕФОРМ

Политика КНР — внутренняя и внешняя — нередко предстает на страницах самых разных изданий как некий архаичный антипод всевозможных модных построений, включающих помимо “постиндустриальности” “создание демократических институтов”, “открытого общества” и т.п.

Между тем китайская внешняя политика не только чутко реагировала на “постиндустриальность”, которую в Китае обычно называют “новой технологической революцией”, реже — “информационной революцией”. На мой взгляд, международная ситуация оказалась *мощным рычагом* приобщения КНР к достижениям научно-технического прогресса и в известном смысле — инструментом создания (сохранения) постиндустриальных заделов в китайском обществе. Более того, рискну заметить, что сама внешняя политика Китая содержит в себе некоторый элемент “постиндустриальности” — если под последней иметь в виду информационное и научное обеспечение международной политики. Только за последние восемь лет в КНР создано 22 научно-исследовательских института, занимающихся прогнозированием в различных областях знаний, включая внешнеполитическую проблематику. В этой части внешняя политика КНР, например, очень выгодно отличается от внешней политики позднего СССР и нынешней России — во многом ставшей одной из причин выпадания этой страны не только из состояния приближенности к постиндустриальной стадии, но даже и из режима простого промышленного воспроизводства. Не говоря уж о негативном воздействии этой политики на финансовое положение РФ, которое прямо противоположно китайским позициям в аналогичной сфере.

Яркой иллюстрацией приобретений, совершенных при помощи точного анализа международной обстановки, кропотливой и активной внешнеполитической деятельности, является, безусловно, восстановление китайского суверенитета над Сянганом — одним из крупнейших постиндустриальных анклавов в Азии — с сохранением и даже усилением всех его информационно-маркетинговых и финансовых функций в хозяйстве Китая.

Справедлива, вероятно, и более широкая постановка проблемы: именно внешнеполитический курс КНР, точнее — его своевременная корректировка в рамках общей смены парадигмы развития, обеспечил Пекину разветвленные, сравнительно дешевые и, вдобавок, постоянно расширяющиеся каналы получения реальных плодов “постиндустриальности”.

1. ПАРАДИГМА КИТАЙСКОЙ РЕФОРМЫ — ОСНОВА ВЗВЕШЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КНР

По проблемам реформы в КНР, формально исчисляемой с конца 1978 года, написано немало. Расхожим является представление о том, что на пути экономических преобразований Китай прошел гораздо большее расстояние, чем в области политических изменений. Общим местом у многих авторов статей о КНР стало противопоставление заметных шагов по маркетизации экономики, высоких темпов экономического роста, укрепления связей с мировым хозяйством и т.п. с “законсервированностью” политической организации китайского государства и общества (при этом имеются в виду “сохранение авторитарной власти” КПК, “отсутствие гражданских политических свобод”, “произвол партийно-государственной бюрократии над населением страны” и др.).

При этом с сохранением авторитаризма в КНР, “азиатским способом” контроля над экономикой часть аналитиков связывает успехи страны в экономическом развитии. Другие же, наоборот, видят в чрезмерной роли партийно-государственного надзора основное препятствие для перехода КНР в разряд “современных рыночных цивилизаций”. Общим пороком обоих подходов является переоценка уровня экономических достижений КНР

и недооценка изменений в политической жизни страны. Необходимо отметить, что Китай за два десятилетия реформ прошел по пути политических преобразований значительный путь. И достижения здесь ничуть не меньше, — а, может, даже и больше, — чем в экономике, если иметь в виду глубину изменений.

Прежде всего, экономические реформы были бы невозможны без смены политико-идеологической парадигмы развития. На смену левацкому лозунгу “классовую борьбу — во главу угла” в свое время пришла принципиально иная установка “практика — критерий истины”. В реальности это означало преобладание прагматического подхода к решению экономических проблем, отказу от не оправдавших себя идеологических догматов в деле хозяйственного строительства (“Не важно какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей”). Не менее важно, что одним из основных приоритетов нового руководства стали стремление к бесконфликтному, по возможности, развитию общественно-политических отношений, внимание к укреплению социальной стабильности.

В ходе поиска наиболее оптимальных концепций и механизмов реформы дэновским руководством стимулировался определенный плюрализм мнений в обсуждении различных национальных проблем. Конечно, партийный контроль над прессой сохранялся, временами усиливаясь или ослабевая, но это не очень мешало китайским авторам выражать свое мнение по тем или иным специальным вопросам. Особенно это было характерно для 80-х годов. Но и после трагических событий на площади Тяньаньмэнь и последовавшим за ними ужесточением идеологического контроля над средствами массовой информации, определенный плюрализм мнений (при условии, что критика не затрагивала фундаментальных основ государственно-политического устройства КНР) не являлся чем-то невозможным.

Демократизация политической жизни в КНР и значительное ослабление влияния старых идеологических догматов на умонастроения китайцев в сочетании с приоритетом задач хозяйственного развития обусловили активизацию разработок по формированию новых внешнеполитических концепций Китая. Последние стали органичной частью нового курса.

Нынешняя внешняя политика КНР строится на концептуальных установках, разработанных в 80-е годы. Еще до коллапса мировой социалистической системы, распада СССР и крушения двухполюсного мира китайское руководство выработало достаточно продуктивную и, подчеркнем, новую парадигму отношений КНР с внешним миром. Процесс ее создания был постепенным, что характерно для китайских реформ в целом.

2. КИТАЙСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РЕФОРМ (РУБЕЖ 70-х- 80-х ГОДОВ): ПОВОРОТ К РЕАЛИЗМУ

Еще до декабря 1978 г., то есть до нормального начала китайской реформы, китайское руководство отказалось от маоистского тезиса о неизбежности возникновения в ближайшем будущем мировой войны. С конца 1977-начала 1978 гг. в КНР все чаще стали говорить о возможности “отсрочить” ее начало и добиться мирной “передышки” для осуществления планов экономического строительства. Заметим, что вплоть до начала 80-х годов речь шла именно об “отсрочке” и “передышке”, а не о принципиальной возможности предотвратить возникновение мировой войны. Это объяснялось во многом тем, что программа “четырёх модернизаций”, провозглашенная еще при жизни Мао Цзэдуна Чжоу Эньлаем и закрепленная в решениях XI съезда КПК в 1977 году, предусматривала для усиления мощи КНР лишь относительно короткий период времени (10-20 лет). В ту пору китайское руководство, возглавляемое Хуа Гофэном, надеялось быстро укрепить экономику страны путем простого хозяйственного ускорения на имевшейся базе и закупок необходимых для этого технологий и оборудования за рубежом.

Решениями декабрьского (1978 г.) пленума ЦК КПК такой курс был практически отвергнут и в основу китайской модернизации была положена политика, в большей степени учитывавшая китайские реалии.

Тем не менее внешняя политика КНР на рубеже 70-х — 80-х годов оставалась внешне неизменной: продолжалась политика “единого антигегемонистского фронта”, провозглашенная еще при жизни Мао Цзэдуна. Сказались здесь, видимо, и инерция старого мышления, и особенности международной ситуации вокруг Китая в конце 70-х годов. Все же между политикой “единого фронта” середины 70-х годов и политикой “единого фронта” рубежа 70-х-80-х годов существовали значительные различия.

В момент возникновения, то есть в середине 70-х годов, политика “единого фронта” представляла в немалой степени средство политической и идеологической дискредитации СССР в глазах мирового сообщества (стран “третьего мира”, главным образом) в продолжавшемся с начала 60-х годов китайско-советском соперничестве за обладание монополией на “истину”. Китайское руководство считало тогда, что “угнетенные народы различных стран” должны решительно подняться на вооруженную борьбу против “мирового колониализма, неоколониализма и империализма”, не боясь новой мировой войны (“либо война вызовет революцию, либо революция предотвратит войну”). Поэтому политика Москвы,

направленная на предотвращение глобального конфликта, рассматривалась как “капитулянтство”, а стремление СССР стать единоличным лидером мировых национально-освободительного и коммунистического движений расценивалось как “гегемонизм”. Неудивительно, что политика “единого фронта” возникла на пике политики разрядки в отношениях СССР с США и со странами Западной Европы, а также в годы усиления СССР в зоне “третьего мира”, последовавшем за победой в ряде развивающихся стран сил, ориентированных на развитие дружественных связей с СССР (Ангола, Мозамбик, Эфиопия и др.).

По мере развития процесса разрядки и усиления военно-политического влияния СССР в мире усиливалась и критика Москвы китайской стороной. Качественно нового уровня она достигла в середине 70-х годов, когда СССР был назван китайскими представителями “главным источником войны”. По всей видимости, это объяснялось такими причинами, как подписание в августе 1975 года Хельсинкского акта, ознаменовавшего пик разрядки в Европе; прекращение войны во Вьетнаме, вывод оттуда американских войск и последовавшие за этим ряд заявлений представителей США об “уходе из Азии”, что создавало, по оценке китайских руководителей, дополнительные возможности для усиления советского влияния в регионе; образование сохранявшего дружественные отношения с СССР единого Вьетнама, во внешней политике которого китайские руководители приблизительно с этого времени начали видеть реальную угрозу своим интересам в ЮВА; усиление позиций СССР в зоне “третьего мира”.

Провозгласив политику “единого антигегемонистского фронта”, китайские руководители стремились, по-видимому, привлечь внимание мирового сообщества к неблагоприятной ситуации у китайско-советской границы, попытаться настроить его в пользу КНР, а также подготовить почву для сближения со странами Запада, прежде всего — с США, в целях нормализации межгосударственных отношений, что могло бы способствовать усилению позиций КНР на международной арене.

На рубеже 70-х-80-х годов наибольшее развитие (в отличие от середины 70-х годов, когда идеология преобладала во внешней политике КНР) получил политико-стратегический аспект курса “единого фронта”. В некоторой степени это было связано с еще более осложнившейся ситуацией у китайских границ: с конца 70-х годов к напряженности вдоль китайско-советской, китайско-монгольской и китайско-индийской границ прибавилась конфронтация на китайско-вьетнамской границе, ввод советских войск в соседний Афганистан, дальнейшее усиление советского военного потенциала на Дальнем Востоке и в западной части Тихого океана, а также охлаждение отношений Китая с КНДР.

В целях улучшения своего стратегического положения КНР пошла на активизацию связей с другими государствами мира, жертвуя прежними идеологическими установками. В отличие от предыдущего периода, когда приоритетное положение в системе внешних связей Китая занимали страны “третьего мира”, на рубеже десятилетий главный упор был сделан на развитие отношений со странами Запада. Во внешней политике усилилось значение экономических факторов. Страны Запада, в частности, предполагалось использовать в качестве главных источников капиталов и передовой технологии, хотя это сочеталось с недооценкой всей значительности перемен в предстоящей модернизации народного хозяйства КНР, а также неоправданными надеждами на возможность “купить модернизацию”.

Не исключено также, что на рубеже 70-х-80-х годов, то есть в период резкого обострения советско-американских отношений, китайское руководство рассчитывало и на содействие администрации США в быстром решении тайваньской проблемы в обмен на поддержку Пекином идеи “параллельных стратегических интересов”. Политика “единого фронта” использовалась в этих условиях в целях повышения стратегической значимости Китая в глазах ведущих западных держав.

Проводившийся на рубеже 70-х-80-х годов внешнеполитический курс КНР был также тесно связан с внутривнутриполитической ситуацией в Китае, отражая прямо или опосредованно весьма острую в этот период борьбу в китайском руководстве по вопросу об отношении к маоистскому наследию, вокруг разработки новой политики. Лишь к середине 1981 года позиции Дэн Сяопина и его сторонников в руководстве КНР окончательно укрепились, что открыло путь к углублению реформ и, соответственно, к дальнейшему пересмотру внешнеполитических установок.

Проведение политики “единого фронта” позволило Китаю за короткий период времени резко улучшить отношения со странами Запада. В декабре 1978 г. было опубликовано совместное китайско-американское коммюнике об установлении с января 1979 г. дипломатических отношений между двумя странами, в котором США признавали правительство КНР в качестве единственного законного правительства Китая. В июле 1979 г. КНР и США подписали соглашение о торговле, которое предусматривало создание прочной долговременной основы для дальнейшего развития двусторонних торгово-экономических связей. Помимо этого между двумя странами в конце 70-х годов был подписан ряд соглашений о сотрудничестве в области науки и техники, культуры, образования, сельского хозяйства, освоения космического пространства и некоторых других

областях. На рубеже 70-х-80-х годов между представителями двух стран резко активизировались контакты по различным линиям и на различных уровнях, быстрыми темпами рос объем торгово-экономических отношений: объем двусторонней торговли вырос в период 1977-1982 гг. более чем в 15,5 раз — с 391 млн. долл. в 1977 г. до 6,07 млрд. долл. в 1982 г.

Улучшение отношений с США в значительной степени способствовало прогрессу связей Китая с другими развитыми капиталистическими странами, и прежде всего Японией, на которую часть китайского руководства возлагала особые надежды в осуществлении модернизации. В 1978-1980 гг. между двумя странами были подписаны соглашения о торговле, содействии культурному обмену, научном и техническом сотрудничестве, а также достигнут ряд других соглашений и договоренностей. В августе 1978 г. между КНР и Японией был заключен договор о мире и дружбе. С конца 70-х годов на регулярной основе стали проводиться встречи руководителей двух стран, стабильно развивалась торговля, объем которой увеличился за период 1977-1981 гг. более чем в три раза — до четверти всего внешнеторгового оборота КНР.

3. 80-е ГОДЫ: КУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Дав сильный импульс развитию отношений КНР со странами Запада, политика “единого фронта” тем не менее не оправдала многих надежд китайского руководства. В начале 80-х годов стало очевидно, что Вашингтон не намерен способствовать воссоединению Тайваня с материковой частью Китая в обмен на поддержание китайской стороной отношений “стратегического партнерства” с США. Более того, с приходом администрации Рейгана США активизировали связи с Тайванем — в том числе в военной области — в ущерб отношениям с КНР. Сильно преувеличенными оказались и расчеты провести модернизацию страны за счет помощи западных государств. Последние пошли на предоставление Китаю кредитов и займов, с большим энтузиазмом восприняли идею о поставке в КНР больших партий различных товаров, в том числе и промышленного оборудования (тем более, что в то время развитые капиталистические страны переживали структурную перестройку, в ходе которой высвобождалось большое количество морально устаревшего оборудования и технологий). Однако ограничения на передачу передовой технологии оставались весьма строгими. В мае 1982 г. Дэн Сяопин в беседе с руководителем Либерии выразил свое разочарование в западных государствах: “В настоящее время мы проводим политику экономической открытости, стремимся использовать иностранные капиталы и передовую технологию... что помогло бы нам в развитии экономики... Однако получить капитал и передовую технологию из развитых государств — нелегкое дело. У некоторых людей там по-прежнему на плечах головы старых колониалистов, они желают нам смерти и не хотят, чтобы мы развивались”.

В начале 80-х годов стала очевидной вся бесперспективность политики “единого фронта” и отношений “стратегического партнерства” с США как для обеспечения национальной безопасности, так и для реализации интересов внешнеполитической стратегии КНР в целом. С приходом администрации Рейгана США резко активизировали деятельность по укреплению своих военных и политико-стратегических позиций в мире. Обнаружилась тенденция к падению роли КНР в системе внешнеполитических приоритетов США. В Китае не могли также не отметить, что СССР столкнулся с целым рядом серьезных трудностей политического и экономического порядка внутри страны и на международной арене. В этих условиях блокирование с США в целях сдерживания СССР уже не выглядело продуктивным.

Несбалансированность отношений КНР с двумя “сверхдержавами” способствовала лишь эскалации напряженности в китайско-советских отношениях, а это противоречило решению главной внешнеполитической задачи КНР -обеспечению мирного окружения для проведения курса модернизации. Кроме того, заранее предопределенная привязка внешнеполитического курса КНР к внешней политике одной из “сверхдержав”, как это диктовалось реалиями политики “единого фронта”, существенно затрудняла для КНР возможность внешнеполитического маневрирования, создавала в глазах представителей других государств впечатление зависимости Китая от США, что, разумеется, не способствовало повышению международного статуса КНР.

Таким образом, в начале 80-х годов стало очевидно, что конфронтационная и “реактивная” (на действия “сверхдержав”) политика “единого фронта” изжила себя, вступив в противоречие с новым пониманием коренных внешнеполитических интересов КНР. Прошедший в сентябре 1982 г. XII съезд КПК зафиксировал фундаментальный сдвиг в развитии внешней политики Китая. Особое значение в этом смысле имели два вывода съезда: о принципиальной возможности полного предотвращения новой мировой войны и необходимости строить отношения с СССР и США на сбалансированной основе путем проведения независимой внешнеполитической линии. Ориентация на возможность обеспечения мира и переход к сбалансированной политике в отношениях с “двумя сверхдержавами” стали важными факторами в строительстве новой внешнеполитической доктрины и концептуальных основ национальной безопасности.

Характерным шагом в этом направлении было вовлечение в процесс формирования внешнеполитических решений широкого круга китайских специалистов в области международных отношений. Вплоть до начала 80-х годов принятие решений по вопросам внешней политики КНР было компетенцией узкого круга высших партийно-государственных чиновников. На рубеже 70-х — 80-х годов в Китае создаются или возобновляют работу научно-исследовательских учреждения, занимающиеся проблемами международных отношений, в том числе Институт современных международных отношений, непосредственно связанный с Госсоветом КНР; пекинский Институт международных проблем и шанхайский Институт международных проблем, имеющие прямые связи с МИД КНР; пекинский Институт международных стратегических исследований, связанный с министерством обороны и Генеральным штабом НОАК. В 1982-1983 гг. в целях мобилизации китайских специалистов для исследования международных отношений и включения виднейших ученых в процесс разработки и принятия решений при Госсовете КНР был создан Центр исследований международных проблем во главе с Хуань Сяном. Наконец, с начала 80-х годов в Китае увеличивается количество научных изданий, посвященных вопросам внешней политики КНР и международных отношений (с 1981 г. возобновляется издание журнала “Гоцзи вэньти яньцзю”, начинается издание журнала “Сяньдай гоцзи гуаньси”, выходившего до 1985 г. нерегулярно, а с 1986 г. — ежеквартально).

Установка на развитие реалистического внешнеполитического курса, а также подготовка для этого научно-исследовательской инфраструктуры способствовали значительному оживлению в области теоретических разработок внешней политики КНР. В период 1984-1986 гг. происходит становление новых концептуальных основ китайского подхода к основным проблемам мирового развития, углубляется и детализируется ряд внешнеполитических принципов и установок, разработанных в предыдущие годы.

В анализе международной ситуации стало преобладать видение мира с позиции многополюсности. Эта концепция, получив широкое распространение среди китайских политологов с середины 80-х годов, в качестве официальной точки зрения Пекина на ситуацию в мире была впервые представлена в мае 1988 г. в речи министра иностранных дел КНР Цянь Цичэня. По мнению большинства сторонников этой концепции, тенденция к многополюсности является положительным явлением. Отражая стремление различных государств мира к проведению независимого политического курса на мировой арене, она ведет к демократизации международных отношений и означает конец безраздельного доминирования “одной-двух сверхдержав”. Суть концепции многополюсности сводится к признанию объективной закономерности развития нескольких “центров силы” и, следовательно, необходимости поддержания между ними мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. В соответствии с этим акцент во внешнеполитическом курсе КНР переносится с использования противоречий в системе международных отношений, как это предусматривалось “теорией трех миров” и политикой “единого фронта”, на необходимость обеспечения баланса интересов всех заинтересованных сторон. В воплощении принципа многополюсности КНР видела путь к такому мироустройству, в котором Пекин мог бы играть более активную роль, несмотря на отсутствие адекватного силового потенциала. Помимо этого, выдвижение концепции многополюсности в качестве одного из основополагающих принципов китайской внешней политики отражало стремление КНР к утверждению себя в качестве реального центра силы в международной политике.

Другим постулатом, лежащим в основе нынешнего китайского курса на превращение КНР в один из политических и экономических центров мира, стала идея “комплексной государственной мощи”. Ее суть в том, что в современных условиях сила государства и его влияние на международной арене определяется не только величиной военного потенциала, но и уровнем экономического и научно-технического развития, а также взвешенным внешнеполитическим курсом, при этом доминирующим фактором является экономический потенциал страны. “В конечном счете,- заявил на международной конференции по взаимосвязи между разоружением и развитием глава китайской делегации заместитель министра иностранных дел КНР (с апреля 1988 г. по 1997 г. — глава внешнеполитического ведомства Китая) Цянь Цичэнь, — обеспечение национальной независимости и государственной безопасности зависит от экономического развития, национальной мощи и активного вовлечения в борьбу за защиту регионального и международного мира, но ни в коем случае — от простого наращивания вооружений”.

Таким образом, возобладание в Китае тенденций к усилению внимания к проблемам экономического развития привело к отказу от довлениа в китайской внешней политике идеологических догм, переходу к более осмысленной, целесообразной внешнеполитической стратегии, отвечающей потребностям курса хозяйственных реформ. Усилия, направленные на создание мирного окружения вокруг китайских границ, стремление к развитию продуктивного диалога с различными государствами мира, понимание важности усиления роли Китая в многостороннем сотрудничестве стран мира — все это важные составные части современной китайской внешней политики. Переход к новой внешнеполитической стратегии, основанной на признании и учете сложившихся реалий международной ситуации в мире и регионе, снижении (по сравнению с годами правления Мао Цзэдуна) роли военного фактора в китайской внешней политике, отказ КНР от попыток изменить

сложившийся баланс сил на международной арене военно-силовыми средствами способствовали дальнейшей диверсификации и усилению конструктивных элементов в китайской внешней политике.

4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ В 90-е ГОДЫ

Резкое изменение расстановки сил на международной арене на рубеже 80-х-90-х годов вызвало некоторые коррективы во внешней политике Китая.

Если к концу 80-х годов устранение практически всех основных противоречий в советско-американских и советско-китайских отношениях, а также бесконфликтность китайско-американских отношений давали основание говорить об исчезновении геополитической структуры “большого треугольника”, то события на площади Тяньаньмэнь, повлекшие за собой обострение отношений КНР с США и другими странами западного мира, а также кардинальные изменения в СССР, закончившиеся его распадом и крахом коммунизма, вновь заставили китайских руководителей подумать о возрождении политики “треугольных отношений” как одного из возможных средств противодействия чрезмерному влиянию США на международной арене. Превращение мира из биполярного в однополюсный, в котором определяющую роль начинает играть Вашингтон, в сочетании с отказом России от соперничества с США практически по всем направлениям мировой политики выдвинуло КНР с ее быстро растущим потенциалом и приверженностью идеологически неприемлемой для многих в США модели национального развития на место одного из главных оппонентов американскому внешнеполитическому курсу.

В целях усиления своих позиций перед лицом американского давления Китай был вынужден реанимировать политику, диктуемую правилами игры в “большом треугольнике” Вашингтон-Пекин-Москва. Существование и функционирование структуры “треугольника” определяются прежде всего степенью конфронтационности сторон и их силовым потенциалом. Логика “треугольных отношений” подразумевает, что две более слабые и/или более пассивные стороны объединяются для “обороны” против более сильной и/или агрессивной стороны. Если в 70-х годах в качестве “наступающей” стороны выступала Москва, то с начала 80-х годов — и, особенно, с конца прошлого десятилетия — эта роль все больше переходила к США. В новых условиях китайская сторона обратила особое внимание на укрепление отношений с более “слабым” из двух партнеров, то есть с СССР. Укрепление сотрудничества с Москвой могло бы способствовать усилению международных позиций Пекина, а также росту экономического и военного потенциалов КНР.

Таким образом, возникла основа для сближения двух сторон на базе неантагонистического противостояния доминированию США в регионе и в мире в целом.

Свою специфику на характер развития отношений между Москвой и Пекином на рубеже 80-х-90-х годов наложили особенности внутривнутриполитической ситуации в двух странах.

К концу восьмидесятых годов как в КНР, так и в СССР приобрели значительное влияние силы, выступавшие против многих важных направлений официального курса в области внешней и внутренней политики двух стран. В КНР это проявилось в ходе и после подавления студенческих выступлений на площади Тяньаньмэнь (июнь 1989 года). После тяньаньмэньских событий среди китайского руководства усилились позиции консервативных сил, а также роль “наведшей порядок” армии. Это создало основу для постановки задачи ускорения модернизации вооруженных сил КНР. Результатом июньских событий в Пекине стала и определенная политическая изоляция КНР на международной арене. Предпринятые против КНР санкции западных стран в сочетании с активизацией сторонников антикапиталистического пути развития Китая, выступавших против “чрезмерно активного” сотрудничества со странами Запада, объективно вели к усилению ксенофобии в китайской внешней политике в отношении государств Запада.

В СССР в этот период времени также наблюдалось усиление позиций реакционных представителей военно-промышленных кругов и партийно-административной номенклатуры, выражавших неприятие “проамериканского” курса М.С. Горбачева как “подрывавшего национальную безопасность”, а также его “антисоциалистической” внутренней политики, в том числе программы снижения военных расходов и конверсии военного производства. В качестве альтернативы они предлагали более тесное сотрудничество с “социалистическим Китаем” и максимально полное использование опыта этой страны во внутренней политике. При этом представители советского демократического движения стремились к установлению тесных связей с идеологически близкими политическими и государственными структурами Запада и Востока, пренебрегая контактами с представителями “тоталитарных коммунистических режимов”.

Чрезмерная роль политико-идеологического фактора в советско-китайских отношениях рубежа 80-90-х годов привела к тому, что они стали развиваться не по всему спектру обычных межгосударственных отношений, но прежде всего в русле, определявшемся лидерами консервативного крыла. Заинтересованность

КНР в активизации контактов с представителями советской партийной номенклатуры и военного руководства объяснялась не только соображениями идеологического или политико-стратегического характера (воспрепятствовать дальнейшей экспансии “буржуазной идеологии” и “мирной эволюции” социалистических стран к капитализму, уменьшить давление на Пекин со стороны Запада, ослабить международную изоляцию КНР после событий на площади Тяньаньмэнь), но и стремлением к быстрому обновлению вооруженных сил Китая. На этом настаивали сторонники более быстрой модернизации и укрепления китайских вооруженных сил в лице военных и партийных леворадикалов, по-прежнему рассматривавших мировую политику в военно-силовых категориях. Активное военное сотрудничество СССР и КНР в сочетании с тесными связями консервативных партийных кругов двух стран грозило вылиться в случае победы августовского путча в формирование военно-стратегического альянса Москвы и Пекина, что было чревато непредсказуемыми последствиями для всей системы международных отношений. В прессе, которая поддерживалась силами, попытавшимися организовать переворот в августе 1991 г., стала популярной позиция, что “обе страны по раздельности противостоят одному и тому же врагу”, и это представлялось основой для “всеобъемлющего взаимодействия”.

Провал августовского путча, отстранение от политической власти в России коммунистической партии, победа в Москве антикоммунистических и в то время прозападных сил затормозили процесс сближения Москвы и Пекина. Тем более, что в своих отношениях с Пекином в то время российские власти, охваченные прозападным “романтизмом”, стремились не отходить от установленных США и Западной Европой стандартов, старательно подчеркивали расхождения с китайским руководством в подходах к правам человека. Китай в системе российских внешнеполитических приоритетов ставился после США, стран Западной Европы, Японии и Южной Кореи.

Тем не менее в декабре 1991 г. Китай заявил о признании России, а в 1992 г. китайским руководством было принято решение по всемерному стимулированию расширения и углубления отношений между Россией и КНР. В целях активизации российско-китайского сотрудничества Китай использовал уже имевшиеся контакты с Россией, прежде всего по линии военно-промышленных связей. Кроме того, были предприняты усилия по налаживанию и укреплению прямых торгово-экономических связей между отдельными предприятиями и органами местной власти обеих стран, что стало шагом по формированию новой базы двусторонних отношений.

В 1992 г. не было кардинальных дипломатических прорывов в российско-китайских отношениях, но их развитие приобрело гораздо более широкий и активный характер. Не будет преувеличением сказать, что в течение 1992 г. Москве и Пекину удалось преодолеть взаимное недоверие и неприязнь, обусловливавшиеся идеологическими причинами. Перспективы получения конкретных выгод от налаживания сотрудничества, прежде всего в военно-технической сфере, на основе достигнутых соглашений с представителями еще советского истеблишмента, привели к тому, что прагматический подход взял верх, и к визиту Б.Ельцина в Пекин (декабрь 1992 г.) были созданы все условия для их дальнейшей интенсификации. В 1992 г. осуществлялись многочисленные контакты самого различного уровня, а в декабре того же года состоялся визит президента России в КНР. Среди подписанных во время визита 1992 г. документов была совместная декларация об основах взаимоотношений между КНР и РФ. В ней не только были закреплены взаимные обязательства не вступать в союзы, направленные против другой стороны, но и содержалось положение о том, что ни Россия, ни Китай не допустят, чтобы их территория была бы использована третьими государствами в ущерб безопасности другой стороны.

К середине 90-х годов стало еще более ясно, что политическая мотивация по логике “треугольных отношений” стала преобладающей в российско-китайском сближении. Во время посещения Пекина в январе 1994 г. А.Козырев заявил о том, что Россия хочет поднять отношения с КНР на уровень стратегического партнерства. По итогам визита в Россию Председателя КНР, Генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя (сентябрь 1994 г.) была подписана совместная российская декларация, согласно которой двустороннее сотрудничество должно характеризоваться “новыми отношениями конструктивного партнерства”.

Сближение двух стран облегчалось тем, что стороны могли оказать взаимную морально-политическую поддержку в важных для партнера вопросах при минимальных усилиях для себя: в частности, по проблемам расширения НАТО и ситуации вокруг Тайваня. Это и было сделано в Совместной российско-китайской декларации, подписанной Б.Н.Ельциным и Цзян Цзэмином 25 апреля 1996 г. в Пекине и зафиксировавшей формулу “равноправное доверительное партнерство, направленное на стратегическое взаимодействие в XXI веке”. Китай заявил, что с пониманием относится к позиции России против расширения НАТО на Восток и что он поддерживает меры и действия, предпринимаемые РФ в целях защиты единства страны, считая чеченскую проблему внутренним делом России. Россия в свою очередь подтвердила, что правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, и что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. В связи с этим Россия не будет устанавливать официальных отношений с Тайванем и

поддерживать с ним официальные контакты. Россия также признает, что Тибет — неотъемлемая составная часть Китая.

1996 г. ознаменовался, помимо визита Б.Ельцина в Китай, приездом в Москву премьера Ли Пэна. В результате были достигнуты договоренности активизировать контакты на высшем уровне (не реже одного раза в год), а также было положено начало работе структуры по типу российско-американской комиссии Черномырдин-Гор, встречи в рамках которой будут проводиться не реже двух раз в год.

Апрельская встреча на высшем уровне 1997 года характеризовалась стремлением продемонстрировать всему миру — и, конечно, США, прежде всего — близость позиций двух держав по основным вопросам геополитики. Это нашло отражение в Совместной Декларации о многополярном мире и формировании нового международного порядка. Документ является уникальным для постсоветской России, поскольку подобных документов не подписывалось ни с одной другой страной мира.

Надо обратить внимание, что Россия и Китай, сближение которых во многом является реакцией на изменившуюся расстановку сил в мировой политике, выступают скорее как попутчики, а не союзники. Поскольку попытка достижения “стратегического взаимодействия” между двумя странами нацелена на противодействие усилиям США по консервации однополюсной структуры глобального устройства и создание многополярного мира, в котором бы обе державы могли играть максимально независимую от кого бы то ни было роль, то по существу конечной целью совместных действий Москвы и Пекина является размежевание и обособление друг от друга, а отнюдь не формирование тесного военно-политического альянса. В этом смысле характерно, что поиски различных формул для обозначения этапов двустороннего сотрудничества скорее являются поиском неких знаков, ориентированных на привлечение внимания третьих стран (США, Японии), и пока не имеют какого-то реального наполнения. В то же время неизменно подчеркивается несоюзнический характер российско-китайских отношений. Создание военно-политического союза между РФ и КНР представляется маловероятным и по той причине, что национальные интересы двух держав в геополитической и военно-стратегической областях не совпадают: Китай вряд ли проявит готовность стать участником конфликтной ситуации в далекой от него Европе в случае обострения отношений между Россией и странами НАТО; Россия вряд ли захочет поставить под угрозу свои отношения с США, Японией, другими странами АТР, оказывая военную поддержку Китаю в случае обострения конфликта в Тайваньском проливе или, тем более, обострения территориальных вопросов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Хотелось бы отметить, что резкий крен Пекина в сторону Москвы в последнее десятилетие во многом обусловлен противоречивой и непоследовательной политикой США в отношении Китая.

С одной стороны, Вашингтон провозгласил “политику вовлечения” КНР в существующие структуры международного сотрудничества, с тем чтобы Пекин действовал на международной арене по общепринятым в современном цивилизованном мире правилам. С другой стороны, на американскую политику активно и небезуспешно воздействуют влиятельные силы, которые видят в КНР скорее врага или конкурента, чем партнера. За респектабельным фасадом борьбы за права человека или другими благовидными предложениями просматривается стремление определенных сил в США сознательно или подсознательно “сдержать” КНР, воспрепятствовать превращению ее в сверхдержаву. Китайская политика Вашингтона слишком часто определяется антикоммунистическими эмоциями, намерениями насадить либерально-демократические ценности в современном китайском общественном сознании или просто соображениями внутривосточной борьбы.

Непоследовательность и противоречивость американского подхода к тайваньской проблеме, например, привели к возникновению серьезного кризиса в Тайваньском проливе в 1996 г. Именно действия Вашингтона, формально признавшего права пекинского руководства представлять Китай на международной арене, но тем не менее пошедшего на поводу авантюристической политики Тайбэя по превращению Тайваня в некий самостоятельный субъект международных отношений, поставили под угрозу мир и стабильность в Восточной Азии.

Тем не менее многие восприняли жесткий ответ Пекина на “тайваньский вызов”, то есть угрозу своей международно признанной территориальной целостности, как свидетельство роста “китайской угрозы”.

5. “КИТАЙСКАЯ УГРОЗА”: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Очевидно, что военная угроза интересам стран АТР со стороны Пекина может определяться, во-первых, степенью “агрессивности” и “экспансионизма” в китайской внешней

политике, а во-вторых, имеющимся экономическим и военно-техническим потенциалом. Внешнеполитический курс КНР, в свою очередь, будет зависеть, прежде всего, от тех сил, которые в конечном счете встанут у власти в Пекине.

После смерти Дэн Сяопина высшему китайскому руководству удастся сохранять определенный *status quo*. Неизбежные перемены в расстановке политических фигур в высшем руководстве КНР, которые произошли после последнего съезда КПК и весенней (1998 г.) сессии ВСНП, практически не отразились на характере внешней политики Китая.

Немаловажным фактором, обуславливающим китайскую “наступательность” на мировой и региональной аренах, является наличие провокационных элементов в обращенных к КНР внешнеполитических курсах стран региона. Нельзя не вспомнить в этой связи, что, например, обострение ситуации вокруг Тайваня в начале 1996 г. было во многом вызвано действиями Тайбэя, активизировавшего с середины 90-х годов курс на достижение квазинезависимости.

Что касается непосредственно военной составляющей “китайской угрозы”, то на сегодняшний день военного потенциала КНР недостаточно даже для захвата Тайваня. Несмотря на постоянный с конца 80-х годов рост военных расходов, вооруженные силы КНР до сих пор в массе своей оснащены устаревшими образцами вооружений и не способны вести крупномасштабные боевые действия.

По оценкам разведслужбы ВМС США, Тайвань будет сохранять численное преимущество над КНР в современных боевых самолетах по крайней мере до 2005 года, и то лишь в том случае, если Тайбэй не будет ничего предпринимать для усиления своего потенциала. Между тем Тайвань активно закупает истребители, вертолеты, средства противовоздушной обороны и т.д.. Что же касается КНР, то из 4000 состоящих у нее на вооружении боевых самолетов лишь около 100 отвечают современным требованиям.

Не лучше ситуация и в военно-морских силах КНР. Правда, накануне президентских выборов на Тайване в марте 1996 г. в пропекинской гонконгской газете “Wen Wei Po” появилась публикация, в которой утверждалось со ссылкой на китайских военных экспертов, что при желании войска КНР могут форсировать Тайваньский пролив шириной в 209 км за каких-нибудь пять-шесть часов. Однако военные специалисты относятся к возможности подобной операции весьма скептически. По мнению многих из них, попытка форсировать Тайваньский пролив вооруженными силами КНР может представлять собой не более, чем “массовый заплыв миллиона пловцов”. Как полагает адмирал Эрик Маквэдон, бывший в 80-х годах главным военным аналитиком в американском посольстве в Пекине, военный флот КНР может быть без особых затруднений уничтожен как в портах, так и в открытом море.

Разумеется, нельзя недооценивать серьезность китайской программы модернизации вооруженных сил. При этом чрезмерная закрытость китайской военной политики оборачивается усилением подозрительности и настороженности стран-соседей КНР. Думается, что публикация китайским руководством подобия “Белой книги по обороне”, в которой давались бы реальные данные о размерах военного бюджета КНР, численности и структуре основных родов войск, объемах и характере продаж и закупок вооружений и т.п., могла бы в значительной степени рассеять опасения, связанные с китайской военной угрозой. Так или иначе, ясно, что программа военной модернизации КНР рассчитана на длительную перспективу, и в ближайшие, по меньшей мере, десять-двадцать лет китайские вооруженные силы вряд ли будут представлять серьезную угрозу странам региона.

Впрочем, некоторые авторитетные китаеведы, к примеру Дж.Сигал, утверждают, что “Китай отвоюет обратно то, что он полагает принадлежащим ему, даже если при этом будет угроза его экономическому процветанию”. Напряженная ситуация, возникшая вокруг островов Сэнкаку (Дяоюйдао) в 1996 г., казалось бы, подтверждает эту точку зрения. Однако, на мой взгляд, она верна лишь отчасти. Китай действительно способен порой не задумываться об экономическом уроне, наносимом его жесткими действиями во имя утверждения прав на то, что он “полагает принадлежащим ему”. Но, как отмечалось выше, это происходит, как правило, только тогда, когда его провоцируют на это извне (так, ситуация вокруг Сэнкаку

обострилась во многом из-за провокационных действий крайне правых японских националистов).

Таким образом, у Пекина для проведения политики военных угроз в отношении стран региона нет пока ни реальных возможностей, ни соответствующей мотивации (если ее искусственно не создавать или усиливать). Это, разумеется, не означает, что азиатско-тихоокеанским странам не следует обращать никакого внимания на становление у своих границ мощной военной державы и не заботиться об обеспечении национальной безопасности. Но реакция на это должна быть очень тщательно взвешена, чтобы не привести к региональной гонке вооружений и/или усилению напряженности в АТР.

У “китайской угрозы” есть целый ряд аспектов помимо военного. Чаще всего упоминаемый — возможность доминирования КНР в экономике и политике АТР при сохранении руководством КПК контроля над положением в стране и обеспечении дальнейшего проведения реформ. Самое парадоксальное, что наиболее активно этот тезис отстаивается не в малых странах АТР, которые имеют много общего с КНР в структуре производства и номенклатуре экспорта и более уязвимы перед лицом крупных китайских конкурентов, а в самой мощной державе мира — США. При этом одним из основных показателей “угрозы” для американских товаропроизводителей объявляется растущий год от года многомиллиардный дефицит США в торговле с КНР.

Но, во-первых, китайцы продают на американском рынке то, что в США уже не производится или производится в небольших количествах. Во-вторых, зарабатывая значительные средства от продажи своей продукции в США, КНР получает возможность для закупок американских товаров (в частности, таких капиталоемких, как авиалайнеры), обеспечивая занятость многим тысячам американских рабочих. Поэтому тезис об угрозе экономической безопасности странам АТР, в особенности США или Японии, не соответствует реальному положению вещей. Уместно подчеркнуть здесь, что именно китайский рынок сильно помог многим японским компаниям пережить последний экономический спад.

Следовательно, строить сегодняшние и тем более завтрашние отношения с Китаем на путях борьбы с “китайской угрозой” было бы серьезной ошибкой. Но и не замечать тенденции к превращению КНР во все более мощную державу тоже было бы неверно. Оптимум находится где-то посередине между “политикой сдерживания” и “политикой умиротворения”.

6. КИТАЙ И МИР НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Вся история Китая на протяжении последних, по крайней мере, трех тысячелетий, показывает, что присоединение к “срединному царству” новых территорий происходило за редкими исключениями не столько путем военной экспансии, сколько за счет распространения ареала китайской цивилизации на сопредельные территории. В китайской истории немало примеров, когда покорявшие страну “варварские” племена или государства сами за очень короткие сроки — в пределах одного поколения — “попадали в плен” культуры и традиций коренного населения и фактически превращались в китайцев (ханьцев). Тем самым рост территории и усиление могущества Китая обеспечивались относительно ненасильственными действиями. Роль военной силы резко увеличивалась лишь в периоды “больших смут” и “междоцарствий”, когда император и его ближайшее окружение оказывались не способными — объективно или субъективно — адекватно реагировать на меняющуюся ситуацию в стране и тем самым теряли свою легитимность в качестве правителей государства или — в традиционной китайской трактовке — “мандат неба”. В китайской традиции подобные правители, приводившие страну к крупномасштабным социальным бедствиям и массовому кровопролитию, заслуживали всегда самой низкой оценки.

Возвращаясь к современности, необходимо отметить, что в восприятии большинства нынешнего населения Китая основные функции власти остались неизменными — сохранять социальный мир и по возможности решать внешние проблемы мирными средствами.

Конечно, прогнозирование развития ситуации в такой стране, как КНР, весьма

затруднительно, что связано с непрозрачностью политической атмосферы на вершине власти, латентностью многих социально-политических и экономических процессов в стране, ненадежностью статистики и т.п. И все-таки в целом можно с большой степенью уверенности утверждать, что на протяжении ближайших десяти-пятнадцати лет многие существующие сегодня в КНР проблемы и трудности не станут непреодолимым препятствием для поддержания относительной стабильности в государстве и обществе, для сохранения достаточно высоких темпов экономического развития, для дальнейшей интеграции КНР в региональную и мировую экономику, для превращения страны в державу, сопоставимую по размерам ВВП с Японией или даже США.

Одна из проблем, стоящих между КНР и мировым сообществом — восприятие “китайского вызова”. Если понимать нынешний подъем Китая и рост влияния Пекина на международной арене как действительный вызов миру и стабильности в складывающемся новом мироустройстве, то тогда идея о сдерживании Китая в той или иной степени выглядит обоснованной. Но логичнее предполагать, что настоящая китайская угроза может исходить не из сильного и стабильного Китая, но, наоборот, из слабой, дезинтегрированной, раздираемой внутренними противоречиями и междоусобицами страны с более чем миллиардным населением, обладающей к тому же мощным военным арсеналом, в том числе ракетно-ядерным оружием. Вряд ли кто-то сегодня предпочтет иметь дело не с одним сильным Китаем, а с несколькими десятками “северных корей”, а именно к этому и может в конечном счете привести бездумная реализация жесткой политики сдерживания КНР или слишком активные попытки насадить в этой стране систему западных демократических ценностей, пока еще чуждую большинству китайского населения. Об этом стоит самым серьезным образом задуматься агрессивным адептам “универсальных ценностей либеральной демократии”, если они действительно заботятся о построении гармоничной системы международных отношений.

В то же время необходимо учитывать, что в Китае всегда были сильны идеи китаецентризма. Не секрет, что и в сегодняшнем Китае — включая Гонконг, Макао и Тайвань — найдется немало приверженцев идеи о становлении в ближайшем будущем Китая как державы номер один. Рост национализма во многих странах современного мира не обошел стороной и Китай. Более того, в настоящее время в КНР националистическая идея часто заменяет собой коммунистическую в качестве единой идеологии, консолидирующей население страны в ее противостоянии внешнему миру. К счастью, это пока не отражается на внешней политике КНР — сегодня китайское руководство твердо подтверждает, что Китай никогда не станет “сверхдержавой”.

Думается, что это искренние заявления, поскольку китаецентризм не подразумевает силовое господство над окружающим Китай миром. Даже в периоды наибольшего расцвета для его правителей, как правило, было не столько важно реальное господство над той или иной территорией — даже формально входившей в состав китайской империи — сколько демонстрация со стороны контрагента уважения китайского правителя и формального признания его власти, которая при этом часто не распространялась за пределы императорского двора.

С известными поправками психология древних и средневековых правителей Китая может быть перенесена на сегодняшние реальности. Для нынешних — и, наверное, завтрашних — руководителей КНР актуальны не столько претензии на “мировое господство”, сколько признание со стороны мирового сообщества легитимности КНР как одного из его полноправных членов.

Не следует концентрировать усилия на выталкивание Китая на обочину мирового развития. Это в лучшем случае не принесет желаемых результатов, а в худшем — приведет к конфликту, посерьезнее “холодной войны”. Наоборот, серьезный учет — что не всегда означает безусловное принятие — растущих претензий КНР играть адекватную ее потенциалу роль в мировой политике и экономике может привести к вполне органичному вхождению Китая в формирующееся современное мироустройство на основе взаимоприемлемых компромиссов. Чего следует однозначно избегать в построении отношений с Пекином, так это

политики откровенного давления и диктата, как, впрочем, и бесхребетной “политики умиротворения”.

Мировому сообществу, — прежде всего, США и другим развитым странам, — стоит смириться с объективными реальностями неравномерности экономического и политического развития современного мира и понять, что появление в современных условиях нового влиятельного субъекта международных отношений не обязательно означает возникновение неприемлемой угрозы национальным интересам и безопасности других государств мира. Анализ внешней и внутренней политики КНР за последние два десятилетия в целом не дает достаточных оснований усомниться в искренности намерений современного китайского руководства ответственно подходить к решению международных проблем и готовности КНР играть роль великой державы по критериям, общепризнанным в современном мире.

Индия — от догоняющего развития к устойчивому росту?

Поиски модели преодоления отсталости в рамках мирового хозяйства (МХ) выдвинулись в центр внимания исследователей и политических деятелей в XX веке. Они привели к пониманию множественности путей укрепления национальных экономик и в то же время объективной закономерности сходных этапов в этом процессе. Опыт Индии, второй по численности населения страны мира, особенно поучителен, поскольку в ее социально-экономической политике сложно переплелись классические идеи индустриализации западного образца, что позволяет говорить об имитационном, “догоняющем” развитии, и методы централизованного планирования советского типа. Правда, есть и существенное отличие обоих этих направлений от опыта 17-19 веков — возрастающее воздействие мирового хозяйства, динамичное, с постоянной сменой форм, на экономику Индии.

Ныне глобализация, активное формирование глобального частного предпринимательства, прежде всего деятельность ТНК, объективно диктует новое содержание экономического роста каждой страны. Мировой порядок стремительно меняется, и государство как агент развития, если не сумеет адаптироваться к новым реалиям, рискует потерять или существенно снизить управляемость социально-экономическими процессами как в национальных границах, так и позиции страны в МХ. Отношения в системе “государство — частный сектор” меняются в ходе развития стран Третьего мира. На первоначальных этапах это происходит в основном под воздействием комплекса, который обобщенно можно обозначить как демонстрационный эффект. Представляется, что масштабы его влияния оценены не полностью, их чаще относят к сфере потребления, но они существенно меняли ориентиры в сфере производства. Это и признание особой роли промышленности, образования, научно-технического прогресса. Начиная с 70-х гг. усиленное внимание в развивающихся странах привлекает социализация экономической политики в практике Запада. Замечу, что подражательность, “гонка за лидером” не есть особенность, порожденная спецификой Третьего мира. Известный английский исследователь А. Мэддисон, прослеживая развитие ведущих европейских государств, отмечает постоянную смену лидера в этом процессе, которого настигают последователи.

Характерной чертой комплекса демонстрационного эффекта, четко проявившейся в Индии, было признание лидирующей роли государства в ее стратегиях развития. В значительной мере такая позиция типична для развивающихся стран. Мировой банк в обзоре 1997 г. констатирует: “Большинство развивающихся стран Азии, Среднего Востока и Африки вышли из колониального периода с сильной верой в экономическое развитие при доминировании государства. Государственный контроль по примеру Советского Союза был центральным для этой стратегии”. В Индии это было усилено разделом Индостана на две страны, сложными отношениями с Пакистаном, постоянной военной напряженностью, а также огромными размерами территории, опасностью религиозных, этнических конфликтов.

Индустриализация для отставшей экономики

Индустриализация, по сути отражающая в начале самостоятельного развития стремление догнать передовые государства, повторить, имитировать их путь, чтобы добиться сходных результатов, автоматически делала государство экономическим лидером. Именно такой консенсус сложился в отношении проведения индустриализации и нашел наиболее четкое

отражение в политике правительства Индии. Стратегия индустриализации в такой крупной и, следовательно, инерционной экономике, как индийская, имеет ряд особенностей, которые сказались и на переходе к реформам, начатым в июле 1991г. В отличие от подавляющего большинства развивающихся стран идея индустриализации не была спонтанной, вызванной к жизни прежде всего завоеванием политической независимости. Она вынашивалась общенациональными политическими лидерами страны еще в колониальный период и ее разделяли представители формирующегося местного предпринимательского слоя.

Если отстраниться от неизбежных особенностей в развитии каждой страны, определяемых сложившейся структурой хозяйства, историческими и культурными традициями, природными и людскими ресурсами, то известны и опробованы с разной степенью успеха два основных варианта экономического роста — импортозамещение и экспортная ориентация. Они могут варьироваться, сосуществовать, но на этом сложном фоне постепенно кристаллизуется определенная закономерность и последовательность — импортозамещение это первая стадия в развитии отсталой экономики. Суть проблемы не в том, проходить ли ее, а во временном измерении — как быстро страна переходит к большей открытости своей экономики, создает конкурентоспособную продукцию и выходит на внешний рынок. Опыт Индии в этом отношении особо интересен, поскольку ее политика импортозамещения оказалась длительным процессом. В известной мере это обусловлено численностью населения (955,2 млн. человек на 1998 г.). ЮНКТАД подчеркивает обратную корреляцию между этим показателем и размером экспорта на душу населения. “Китай и Индия никогда не достигнут того же показателя экспорта или импорта на душу населения, как новые индустриальные страны и не нуждаются в этом”. Для такой стратегической ориентации важен исходный уровень национальной промышленной базы, которая в большинстве из них отсутствовала или была представлена полукустарными предприятиями. В Индии стартовые условия заметно отличались. Еще в период колониального подчинения были созданы предприятия легкой промышленности (текстильная, кожевенная, сахарная и т.п.), отсталые, с незначительным объемом производства, но определенный опыт, подготовленная рабочая сила, предпринимательская прослойка здесь существовали. Для индийской продукции конкуренция иностранных товаров, в первую очередь английских, была жесткой реальностью, что усилило стремление местных предпринимателей получить помощь государства в защите национального производства путем протекционизма. Одновременно необходимость технического перевооружения легкой промышленности для обеспечения потребностей внутреннего рынка в потребительских товарах делала целесообразным присвоение государством ряда функций по развитию отраслей тяжелой промышленности. Оно брало на себя решение ряда важных задач для осуществления импортозамещения — мобилизацию ресурсов для строительства ключевых отраслей промышленности, улучшение экономической инфраструктуры и тем самым создания среды для роста частного предпринимательства.

Эксперты Мирового банка считают 1947-1964 гг. периодом, когда Индия приняла политику государственного контроля над ключевыми отраслями промышленности. Планирование, начиная с 1951 г., стало частью этой политики, существенно усиливающей влияние государства на экономику в целом. Одновременно в рамках пятилетних планов осуществлялось взаимодействие государства и частного сектора. Еще одной особенностью этого этапа было сохранение мелких форм производства с массовым использованием традиционного ручного труда, что позволяло снизить критически опасный уровень безработицы и обеспечить относительно дешевыми потребительскими товарами низкодходные слои населения.

Для индустриализации Индии характерно четкое разделение сфер влияния между государством и частным сектором, закрепленное в Заявлениях правительства о промышленной политике 1948 и 1956 гг. Государству и его ресурсам отводилась лидирующая роль в отраслях тяжелой промышленности, часть которых создавалась впервые, становясь исключительной монополией государства. Местные предприниматели получили право беспрепятственного развития в отраслях легкой промышленности и ряде отраслей группы А. Им была обеспечена

возможность равноправного участия в смешанных с иностранным капиталом компаниях. Такая политика на первоначальном этапе полностью отвечала интересам местной крупной буржуазии, которая не располагала финансовыми ресурсами для создания базовых отраслей промышленности и укрепления инфраструктуры. Правительство признавало необходимость сохранения мелких производств, эндогенных для экономической структуры Индии. Например, в переработке сельскохозяйственной продукции их доля достигала 85%, в кожевенной промышленности 70%, стеклокерамической 75%. Защищенный внутренний рынок облегчал их выживание. Немалую роль в такой хозяйственной политике сыграл авторитет М. Ганди, его приверженность ремесленному, кустарному труду, своеобразная антивестернизация, направленная против крупного современного производства.

Для стратегии импортозамещения во время первых пятилетних планов характерно сдержанное отношение индийского правительства к привлечению иностранного капитала, который подвергался определенному регулированию, но не дискриминировался. Объективности ради замечу, что иностранный частный капитал в первые два десятилетия независимости страны выдерживал паузу. Его настораживала и социалистическая фразеология ИНК (“общество социалистического образца”), и национализация — правда, в очень умеренных масштабах — собственности англичан, а затем и несколько экзальтированная дружба с Советским Союзом, в том числе прямое заимствование опыта планирования. Здесь имели место не только экономические причины, но прежде всего геополитические, противостояние двух блоков, их борьба за влияние в Третьем мире. Индия в качестве стратегического союзника была чрезвычайно важна. Отсюда и межгосударственные программы содействия госсектору, предложенные Советским Союзом, льготное кредитование, активное сотрудничество в военной области. США упирали на поставки продовольствия по Закону 480, кредиты и займы через МБРР и МВФ. Для Индии с высокой степенью зависимости от импорта иностранного оборудования, некоторых видов сырья, особенно энергоресурсов, необходимых для строительства национальной тяжелой промышленности, поступления иностранных инвестиций были критически важны.

В конце 50-х — начале 60-х годов импортозамещение носило даже автаркический характер, внутренний рынок был относительно слабо связан с мировым. Анализируя развитие Индии, Г. Широков отметил, что “без сильного таможенного протекционизма индустриализация в Индии была практически невозможной”. В протекционизме было заинтересовано государство, как собственник крупных промышленных предприятий, как правило, это новые производства, которые не могли бы выдержать иностранную конкуренцию даже на внутреннем рынке. По оценке М. Тодаро, Индия имела средний эффективный уровень таможенной защиты в 70-е годы 69% по сравнению с 200% в начале 1960-х годов.

Оценивая импортозамещение в стратегии индустриализации развивающихся стран (Индия здесь показательна), важно отметить, что оно успешнее осуществляется на ранних этапах становления национальной экономики в постколониальный период, на фоне очень низкого уровня потребления основных слоев населения. Бедность, привычка к традиционно ограниченному набору товаров первой необходимости, к тому же местного производства, скудной “потребительской корзине”, отсутствие права на сравнение и выбор дает правительству определенную свободу действий. Индия, расходуя средства на импорт преимущественно товаров производственного назначения, — не исключение. Намного сложнее сокращать поступления в страну иностранных потребительских товаров после того как население в той или иной степени привыкло ими пользоваться. Это неизбежно означает расцвет черного рынка, контрабанды, теневой экономики. В случае позднего импортозамещения глобализация при активной роли ТНК существенно усиливает демонстрационный эффект, обостряя тем самым социальную напряженность.

Есть еще один фактор, облегчивший стране проведение импортозамещения — традиционная экспортная специализация на колониальных товарах, часть которых не имела сильных конкурентов на мировом рынке в 50-60-е годы — чай, кожи, пряности, драгоценности, хлопок, высококачественные хлопчатобумажные ткани. Вместе с тем на всем протяжении

независимого развития индийское правительство в пятилетних планах неизменно повторяет задачу увеличения экспорта как долгосрочную. При этом основной упор был сделан на изменении его товарной структуры. Реальные сдвиги в этом направлении произошли после того, как в ходе импортозамещения была создана диверсифицированная промышленная база, приближенная к структуре развитых стран 60-х годов. Такой сдвиг стал одним из результатов “догоняющего” развития.

Правительство опиралось на сильную финансовую систему, что тоже выгодно отличало Индию от других развивающихся стран. Через Резервный банк оно осуществляло кредитное регулирование и влияло на кредитную политику коммерческих банков. Эта позиция государства была усилена национализацией 14 крупнейших банков в 1969 г., что, однако, не означало ликвидации частных банков как местных, так и иностранных. В Индии с 1875 г. действует старейшая в Азии Бомбейская биржа, через которую проходит до 60% всех биржевых операций. Ныне в стране работают 23 биржи с 7 тысячами листинговых компаний (второй по величине показатель после США), число акционеров в середине 90-х достигло 20 млн. человек. Определенным показателем роста современных форм финансовых расчетов стало быстрое увеличение пользователей наиболее распространенных банковских карт — до двух миллионов человек.

В Индии представлено большинство крупнейших банков из промышленно развитых государств. В последние годы местные частные банки получили разрешение работать в качестве их отделений. Банковская система страны освоила международные стандарты и технологии современного банковского дела. Кумулятивные средства иностранных институциональных инвесторов составили к середине 1996 г. 6,6 млрд. долл. На рынке краткосрочных заимствований ежедневный оборот составляет от 3 до 5 млрд. долл. Индия считается одним из крупных устойчиво развивающихся финансовых рынков.

Достаточно жесткое деление сфер экономической деятельности между государством, которое брало на себя функцию собственника в тяжелой промышленности, имело результатом многослойный характер индустриализации в стране. Промышленные объекты, отнесенные к госсектору, представляли капиталоемкое производство с использованием современных технологий и организации труда, но по сравнению с основной массой промышленных предприятий они были технически передовыми. На государственных и крупных промышленных предприятиях частного сектора имело место ежегодное увеличение производительности труда на 2% в 1970-1990 гг. Эксперты ЮНИДО считают это показателем структурных сдвигов, переходом от простых трудоемких производств к более сложным, капиталоемким. Соответственно возростала профессиональная подготовка рабочей силы, качество труда, показатель модернизации промышленности. Успехи Индии в фармацевтической, аэрокосмической, нефтеперерабатывающей, металлургической промышленности подтверждают эти особенности. Нельзя не отметить, однако, что для индийских предприятий, особенно государственных, были характерны избыточная занятость, высокие издержки производства, завышенная себестоимость продукции.

Инвестиции государства в экономическую инфраструктуру, достигавшие в пятилетних планах 25% всех капиталовложений, способствовали расширению экономического пространства. При огромных размерах страны рост транспортных сетей и других средств связи облегчал движение товаров и услуг, создавал возможность освоения новых районов, ранее недоступных для слабого местного предпринимательства. За счет частного сектора шло нарастание массы промышленных товаров, защищенных от иностранной конкуренции, удовлетворявших внутренний потребительский спрос. Доля импорта в потреблении Индии в середине 60-х годов по потребительским изделиям не превышала 4%, товарам промежуточного спроса 8% и машинотехнической продукции 21%. Как признано в правительственной публикации, “экономика была защищена от иностранной конкуренции как в производстве, так и в торговле”. Протекционизм в сочетании с политикой поддержки частного сектора создал объективные условия для расширения номенклатуры производимых изделий, в том числе производственного назначения, в первую очередь для сельского хозяйства. Это наглядно

проявилось в 1966-1977 гг. (второй этап индустриализации в Индии по мнению экспертов Международного банка), когда хроническое отставание аграрного сектора стало опасно тормозить рост экономики.

Государство за счет бюджетных ресурсов осуществляло сельскую электрификацию, субсидирование закупок удобрений и элитных семян, частный сектор увеличил производство сельскохозяйственных машин и инвентаря. К середине 70-х годов Индия существенно повысила самообеспеченность зерновыми. В 80-е годы производство зерновых росло на 3% ежегодно по сравнению с 2,6% эффективного спроса. Немаловажное значение, учитывая роль аграрного сектора в экономике Индии, имели хорошие погодные условия в 90-е годы, что повысило сборы зерновых и бобовых с 168,4 млн. т. в 1991г. до 199 млн. т. в 1996г. Урожайность также возросла с 1382 кг с гектара до 1604 кг, однако сбор зерновых на душу населения рос медленно, в отдельные годы реформ падало: 1991 — 510 г. в день, 1993 — 464 г., 1995 — 507 г., 1996 — 498 г. Уровень их потребления по-прежнему низок, хотя надо учесть, что пищевой рацион зажиточных слоев существенно изменился за счет увеличения в нем доли молочных продуктов, овощей, фруктов.

Очевидно, что первоначальное импортозамещение страна провела с несомненным успехом, расширив базу национальной промышленности за счет соединения усилий государства (целенаправленная политика протекционизма, налоговые и кредитные льготы предпринимателям, улучшение среды развития, а главное, строительство в госсекторе качественно новых для ее промышленной структуры предприятий) и частного сектора, сумевшего создать многочисленные промышленные предприятия в традиционных отраслях. Наверное, неправильно целиком связывать с этим периодом количественное и качественное укрепление кадрового потенциала Индии, он был достаточно высок благодаря традиционному уважению и престижу образования в общественном сознании, но существенно выросла численность опытных менеджеров, на предприятиях госсектора они составляли в 1997 г. 17% всей его рабочей силы.

Эти достижения не затмевают негативных черт, присущих индустриальной базе, формировавшейся в условиях защищенного внутреннего рынка. Характерно, что уже 24 июля 1991 г., т. е. в первые дни реформ, правительством была принята промышленная политика, стимулировавшая привлечение новых технологий путем сотрудничества с иностранным капиталом. Лицензирование сохранялось в 15 отраслях стратегического, социального и экологически уязвимого характера, а также для мелкого производства.

Экспортный потенциал Индии оставался невысоким прежде всего из-за низкого качества продукции, ее недостаточного научно-технического компонента. Основу вывоза страны в 60-70-е годы составляли товары традиционного экспорта, потребительские изделия, несложные машины. Ее доля в мировом промышленном экспорте менялась незначительно: 0,55% в 1970 г., 0,41% в 1980 г., 0,52% в 1990 г. и 0,64% в 1994 г. Соответственно показатель экспорта машин и оборудования за эти же годы колебался в пределах 0,12%. Изменения в объеме экспортной торговли наметились сравнительно недавно, с конца 70-х годов. Экспортная квота составила (в % от ВВП): 1971 — 3,9%, 1975 — 6,2%, 1980 — 7,0%, 1985 — 8,5%, 1994 — 11,2%. Формально показатель увеличился более, чем в два раза за четверть века, но устойчивый рост обозначился в конце 80-х годов и особенно в начале 90-х, что может быть в определенной степени связано с осуществлением кардинальных экономических реформ.

Приведенные данные не позволяют говорить о переходе Индии к стадии экспортно-ориентированной индустриализации. Скорее, речь идет о том, что страна за долгий по современным меркам период замещения импорта создала плацдарм для возможного рывка с целью увеличить свои позиции в мировой торговле. Экспортно-импортная политика Индии в 1992-1997 гг., совпадающих с периодом 8-го пятилетнего плана, акцентировала устранение протекционистских ограничений (либерализован импорт еще 542 товаров) и переход страны к дальнейшей глобализации. В 9-м плане поставлена задача довести экспорт страны к 2002 г. до 90-100 млрд. долл., достигнув 1% в мировой торговле. Таможенные тарифы на капитальные товары снижены с 25 до 20%, как и на промежуточные изделия для сталелитейной и ряда

других отраслей. Однако, на мой взгляд, ныне найти нишу в мирохозяйственных связях стало намного сложнее, чем это было, например, при восхождении азиатских НИС первой волны. Конкуренция в МХ заметно обострилась, снизив значимость дешевого труда, которым Индия располагает в избытке, ранее считавшегося неоспоримым преимуществом. В 1990-х годах в мировой экономике конкурентоспособность готовой продукции, особенно потребительской, переместилась от цены к качеству. Само понятие качества получило новое содержание, включающее не только соблюдение принятых стандартов, но современный стиль, дизайн, точность поставок, послепродажное обслуживание, т.е. расширение экспорта требует не просто достижения определенного уровня продукции, но и создания сложных и дорогостоящих сетей ее продвижения. Представляется, что для Индии экспортная ориентация в ближайшие годы возможна для ограниченного круга товаров.

Реформы 1991 г.

Насколько пакет реформ, принятый в стране в июле 1991г., изменяет суть индустриализации страны, ускоряет ее модернизацию? Основы экономических и социальных сдвигов, смешанной экономики были заложены в ходе проведения “классической” индустриализации с поправкой на использование еще и советского опыта. Вместе с тем в этой политике присутствовали черты современного западного понимания развития, что отражено в социальных расходах по пятилетним планам. Еще раз подчеркну, что крутого слома механизма, перехода на качественно иные рычаги в управлении хозяйством не было. В основе была именно модернизация действующих отношений в схеме “государство — частный сектор”, их адаптация к меняющейся среде. Полагаю, что июль 1991 г. означал завершение индустриализации имитационного типа, сдвиг к политике устойчивого развития.

Реформы были начаты под давлением ухудшающихся внутренних условий развития. Как это часто бывает, экономическая политика, способствовавшая промышленному росту в предшествующие десятилетия, со временем теряет динамизм. В конце второго этапа индустриализации (1966-1977 гг. по мнению экспертов Мирового банка) государство усилило свой контроль во всех отраслях экономики, ограничив тем самым свободу действий местных предпринимателей и приток иностранного капитала, сократились валютные резервы. В итоге темпы роста ВВП упали ниже 3,5% в год, что ускорило постепенное ограничение “царства лицензий”, как писали индийские газеты, в промышленности, когда не только открытие нового предприятия, но и расширение производства, изменение номенклатуры продукции требовало соответствующего разрешения чиновника. Шаги по реформированию ригидной структуры были сделаны еще правительством Раджива Ганди, но его гибель не дала провести реформы как систему мер.

Государство в основном выполнило свое главное предназначение — в стране сформировался сильный частный сектор, его доля в ВВП поднялась с 41% в 1981 г. до 65% в 1995 г., 75% в 1996 г. Стране удалось освободиться от импорта зерновых, от которого она зависела в предшествующие десятилетия. Индия готова экспортировать в год до 10 млн. т. пшеницы, качество которой отвечает мировым стандартам. Созданная за годы планирования экономическая инфраструктура позволяет осуществлять ее хранение и транспортировку.

Анализ особенностей “догоняющего” развития на примере Индии показывает, что в этой стратегии постоянно взаимодействуют традиционные структуры и институты с привнесенными извне инструментами модернизации, причем такой симбиоз может носить мирный характер, усиливать потенциал страны. Это убедительно доказывает опыт мелких производств, широко распространенных в Индии, составлявших основу ее промышленности в колониальный период. Правительства, возглавляемые партией Индийский Национальный Конгресс (ИНК), здраво оценивая значение мелких предприятий в экономике, даже в периоды особого увлечения развитием тяжелой промышленности, проводили их финансирование в рамках пятилетних планов, использовали экономические и административные рычаги для защиты от конкуренции крупного капитала. Как уже говорилось, немаловажную роль в этой

политике сыграло мировоззрение М. Ганди, видевшего в ремесленном труде своего рода хранителя традиций, культурных ценностей Индии в противовес западному крупномасштабному производству. Индийские экономисты считали мелкое производство не просто частью отсталой структуры хозяйства (хотя с точки зрения используемой техники труда оно таковым и было), а необходимым элементом будущей здоровой экономики. Это позволило сохранить миллионы рабочих мест (по примерным оценкам в этом секторе к 1998 г. было занято 16,7 млн. человек (по сравнению с 13,9 млн. в 1993 г.) и несколько уменьшить неконтролируемый приток рабочих рук в города. Характерен термин “сельская индустриализация”, применяемый в ряде программ, подразумевающий меры поддержки малых предприятий за пределами городов с тем, чтобы увеличить несельскохозяйственную занятость. Мелкое производство обеспечивало в ходе импортозамещения наполнение внутреннего рынка относительно дешевыми потребительскими товарами и до известной степени производственными для крестьянских хозяйств. Часть его продукции, а также ремесленная и кустарная экспортируется. В 1994/95 г. — 1996/97 г. ежегодные темпы роста его экспорта превысили 10%. Под эгидой правительства и на уровне штатов созданы специализированные центры, помогающие мелким предприятиям стандартизировать свою продукцию, модернизировать производство и формы управления, наладить маркетинг. Наряду с многочисленными корпорациями и банками, кредитующими мелкие предприятия, этот комплекс мер можно рассматривать как метод преодоления их периферийности, осовременивание мотиваций, в известной мере — при некотором повышении доходов занятого в этом секторе населения — и образа жизни. Отмечу, что в мелких предприятиях очень высока доля неучтенного семейного труда, поэтому доля занятых на них намного выше официальных данных. В докладе о реформировании малых и средних предприятий, представленном правительству в январе 1997 г. известным экономистом Абидом Хуссейном, рекомендуется уделить особое внимание на организацию кластеров мелких предприятий как “центров будущего роста”. Эта позиция полностью совпадает с современными изменениями в стратегии развития малой экономики в развитых европейских странах. Кластеры рассматриваются как возможность преодолеть изолированность мелких предприятий, повысить их конкурентоспособность. Характерно, что кластеры создаются как традиционными, так и современными мелкими предприятиями.

Мелкое производство Индии сохраняет двойственность, сосуществование традиционных и современных мелких производств. Первые ориентируются прежде всего на спрос беднейших слоев населения, статичный и слабо дифференцированный, ограниченный в основном предметами первой необходимости. Здесь сложилась жесткая зависимость — узкий по номенклатуре товаров и услуг, но массовый спрос, вынужденное безразличие потребителя к качеству (определяющий фактор — цена) объективно поддерживает на плаву традиционные малые предприятия и одновременно обуславливает их отсталость, низкий технический уровень, слабые стимулы к модернизации. Эксперты ЮНИДО считают, что слабость менеджмента, особенно в мелких и средних семейных предприятиях, устаревшая система подготовки кадров для них препятствуют принятию новых организационных структур, в том числе образованию кластеров. Очевидно, что огромные масштабы рынка, обслуживающего низкодходные слои населения, делают малые предприятия консервативным элементом промышленной структуры Индии.

Одновременно высокими темпами растут современные малые предприятия, удовлетворяющие индивидуализирующийся спрос населения с высокими доходами, а главное, мелкие предприятия, специализирующиеся на выпуске производственных товаров. Часть из них кооперируется с крупными, осуществляя поставки узлов, запасных частей, сборку, ремонтные работы. Эта группа использует современные технологии, менеджмент, сохраняя преимущества малых форм — экономию на административных расходах, более низкую оплату труда. Сочетание экстенсивных и интенсивных типов развития можно считать долгосрочной тенденцией малой экономики Индии.

С точки зрения социально-экономической стабильности важно, что реформы сохраняли мелкое

производство. Опыт Индии подтверждает позицию экспертов ЮНИДО, что мелкое производство обеспечивает пригодную основу для новых крупных промышленных предприятий, стимулирует предпринимательство, подготовку кадров для них, технического персонала.

Для окрепшего частного сектора мелочное государственное регулирование, в первую очередь через систему лицензий, породившую масштабную чиновничью коррупцию (по ее уровню Индия занимает одно из первых мест в мире), становилось препятствием к дальнейшему росту. Возросшие накопления национальных предпринимателей, позволяющие вести современный масштабный бизнес, делали ненужным дальнейшее расширение крупной государственной собственности, тем более, что объекты госсектора отличались низкой эффективностью и требовали постоянной подпитки бюджетными средствами.

Это во многом определило суть экономических реформ 90-х — либерализацию, постепенное сокращение позиций государства как собственника. Число отраслей с его преимущественным участием снизилось до шести. Последовательное делицензирование привело к тому, что эта процедура сохранилась к середине 1997 г. только в девяти отраслях. Были сокращены также 14 товарных позиций, производство которых прежде было зарезервировано за мелкими предприятиями, в том числе автозапчасти, синтетические сиропы, некоторые кондитерские изделия. В 1997 г. правительство приняло пакет мер для 106 ведущих госпредприятий, расширявший их финансовую и управленческую автономию, в случае, если они работают прибыльно. Число таких госпредприятий возросло со 123 в 1990-91 гг. до 134 в 1995-96 гг. при общем их числе 246 и 243 соответственно.

Позиции частного предпринимательства усиливала развитая структура финансово-кредитных институтов. Резервный банк разрешил открывать новые частные банки и финансовая система в целом окрепла благодаря заметному росту банковских отделений в сельских районах, позволивших мобилизовать дополнительные ресурсы. В стране к апрелю 1997 г. действовали 353 банка, специализирующихся на операциях с малыми предприятиями, что несколько ослабило их зависимость от местных ростовщиков, кредитовавших по ставкам в три-четыре раза выше банковских. Однако доля банковских кредитов мелким предприятиям с 1993 г. выросла незначительно — с 14,6% до 16,6% объема всего банковского кредитования.

Курс на либерализацию экономики предполагал возможность приватизации части предприятий госсектора, поэтапное снижение ввозных пошлин, увеличение разрешенной доли иностранного капитала в собственности индийских компаний, упрощение процедуры его привлечения. В этом наборе мер нет ничего, что не было бы известно из опыта многих государств, приступивших к изменению модели хозяйственного развития. В практике экономических реформ в Индии важны методы их реализации — постепенность, неприятие “обвальных” рычагов (все сразу и вдруг), стремление избежать резких изменений, последствия которых могли быть непредсказуемы. Сокращение госсобственности в промышленности осуществляется осторожно, оно началось не сразу после принятия пакета реформ в 1991 г., и не с приватизации, а с коммерциализации предприятий после 1993 г., когда в стране укрепилась макроэкономическая стабильность, темпы роста обрели устойчивость. В результате это позволило удерживать инфляцию на невысоком уровне: 1993 — 7%, 1994 — 10,8%, 1995 — 10,4%, 1996 — 5%, 1997 — 6,9%. С 1996 г. специальная правительственная комиссия начала продажу части акций 40 госкомпаний, в том числе “голубых фишек”, однако реальные поступления в бюджет оказались ниже ожидавшихся.

Заметную роль в стабильности экономики играет национальный частный сектор, опирающийся на быстро развивающийся внутренний рынок. Его динамизм и диверсификация были результатом всего предшествующего хозяйственного развития. Одним из важных компонентов стала возросшая покупательская способность сельского населения (70% всего населения Индии). В 1992-93 гг. на долю жителей сельских районов приходилось 70% покупок велосипедов, портативных радиоприемников, швейных машин, 50-60% кварцевых часов, черно-белых телевизоров, 40-50% мотоциклов, вентиляторов. По оценкам, их расходы на приобретение фасованной продукции растут на 20-25% ежегодно. В последние годы

действующие в Индии в сфере потребительских товаров ТНК и особенно местные крупные фирмы, развивая свои дистрибьюторские сети, делают ставку на продвижение продукции в сельские районы, население которых еще недавно рассматривалось как почти однородная низкодоходная группа. Проведенные маркетинговые исследования показали ошибочность такой позиции, и боязнь упустить формирующийся рынок заставила адаптировать к вкусам сельского населения названия ходовых товаров, придать местный колорит известным торговым маркам. Маркетинговая стратегия включает обязательное участие в многочисленных (около пяти тысяч в год) ярмарках и фестивалях, традиционно принятых форм торговли и развлечений, особенно в сельских районах. Считается, что их посещают около 100 млн. человек, многих из которых можно причислить к среднему деревенскому классу.

Дистрибьюторская сеть охватывает свыше 3800 городов и примерно 500 тыс. деревень, причем в деревнях особо велика роль семейных мелких предприятий, которые входят в эту разветвленную систему розничной торговли. В городах существенно возросло число супермаркетов — сравнительно новое явление в Индии. Предполагается, что в ближайшие годы их развитие привлечет значительные инвестиции.

В быстро развивающейся сфере обслуживания весьма велико распространение мельчайших предприятий (tiny units). Так, в 8-м пятилетнем плане была принята специальная схема для создания 700 тысяч таких предприятий с общей занятостью 1 млн. человек (полтора человека на предприятие). Это так называемая самозанятость, которая поощряется с помощью кредитов, специальных курсов подготовки к предпринимательской деятельности. В рамках этой программы действует план обеспечения самозанятости для молодых образованных безработных (от 18 до 35 лет). Основная задача — стимулировать предпринимательство, особенно среди наиболее уязвимых слоев населения, к которым отнесены женщины, представители низших каст и т. д. До некоторой степени механизм функционирования таких планов напоминает распространенные в развитых странах “бизнес-инкубаторы”. В Индии также для получения финансовой помощи потенциальный участник должен представить подобие бизнес-плана, иметь небольшой финансовый задел. Доля правительства достигает 7500 рупий на каждого участника, и оно же оплачивает обязательное краткосрочное обучение (15-20 дней для работы в промышленности, 7-10 дней в сфере услуг). В совокупности эти меры несколько стимулировали рост доходов, а главное, увеличивали число людей, приобщаемых к современным формам бизнеса.

Массовый потребительский спрос, несмотря на глубокую дифференциацию в доходах населения, в значительной степени определил устойчивость экономики в ходе реформ. Рост потребительских цен после 1991 г. не превышал 10% в год.

Индийская промышленность, как считает правительственный источник, испытывает воздействие экономических реформ, “находясь в критической фазе переходного состояния и реструктуризации”. 90-е годы отмечены высокими темпами ее роста, прежде всего за счет обрабатывающих отраслей. Национальные производители в таких отраслях, как автомобилестроение, пищевая, текстильная, фармацевтика и др., сумели создать и укрепить свои торговые марки, выдерживая на внутреннем рынке конкуренцию со стороны ТНК. Этому в немалой степени способствует бурно развивающаяся индустрия рекламы, использующая электронные средства связи — телевидение доступно 75% населения, радиовещание 100%. Затраты национальных компаний на рекламу в 1994-95гг. достигли 350 млрд. рупий (1,1 млрд. долл.).

По оценке Мирового банка, сделанной еще в 1994 г., Индия способна обеспечить долгосрочный экономический рост порядка 5% в год. Эксперты МВФ, внимательно отслеживающие ход реформ в Индии, считают, что их следующая волна должна включать расширение налоговой базы, сокращение субсидий и повышение эффективности госпредприятий, в том числе приватизацию, а также меры, повышающие привлекательность страны для иностранных инвесторов за счет большей открытости финансового рынка. Среди частных иностранных инвесторов представлены все ведущие промышленно развитые страны,

но размеры инвестиций невелики, особенно по сравнению с потребностями Индии. Первое место занимают США — 173 млрд. рупий, затем Великобритания — 45 млрд., Израиль — 47 млрд., Нидерланды — 38, Япония — 30 млрд. рупий. В инвестициях высока доля поступлений от индийцев, проживающих за рубежом. С 1995 г. правительство ввело регулирование, стимулирующее приток иностранных инвестиций в венчурные предприятия, стремясь таким образом ускорить разработку и освоение промышленностью высоких технологий. Индия, когда-то один из крупнейших заемщиков Мирового банка, продолжает пользоваться его финансовой поддержкой, но ее объем снижается: 1995 — 1119 млн. долл., 1996 — 776,6 млн. долл., 1997 — 626,5 млн. долл. (доля в общей сумме займов Мирового банка 8,8%, 5,4%, 4,3% соответственно). Усиливается зарубежная активность индийских предпринимателей, их инвестиции в проекты за границей выросли более чем вдвое за 1990/91-1996/97 фин. гг., особенно предоставление консультационных услуг. Они ориентированы в основном на страны Ближнего и Среднего Востока, постепенно расширяются контакты с ЕС. С 45 странами подписаны соглашения об избежании двойного обложения.

Курс реформ не означал отказа от перспективного планирования (осуществляется 9-й пятилетний план на 1998 — 2002 гг.), но заметно менял его приоритеты, усиливая финансирование инфраструктуры, включая научно-техническую. Видимо, этим объясняется интерес крупных зарубежных фирм к созданию в Индии своих центров. Наличие здесь технически грамотных кадров и низкая (по сравнению со странами Запада) зарплата привлекли такие компании, как “Майкрософт”, “Моторола”, “Новел”, “ИБМ”, организовавшие в 1996-1997 гг. свои предприятия. Крупная швейцарско-шведская компания “Эй-Би-Би” намерена в ближайшие годы перевести до 50% своего штата в развивающиеся страны, в первую очередь Индию и Китай. Эта практика ускоряет приобщение к современным технологиям. Сектор программного обеспечения растет в Индии с начала 90-х годов высокими темпами, в нем занято 160 тысяч человек, постоянно расширяется экспорт программных продуктов. В 1996 г. он составил один миллиард долларов и по прогнозам может вырасти до 4 млрд. долл. в 2000 г.

В официальных правительственных документах подчеркивается необходимость перехода от импортозамещения к усилению интеграции, большей открытости национальной экономики, использованию преимуществ международной торговли. Однако политика тарифной защиты национального производителя продолжает доминировать, что нашло отражение в долгих и непродуктивных переговорах с ВТО. Индия добивается вступления в эту организацию, но крайне неохотно открывает свой рынок для импорта потребительских товаров, на чем настаивают МВФ и ВТО, ссылаясь на растущие валютные резервы Индии и стабильный платежный баланс. В начале 1998 г. правительство пошло на некоторые уступки, объявив о снятии ограничений на импорт 340 наименований продукции, в том числе некоторых видов бумажной, текстильной. Однако торговые контрагенты Индии считают, что эти меры затронули малозначимые товары. Для индийских экспортеров более важным станет упрощение процедур при ввозе средств производства. Что касается снижения в 1998 г. импортных пошлин на чай, поступающий из Шри-Ланки, Бангладеш и Непала, то результаты неоднозначны. Усиление конкуренции понизило его цены на внутреннем рынке, которая не компенсирована частичным реэкспортом ланкийского чая, а также вывозом высококачественных сортов индийского.

Импортозамещающая индустриализация, характерная до последнего времени для стратегии развития Индии, не решила проблему нищеты, массовой безработицы, по индексу человеческого развития Индия занимает 135 место среди 150 стран. И все же страна в ходе индустриализации снизила уровень нищеты, хотя оценки носят приблизительный характер — с 50% общей численности населения в 50-х гг. до 30% в середине 90-х гг. Проживание за чертой бедности (доход на человека в день один доллар) остается уделом миллионов людей. Наверное, есть логика в том, что в 1998 г. Нобелевскую премию по экономике получил индийский исследователь Амартья Сен за изучение методов определения степени бедности. Резервации бедности — сельские районы, в них проживает 33% людей, отнесенных к этой

категории, по сравнению с 20% в городских ареалах, где легче найти хотя бы случайный доход. Этот показатель, типичный для экономики стран Третьего мира, мирно соседствует с наличием у населения Индии свыше семи тысяч тонн золота, традиционно выполняющего многофакторную роль в жизни граждан: это и страховой фонд, и средство сбережения, и престиж, и, наконец, обязательный элемент такого события, как создание семьи, — приданое невесты должно включать не менее 155 г золота. Эту традицию не в силах переломить никакая модернизация. Возможно, особая значимость желтого металла в культурной и экономической традиции Индии помогла вывести ее ювелирную промышленность на лидирующие позиции в хозяйстве и экспорте.

Очень медленно, неравномерно, но в Индии происходит повышение доходов, ставшее реальностью для миллионов людей, что предотвратило в обществе явление, которое эксперты ООН на основе изучения ряда переходных экономик называют стрессом реформ. Так характеризуется состояние социума, когда в результате резких негативных сдвигов в экономике люди теряют ориентацию, не понимают происходящего, не верят в перемены к лучшему. В результате возникает массовая апатия, отказ от активной позиции. Хронический стресс в обществе приводит к тому, что большинство населения, экономическое положение которого ухудшается, теряет интерес к жизни, ищет выход в наркотиках, алкоголе, наконец, добровольном уходе из жизни. В результате резко, подчас необратимо, снижается интеллектуальный потенциал страны.

В Индии, начавшей построение самостоятельной современной экономики с низкого старта, даже незначительное увеличение доходов широких слоев населения порождает огромную психологическую отдачу. Позволю себе личные впечатления от посещения страны в середине 80-х и 90-х годов. Бросается в глаза динамизм индийского общества, даже в традиционно неторопливой провинции, его очевидная модернизация и откровенная вестернизация в больших городах.

Основная часть трудовых ресурсов по-прежнему занята в сельском хозяйстве, а падающая трудоабсорбционность промышленности (на 1% ее роста приходится 0,3-0,7% роста занятости) не позволяет рассчитывать на увеличение рабочих мест в соответствии с предложением рабочей силы. Ее ежегодный прирост составил соответственно 1,9% в 1980 — 1990 гг. и 2% в 1990 — 1995 гг. Занятость на предприятиях государственного и частного секторов растет медленно: с 26,1 млн. человек в 1991 г. до 27,9 млн. в 1996 г. при официально зарегистрированной безработице 37 млн. человек в 1998 г. В этих условиях денационализация и акционирование госпредприятий вызывает протест профсоюзов, поскольку неизбежен рост безработицы из-за типичной для госпредприятий избыточной занятости.

Масштабы безработицы в Индии в ходе индустриализации резко возросли в результате роста населения (влияние западных методов борьбы с эпидемиями, гуманитарная помощь голодающим, относительное сокращение спроса на живой труд в сочетании с традициями большой семьи и многодетности). В результате сложилась армия безработных в масштабах, каких не знали страны Запада, и во всех ее формах одновременно — видимая, скрытая, структурная, застойная. М. Тодаро характеризует такую безработицу как исторически уникальное явление, присущее развивающимся странам. Индия — не исключение.

Устойчивые темпы роста ВВП привели к некоторому увеличению подушевого дохода (в 1995 г. 340 долл. в абсолютных показателях и 1260 долл. по паритету покупательной способности). Годы реформ отмечены ростом правительственных продовольственных субсидий с 28 млрд. в 1992/93 гг. до 75 млрд. рупий в бюджете 1997/98 гг. Мировой банк констатирует: “государственная распределительная система рассматривается как основа сети безопасности для защиты бедноты от отрицательных ценовых колебаний, порождаемых экономическими реформами”. Но даже при низком уровне подушевого дохода потребительский рынок страны с населением почти в миллиард человек огромен. Сохраняющееся расслоение по доходам, типичное для экономики с крупными ареалами нищеты, предполагает наличие узкой группы с сверхдоходами, предъявляющей спрос на предметы роскоши и современные товары длительного пользования. Австралийские бизнесмены, начиная борьбу за позиции на

индийском рынке, сформулировали это весьма выразительно: “мы поставляем товары не Индии, а Бомбею, Мадрасу, Нью-Дели”, имея в виду, что эти города-мегаполисы концентрируют население с высокими доходами.

Но главная привлекательность индийского рынка уже сегодня, и еще больше в перспективе, состоит в формировании среднего класса. Официальные правительственные источники причисляют к среднему классу от 200 до 250 млн. человек. Правда, отсутствуют показатели, какой доход принят за основу принадлежности к среднему классу. Отражением этого процесса можно считать некоторый рост прямых налогов в общих поступлениях в центральный бюджет: с 22,3% в 1992/93 гг. до 26,5% в 1997/98 гг. По мнению тех же источников, это огромный рынок с дифференцированным спросом. Одним из признаков его нового качества стал ажиотажный спрос на модификацию национального автомобиля “Марути 800”, когда индийцы переплачивали на его покупке, не желая ждать несколько месяцев. Ведущие мировые фирмы-производители высококачественных потребительских товаров, в т. ч. длительного пользования, представлены в Индии своими торговыми марками — Кока Кола, Келлогс, Леви Стросс, Рибок, Филипс, Бош, Сони, Панасоник и т. д. Особенно активную политику завоевания рынка Индии ведут “гранды” автомобилестроения — Дженерал Моторз, Сузуки, Форд, Даймлер-Бенц, Тойота, Хонда, Пежо и др. Хотя взрыв консюмеризма произошел сравнительно недавно, в Индии действует примерно 500 добровольных организаций по защите прав потребителя.

Можно считать, что мощный развивающийся внутренний рынок в определенной степени ослабляет объективную потребность в ориентации производства на экспорт.

Индустриализация в глобализирующейся экономике

Глобализация в рамках МХ не отменяет объективной необходимости индустриализации в развивающихся странах, особенно в ее экспортно-ориентированном варианте, но одновременно усложняет проведение такой политики. В канун 90-х годов эксперты ЮНИДО считали, что “истинная сложность развивающихся стран состоит в их неспособности проводить даже в будущем индустриализацию на основе, которая не была бы продиктована извне”. В 1996 г. эта позиция конкретизируется в предположении, что крупные, чрезмерно дифференцированные, неэффективные предприятия, созданные в период импортозамещения, “не смогут выстоять в новом либерализованном окружении и должны быть полностью реструктурированы”. В Индии, как считают некоторые экономисты, либерализация может подорвать высокотехнологичные отрасли, ориентируя производство и экспорт на ресурсоемкие отрасли. Это во многом совпадает с положением в реформируемой экономике России, где наукоемкие производства, лишившись бюджетных дотаций, в короткий срок потеряли лидирующие позиции.

Глобализация меняет промышленную политику в развивающихся странах, “сужая возможности выбора, поскольку большинство решений сводится к более тесной интеграции в мировую экономику”. Содержанием такой политики становится переход от защиты и стимулирования отдельных секторов или отраслей к повышению конкурентоспособности экономики в целом косвенными методами — увеличением инвестиций в инфраструктуру, образование, НИОКР. Характерно, что в ходе индийских реформ 90-х социальная составляющая ВВП, правда, низкая, всего 2,4%, не сократилась. Однако надо заметить, что подавляющее большинство населения Индии, занятое в неорганизованном секторе, а это почти 90% рабочей силы, не подпадает под действие государственного социального обеспечения. Социально-экономические стандарты остаются очень низкими.

Азиатский финансовый кризис усилил настроенное отношение к глобализации. Отражением этих настроений стало заявление Генерального секретаря ООН Кофи Аннана в сентябре 1998г.: “Миллионы и миллионы граждан убеждаются на своем опыте, что глобализация это не подарок судьбы, а сила разрушения, подрывающая их материальное благополучие или их привычный образ жизни”. На мой взгляд, ссылка на привычный образ

жизни имеет знаковый характер, это своего рода отторжение вестернизации, а какой еще может быть глобализация в современном мире? Не исключено также попятное движение, определенное усиление (в который раз) регулирующей роли государства. Так, в недавнем анализе финансовых трудностей Японии поставлен вопрос, не стала ли их причиной слабость государственного контроля за деятельностью коммерческих банков, развязавших спекулятивный бум.

Уход государства из экономики Индии в годы реформ не произошел, но имело место снижение его функции собственника, ослабление контроля и регулирования. Для характеристики этого процесса уместно использовать удачное определение В. Мельянцева “дозированный интервенционизм”. Для местного и особенно иностранного частного капитала стали доступны прежде закрытые отрасли, что в сочетании с девальвацией рупии, снятием многих ограничений на экспортно-импортные операции позволило в 1992 — 1996 гг. довести средние темпы роста ВВП до 5-6% в год. Среднегодовой объем экспорта вырос незначительно — с 6,3% в 1980 — 1990 гг. до 7% в 1990 — 1995 гг., но при заметном росте в нем доли промышленных товаров — с 59% в 1980 г. до 75% в 1993 г. В экспорте сохраняется преобладание промышленных товаров с низким наукоемким и техноемким содержанием. Осторожная внешнеэкономическая политика способствовала росту валютных резервов страны: 1991 г. — 3,6 млрд. долл., 1995 — 18,0 млрд., 1997 — 24,7 млрд., 1998 — 25,1 млрд. долл.

Правительство Индии, возглавляемое с марта 1998 г. Аталом Ваджапай, предполагает повысить среднегодовой темп роста ВВП до 7%, промышленности до 12%. Неизменным остается курс на поддержку национального производства, в том числе мерами по защите внутреннего рынка. Официально провозглашена борьба с нищетой как долгосрочная задача правительства. Падение мировых цен на нефть может улучшить финансовые показатели Индии, поскольку нефтепродукты занимают одно из первых мест в ее импорте.

Проведение Индией серии ядерных взрывов в мае 1998 г., встреченное бурным ликованием населения, было, на мой взгляд, преодолением комплекса неполноценности, вызванного “догоняющим” развитием. Вхождение в ядерный клуб мировых лидеров стало для Индии определенным рубежом в системе “притяжение-отталкивание” западных стратегий и методов развития, сознанием того, что страна состоялась как современная держава. Хотя после проведенной серии ядерных испытаний, США объявили экономические санкции против Индии, они не были поддержаны другими государствами “семерки”, слишком велика заинтересованность в ней как крупном торговом партнере. Однако на США в последние годы приходилась основная доля (26,6%) всего объема прямых инвестиций в Индии, а главное, правительство США решило ограничить экспорт технологий, что в первую очередь затронет экспортно-ориентированный сектор программного обеспечения.

Сокращение инвестиций из-за рубежа может болезненно сказаться на передовых отраслях Индии с учетом того, что после принятия реформ в 1991 г. ожидался их приток в размере 10 млрд. долл. в год, а реальный показатель за весь период не превысил 27,3 млрд. Для оценки остроты потребности в притоке капитала извне можно сравнить этот показатель с 200 млрд. долл., которые правительство страны считает необходимыми инвестировать в инфраструктуру в ближайшие пять лет. Доля Индии в инвестициях в развивающиеся страны незначительна — 2,7 млрд. долл. из 110 млрд. в 1996 г. (Для сравнения — доля КНР 42 млрд., Мексики 6,4 млрд.) Основные иноинвестиции ориентированы на нефтепереработку, развитие телекоммуникационных систем, транспорт.

Импортозамещающая индустриализация резко усилила многослойный характер индийской экономики. Усилиями прежде всего государства в стране созданы крупные современные предприятия в аэрокосмической, военной отраслях, достигнут определенный уровень компьютеризации наряду с сохранением массы традиционных отсталых производств. Их модернизация требует времени и крупных инвестиций, а вытеснение грозит дальнейшим увеличением безработицы.

Опыт Индии для России (имея в виду определенное сходство в проведении индустриализации, вплоть до прямых заимствований из практики хозяйственного управления бывшего

Советского Союза), дает основание считать, что импортозамещение при всех негативах этого периода способствует количественному расширению промышленной базы в целом и созданию основы для дальнейшего продвижения. Но при этом необходим сильный частный сектор, который несет конкурентные начала в экономике. Импортозамещение по мере его исчерпания комбинируется с постепенным переходом (в большой экономике, инерционной по определению, резкие перемены опасны) к выборочной экспортной специализации, отходом от сугубо сырьевой направленности.

Оценивая положительную макроэкономическую динамику и стабильность хозяйственной конъюнктуры в годы реформ в Индии, важно учесть, что они в значительной степени были продолжением предшествующего развития. В экономической модели смешанной экономики, осуществляемой Индией, менялись акценты, усиливались рыночные рычаги, в первую очередь конкуренция, коммерциализировалась деятельность госсектора, но основа была однотипной — легитимность частной собственности, частного предпринимательства.

По сути экономические реформы 90-х годов отвечали корпоративным интересам частного сектора, не отменяя функцию государства как организатора экономического пространства. Стратегия индустриализации преимущественно в импортозамещающем варианте с невысоким уровнем включенности в мировое хозяйство, если судить по экспортной квоте в ВВП, ограниченным участием иностранного капитала в экономике сделали Индию менее уязвимой по сравнению с другими развивающимися рынками, особенно в разгар азиатского финансового кризиса. Однако общее ухудшение мировой экономики отразилось на некотором снижении ВВП страны: 1995 — 7.9% роста, 1996 — 7.5%, 1997 — 5.6%. По оценке МВФ, это результат действия как циклических факторов, так и ослабления эффекта реформ 1991 г. Рекомендуемые им методы в целях достижения устойчивого роста, по сути, продолжение тех же реформ — либерализация внешней торговли и инвестиций, укрепление экономической инфраструктуры, дерегулирование внутреннего рынка.

Оценивая кратко — и среднесрочные перспективы экономического развития Индии, можно предположить продолжение индустриализации, втягивание в этот процесс отраслей легкой промышленности, части мелких производств, дальнейшее укрепление базы современной промышленности крупным частным предпринимательством. Импортозамещение в возрастающей степени взаимодействует с экспортной ориентацией, тем более что номенклатура вывозимых готовых промышленных товаров достаточно традиционна (ткани, готовая одежда, кожаные изделия, но быстро растет доля бытовой электроники, транспортного оборудования).

Укрепление экспортного потенциала существенно зависит от притока частных иностранных инвестиций. Но в годы реформ наблюдается большой разрыв между объемами согласованных внешних инвестиций и реально поступивших: с 1991 г. по март 1998 г. последние составили немногим больше 20% от согласованных с 15 ведущими инвесторами сумм. Видимо, это свидетельство еще не преодоленного предубеждения к индийскому рынку, сложившегося в годы активного вмешательства государства в экономику.

Переход к устойчивому развитию большой экономической системы с высокими темпами роста населения и постоянной массовой безработицей объективно требует увеличения государственных социальных ассигнований, тормозя тем самым инвестиции в экономику. Войдя в ядерный клуб, Индия обрекла себя на продолжение дорогостоящих программ в этой области, что также отвлекает средства от других секторов.

Участие страны в глобализации представляется неравномерным, непоследовательным. В таком положении нет особой индийской специфики. Мировой банк считает: «глобализация на самом деле не глобальна — она еще не затронула огромную часть мировой экономики. Присоединение к глобальной экономике ... несет как риски, так и возможности. Например, она может сделать страны более уязвимыми перед внешними ценовыми шоками, усилить дестабилизирующее воздействие изменений в потоках капитала».

Наличие в Индии обширных отсталых (периферийных) анклавов, сохранение которых — вынужденная необходимость, означает их несостыкованность с мировыми экономическими

тенденциями. Вместе с тем сложившиеся в экономике Индии динамичные отрасли (программного обеспечения, аэрокосмическая) адекватны требованиям глобализирующейся экономики. В короткие сроки преодолеть такую раздвоенность невозможно. Проблема того, как подтянуть (модернизировать) отсталые хозяйственные структуры, избежав при этом социальных сбоев, предопределяет длительное сосуществование экстенсивных и интенсивных факторов роста.

Э.Е. Лебедева

ТРОПИЧЕСКАЯ АФРИКА НА ПОРОГЕ XXI ВЕКА

На рубеже веков все отчетливее выявляются серьезные вызовы мировому сообществу, обусловленные противоречивым взаимодействием двух явно не равновесных тенденций — глобализации и дифференциации (фрагментации) мирового развития. В последней трети уходящего столетия превалировала первая тенденция, особенно в экономической сфере. “Локомотивом” процессов глобализации выступает постиндустриальный мир, который объективно ориентирует незападные общества на свою систему производства, стандарты потребления, социо- и политико-культурные ценности и нормы.

Тенденция дифференциации мирового развития только набирает силу. Она возникает и в результате “отталкивания” от нивелирующего воздействия глобализации, и нарастающих кризисных проявлений ее, и процессов децентрализации госуправления на основе и вследствие укрепления гражданского общества, расширения начал самоуправления. Наиболее весомо и зримо тенденция дифференциации/фрагментации проявляется в сфере социокультурной, демонстрируя непреодолимую тягу различных сообществ, групп людей к сохранению или возрождению своей этнокультурной, региональной или конфессиональной идентичности, что влечет за собой нередко смену форм государственности. Подпитываться эта тенденция будет и стремлением найти свою собственную парадигму экономического развития странами, оказавшимися маргиналами в глобализирующейся системе мирохозяйственных связей. К числу таких стран относятся и государства Тропической Африки. Определить их роль, место и перспективы эволюции в новом мировом контексте, складывающемся под влиянием вышеозначенных факторов, представляется нам весьма актуальным.

Горькие плоды модернизации (экономические и социальные аспекты)

В субсахарском регионе в постколониальный период просматривалось, по сути, два подхода к проведению социально-экономической модернизации в рамках модели имитационного, догоняющего развития.

Первый подход ориентировал африканские страны на самостоятельное развитие в ходе их форсированного встраивания в индустриально-модернистскую парадигму общественной эволюции. Ставка делалась на государство, которому отводилась роль не просто регулятора и координатора социально-экономической деколонизации, а главного агента развития и социальной консолидации. Индустриализация, урбанизация, развертывание массовой системы образования и здравоохранения, развитие производственных коммуникаций и т.п. объявлялись приоритетными направлениями развития. Идеологическая составляющая этой стратегии характеризовалась значительной пестротой идейных течений — от антиимпериализма, национализма до африканских и “марксистских” социализмов на страновом уровне, а на региональном сначала доминировали идеи нового мирового экономического порядка (НМЭП), а затем — “опоры на собственные силы”.

В первые полтора десятилетия политической независимости при наличии значительных ресурсов, полученных благодаря относительно благоприятной конъюнктуре на мировых рынках сырья и большого объема внешних кредитов, и на волне национального подъема в регионе были достигнуты определенные экономические успехи, и особенно были заметны достижения в становлении социальной инфраструктуры. Это относилось, правда, к тем странам, где и пока политическая нестабильность — постоянный элемент общественной эволюции региона — не перерастала в серьезные и затяжные конфликты. В то же время при многократном росте ВВП сдвиги в его структуре за период с 1960 по 1980 г. — снижение удельного веса сельского хозяйства с 41.0% до 20.0% при росте доли промышленности и строительства с 20.0% до 38.0% и сферы услуг с 39.0% до 42.0% — не приобрели

качественного характера. Вместо интенсификации сельскохозяйственного производства, что должна была стимулировать урбанизация (города в официальных планах характеризовались как “полюса роста”), наблюдалась деградация производительных сил в деревне, разрушение традиционных экосоциальных систем. Происходило в основном экстенсивное наращивание сырьевого промышленного и сельскохозяйственного потенциала, что свидетельствовало об усилении сырьевой ориентации африканских стран. При этом сохранялся и узкоочаговый характер развития на базе одного-двух видов традиционного сырья. Это развитие не стимулировало (или стимулировало в ограниченных пределах) модернизацию секторов хозяйства, работающих на внутреннее потребление и поглощающих основную часть самодельного населения, что, естественно, не вело к созданию высокоэффективного единого экономического организма на капиталистической основе.

В этих условиях кризисные явления в мировом капиталистическом хозяйстве середины-конца 70-х гг., относительное падение спроса на африканское сырье со стороны ведущих капиталистических стран, переходящих к использованию ресурсосберегающих технологий, при скачкообразном росте внешней задолженности стран региона и кризисе их платежеспособности оказало самое пагубное воздействие на экономику африканских государств. Последние, стремясь предотвратить надвигающийся кризис или хотя бы смягчить его возможные последствия, принимают Монровийскую стратегию развития (1979 г.) и Лагосский план действий по ее реализации (1980 г.) на период до 2000 г. Эти документы свидетельствовали о намерении стран региона сменить хозяйственные приоритеты с преимущественного развития традиционного экспортного сектора и расширения своего участия в международном обмене в качестве поставщика сырья на удовлетворение нужд населения при использовании прежде всего местных ресурсов, в частности, расширения импортзамещающих производств. Все это базировалось на концепции “опоры на собственные силы”, которая продолжала и развивала идеи периферийной экономики, альтернативного развития, а впоследствии и НМЭП, так и не получившего практического воплощения, но уже под углом зрения региональной интеграции.

Среди приоритетов вышеуказанной концепции — самообеспечение продовольствием в региональном масштабе, создание индустриальной базы и обеспечение условий для реализации суверенитета государства над природными ресурсами, увеличение объема внутриафриканской торговли, развитие транспорта и связи в целях региональной интеграции. Однако на пути экономического регионализма стояли серьезные преграды — такие как чрезвычайная отсталость социально-экономических структур, однотипная сырьевая ориентация национальных экономик и слабая их взаимодополняемость, “привязка” местных хозяйственных комплексов к экономике бывших метрополий, противоречия идеологического, политического и иного плана в условиях превращения Африки в плацдарм противостояния сверхдержав и т.п. Что же касается мобилизации внутренних факторов развития на национальном уровне, то она, судя по опыту Танзании, лишь стимулировала тенденцию к полной зарегулированности хозяйственной деятельности, расширению госсектора или даже его доминированию в экономике при крайней неэффективности его функционирования и тем самым еще более содействовала экономическому упадку развивающихся стран. В целом же концепция “опоры на собственные силы” и в региональном, и в национальном измерениях оказалась больше декларацией о намерениях, став всего лишь частью общественной мысли и общественного сознания.

Жесточайший экономический кризис 80-х гг., усугубленный засухой, голодом во многих странах сахельской зоны, свидетельствовал о крахе надежд и иллюзий концепции “коллективного самообеспечения” и в целом стратегии самостоятельного развития при опоре на государство, провала попыток такого рода модернизации в рамках модели догоняющего развития и индустриально-модернистской хозяйственной парадигмы в целях обеспечения самоподдерживающегося экономического роста. Как реакция на неудачу таких попыток, сформировался второй подход к решению проблем развития. Он был предложен

международными финансовыми организациями и заключался в реализации разработанных ими программ финансовой стабилизации и структурной перестройки (СП) экономик африканских стран. Эти программы обязывали страны-заемщицы проводить курс на развитие рыночных отношений через либерализацию экономики, сокращение госсектора и госвмешательства в хозяйственную деятельность и приватизацию предприятий, а также экономическое стимулирование экспортного производства при ограничении импортзамещающего. Этот второй подход к социально-экономической модернизации был обусловлен и ориентирован на постиндустриально-глобалистскую парадигму общественной эволюции. Она базируется на приоритетности новых технологий, максимальной либерализации международных хозяйственных и особенно кредитно-финансовых отношений, объективной необходимости распространения транснациональной финансово-хозяйственной деятельности на все страны и регионы, усиления их взаимозависимости и как следствие радикального сокращения экономической роли и функций государства. К середине 80-х гг. МВФ/МБРР из консультантов по долгосрочному планированию, кредиторов и разработчиков различных хозяйственных проектов превратились в “дирижеров” экономического роста стран региона, из крупнейшего кредитора и регулятора международной задолженности в своего рода гаранта кредитоспособности стран субсахарской части континента в целях стимулирования инвестиционной деятельности частного капитала.

Более 30 стран Африки за прошедшие годы осуществили экономические реформы в том или ином объеме. Много копий сломано, в том числе и в научных кругах, по поводу оценки результатов СП. Дискуссия по этому поводу оживилась в середине 90-х гг. в связи с заявлениями экспертов Экономической комиссии ООН по Африке (ЭКА ООН) и международных финансовых организаций о переменах к лучшему в экономике большинства государств региона. Оценки экспертами МВФ, ЭКА ООН и Африканского банка развития ежегодного прироста ВВП в 1994-1997 гг. колебались в пределах 2.3 — 4.5% на фоне стагнации 80-х — начала 90-х гг. (в 1981-90 гг. — 1.7%, 1991-93 — 0.7%). Более детальный анализ свидетельствовал о значительной дифференциации по параметрам экономического роста как между странами, так и субрегионами Тропической Африки. Только в восьми — в основном малых — странах (Ботсвана, Лесото, Маврикий, Сейшелы, Свазиленд и т.д.) темпы роста ВВП достигли или превысили уровень 6%, намеченный программой действий ООН по развитию Африки на 90-е гг. В 19 государствах показатели экономического роста в середине текущего десятилетия колебались в пределах 3-6% (Гана, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Кения и др.), в 23 находились на отметке 0-3%. При этом только в 27 странах темпы прироста ВВП были выше, чем показатели демографического роста. Что касается субрегионов, то опережающими темпами развивается Юг Африки. Среднесрочный прогноз экономического развития Тропической Африки свидетельствует, что до 2001 г. ежегодный прирост ВВП должен составить там 3.3 — 4.6%.

Нынешний экономический рост, хотя его темпы и признаются недостаточными, учитывая разрушение экономического потенциала многих стран в предыдущие десятилетия и высокий прирост населения, рассматривается многими аналитиками как следствие и показатель успеха СП, международного сотрудничества и интеграции африканских стран в мировую экономику. Однако ситуация отнюдь не столь однозначна.

Действительно, развертывание процессов приватизации и либерализации важнейших сфер хозяйственной деятельности государств региона стимулировало инвестиционное оживление — абсолютный объем притока ПИИ вырос в 1993-96 гг. с 1.7 до 5 млрд. долларов. Открытие биржевых рынков ряда стран привлекли не только европейских и американских, но и азиатских инвесторов. Налицо явный рост торгового оборота — в 1998 г. ожидался прирост объема всего африканского экспорта на 5% и импорта — на 7%. Снятие Соединенными Штатами и другими развитыми странами ограничений на импорт ряда товаров африканской обрабатывающей промышленности (ткани, кожаные изделия и т.п.) также усилят эту тенденцию. Активная политика международных финансовых институтов по списанию и реструктуризации внешнего долга стран, имеющих хорошие экономические показатели,

создает стимул для частного инвестирования и расширения базы поддержки структурных реформ внутри данных государств.

Однако анализ тех же параметров с точки зрения степени и перспектив включенности стран региона в мировую экономику свидетельствует о безрезультативности и даже провале СП, так как именно за период их проведения маргинализация Тропической Африки в мировой экономике устойчиво нарастала.

Главными динамичными факторами (или даже движущими силами) интернационализации мирового хозяйства выступают ПИИ и международная торговля. Период с 1980 г. по 1995 г. охарактеризовался резким снижением доли Тропической Африки во всех ПИИ развивающихся стран — с 15% до 3%. В те же годы наблюдалось и сокращение удельного веса континента в глобальной торговле — с 5% до 2.2%. Основные потоки ПИИ в развивающемся мире направлялись в страны (в первую очередь НИС ЮВА), политически стабильные и обладающие ресурсами (человеческий и финансовый капитал, новые технологии) для того, чтобы встроиться в современную систему разделения труда в соответствии с его новой структурой и потребностями.

Проблема внешней задолженности, превратившись в серьезный, долговременный фактор мирохозяйственного развития, весьма чувствительно сказывается и будет сказываться на всех элементах и участниках международных экономических отношений. Однако страны Тропической Африки оказались в столь сложной ситуации, что она делает невозможным выход большинства из них из долгового тупика, тем более самостоятельный. Из 41 государства, которых МБРР в 1996 г. определил как “бедные страны с огромной задолженностью”, 32 находятся именно в субсахарском регионе. Казалось бы, внешний долг Тропической Африки (223 млрд. долларов) меньше по своим абсолютным размерам, чем задолженность стран Латинской Америки или ЮВА, а условия погашения долговых обязательств, особенно для наименее развитых стран (НРС), по всем параметрам наиболее благоприятные среди регионов развивающегося мира. Тем не менее иностранная задолженность стала для африканских государств гораздо более тяжелым бременем — отношение долга к ВВП ныне составляет 70%, его стоимость в 2.5 раза превышает экспортные поступления, а на обслуживание внешних долговых заимствований идет 1/5 часть доходов от экспорта (исключая ЮАР). Сложность решения долговой проблемы, привлечения инвестиций, активизации международной торговли обусловлена целым комплексом факторов, связанных с фундаментальными изъянами и деформациями местных хозяйственных организмов, которые устранить в ходе СП не удалось. Это — узость слабо диверсифицированного экспортного сектора, несбалансированность экономики, неспособность воспользоваться преимуществами широкого и разностороннего участия в международном разделении труда, огромная (превышающая средний для развивающихся стран уровень) зависимость от притока внешних ресурсов.

Проблема, сравнимая и взаимосвязанная с проблемой внешней задолженности, — бегство капитала. Общая сумма оттока капиталов за последние 10 лет составила порядка 15 млрд. долларов (без ЮАР). Причины бегства капиталов частично совпадают с причинами слабого притока ПИИ: отсталость, узкая база для накопления и инвестирования, низкая норма прибыли, нестабильность плюс безудержная тяга правящей верхушки к личному обогащению и упрятыванию своих капиталов в иностранных банках и т.д. С разворовыванием средств во многом связана и неэффективность “официальной помощи развитию”. За полтора десятка лет с 1980 г. она выросла с 3.1% до 11.5% ВВП субсахарского региона (на фоне того, что в Южной Азии официальная помощь развитию сократилась за тот же период с 2.6% до 1.5%, в Латинской Америке — с 0.7% до 0.3%, а в ЮВА составляла всего 0.8% ВВП), но при этом ВВП на душу населения в 1980-93 гг. снижался на 0.8% в год. Таким образом, связка “внешний долг — бегство капитала”, обескровливая экономику стран Африки южнее Сахары, усиливает процессы их маргинализации в системе мирового хозяйства.

Что же касается социальной сферы, то после разрушительного кризиса 80-х гг. именно СП, жестко ограничивая государственные расходы, объективно содействовали ее упадку,

беспрецедентному росту бедности, резкому снижению качества человеческих ресурсов. И это несмотря на принимаемые МВФ/МБРР с середины 80-х гг. меры социальной поддержки населения как часть программы восстановления и укрепления экономического роста.

На фоне снижения бедной части населения даже в многонаселенной Южной Азии субсахарский регион, судя по прогнозам, в новое тысячелетие войдет с самым большим массивом — около 50% населения — бедноты, доходы которой обеспечивают лишь физическое выживание. Повышению доли африканцев, живущих за “чертой бедности”, способствуют и самые высокие темпы демографического роста в мире, и быстрый прирост городского населения (табл.2). К тому же масштабы бедноты в африканских городах (42% урбанизированного населения) намного превышают подобные показатели по развивающемуся миру в целом (28%).

Таблица 1 *Динамика доли населения, находящегося ниже черты бедности***

Регионы	1985 (%)	1990 (%)	2000 (прогноз в %)
Третий мир	30.5	29.7	29.7
Тропическая Африка	47.6	47.8	49.7
Восточная Азия	13.2	11.3	4.2
Южная Азия	51.8	49.0	36.9
Северная Африка и Ближний Восток	30.6	33.1	30.6
Латинская Америка и Карибский бассейн	22.4	25.2	24.9

** Ниже 370 долларов в год.

Источник: La pauvreté urbaine en Afrique Subsaharienne, p. 1-7.

Таблица 2 *Показатели социально-экономического развития Третьего мира, его регионов и мира в целом (1996 г.)*

<i>Показатели</i>	<i>Тропическая Африка</i>	<i>Южная Азия</i>	<i>Восточная Азия</i>	<i>Латинская Америка и Карибский бассейн</i>	<i>Третий мир</i>	<i>Мир</i>
Индекс человеческого развития*	0,425	0.500	0.725	0.925	0.600	0.835
ВВП на душу населения (долл. США)♦	1400	900	2800	5800	3200	4570
Средняя ожидаемая продолжительность жизни	51.4	60.5	68.8	68.8	63.3	64.8
% грамотных среди взрослых	56.0	49.6	80.7	86.8	70.6	76.3
% школьников всех уровней	42	52	58	69	55	60
% населения, к-рому доступны медицинские услуги	57	77	92	73	80	
% населения, обеспеченного безопасной питьевой водой	45	81	68	80	70	

Детская смертность***	174	119	42	46	97	86
Калорийность рациона питания (на человека)	2096	2356	2751	2757	2546	
Темпы прироста населения (1993-2000 гг., в %)	2.9	2.0	1.0	1.7	1.8	1.5
Темпы прироста городского населения (1993-2000 гг., в %)	4.9	3.5	3.5	2.4	3.5	2.5

Источник: Human Development Report 1996. N.Y., 1996, pp. 145-146, 152-153, 176-179.

Как видно из таблицы, последнее место Тропической Африки по “индексу человеческого развития” в развивающемся мире, среди его регионов и в мире в целом “подкреплено” другими индикаторами, свидетельствующими о серьезном отставании африканских стран в сфере питания, школьного образования, здравоохранения. Отсутствие доступа для около или более половины населения к питьевой воде, элементарным средствам санитарии, плохое питание объясняют очень высокий уровень заболеваемости, детской смертности и самый низкий “порог” продолжительности жизни. Страшным бичом для африканцев является СПИД — в 1995 г. из 15.5 млн. ВИЧ-инфицированных в мире 11 миллионов приходилось на субсахарский регион. СПИД — это проблема уже не медицинская и даже не социально-экономическая, а политико-государственная: масштабы пандемии таковы, что могут привести в некоторых районах и даже государствах к обезлюдиванию.

Признанием особой тяжести ситуации в социальной сфере Африки стало выдвижение образования и здравоохранения в приоритеты грандиозной программы “Дать шанс развитию”, инициированной в 1996 г. ООН. На эти цели намечено собрать 25 млрд. долларов. Другие приоритеты программы — это обеспечение продовольствием, укрепление органов госуправления, поддержание мира, защита окружающей среды. Основную часть суммы взяли обеспечить координаторы программы — МВФ/МБРР — при условии продолжения структурных реформ, что становится все более проблематичным для субсахарского региона.

Еще в 1989 г. ЭКА и ОАЕ приняли “Африканскую альтернативу программам структурной адаптации в целях социально-экономического возрождения и трансформации”, где подвергли обоснованной критике чрезмерный упор при проведении реформ только на финансовые мероприятия, использование сугубо рыночных механизмов в условиях слабой, недиверсифицированной производственной базы и разбалансированного рынка, жесткость и поспешность в осуществлении структурной перестройки. Возросшее в начале 90-х гг. внимание МВФ/МБРР к реальному сектору экономики либо запоздало (в некоторых странах последствия финансовой стабилизации носили просто разрушительный характер для их слабой экономики), либо не было адекватным задаче возрождения деградирующего сельского хозяйства — базового сектора экономики развивающихся стран, диверсификации экспорта в соответствии с новыми потребностями мирового рынка и т.д.

Политика СП с самого начала встретила жесткое скрытое или открытое противодействие правящих кругов подавляющего большинства стран региона, что было вызвано не только и не столько просчетами в ее реализации. Они всеми силами противились предстоящему разделу госвласти и собственности. Тем не менее, как считают многие исследователи, вопреки ожиданиям неолибералов-ортодоксов, именно представители “rent-seeking capital”, то есть правящие группы, госбюрократия высшего звена и связанная с государством торгово-посредническая буржуазия более всего выигрывали от политики приватизации и либерализации, отхватывая себе “лучшие куски”, от расширения и диверсификации источников аккумуляции капитала в ходе СП. Особенно неприкрытый грабеж госресурсов и госсобственности наблюдался в бывших странах соцориентации, где

госчиновникам и партфункционерам не противостояли группы местной буржуазии, уже закрепившиеся в отдельных секторах экономики, как это имело место в некоторых капиталистически ориентированных странах. Отказ (временный или частичный) правящих кругов от проведения реформ был связан и с явной либо возможной внутривластной нестабильностью из-за растущего недовольства масс тяжелыми социальными последствиями СП. Политика структурной перестройки разрушила социальный контракт дореформенного периода между верхами и “городской коалицией” (служащие, рабочие, средние слои), в качестве механизма реализации которого выступали клиентелизм и корпоративизм, а идеологической основой служили концепции экономической модернизации под руководством государства. Главными оппонентами СП стали профсоюзы, ассоциации профессионалов (врачей, учителей, юристов), студенческие организации, городская беднота.

Все менее безусловной становится в последнее время поддержка рыночных преобразований даже со стороны тех африканских лидеров, которые признают конструктивный вклад СП в экономический рост своих стран. Они вынуждены учитывать усталость населения от трудностей пореформенного периода. Но, пожалуй, более весомая причина — притягательность примера “азиатских тигров” с их высокоэффективным госрегулированием хозяйственной деятельности.

Привлеченные феноменальными экономическими успехами НИС ЮВА африканские страны стремятся перенять их успешный опыт в различных сферах экономики. Так, разработанная в Гане программа достижения к 2020 г. статуса государства со средним доходом пытается соединить подходы Сингапура к развитию человеческих ресурсов, рынков капиталов и мореплавания с достижениями Малайзии и Индонезии в сфере сельского хозяйства, Южной Кореи и Тайваня в развитии промышленности, а Гонконга, Таиланда и Индонезии — в текстильном производстве. В созданных при поддержке МБРР свободных экономических зонах уже функционируют предприятия по выпуску электроники и высокоточных приборов. Начата реализация общенациональной программы компьютерной грамотности, создаются окружные центры по научным ресурсам, определяются ориентиры научных и промышленных исследований.

Понятно стремление Ганы и других африканских государств адекватно реагировать на запросы новой постиндустриальной эпохи. Однако пока отсутствуют достаточные экономические и социокультурные условия для того, чтобы новые технологии смогли стать реальным элементом производительных сил в регионе. Несмотря на значительное увеличение в последние годы бюджетных расходов на образование и здравоохранение, сохраняется на длительную перспективу низкое качество человеческих ресурсов, перенасыщенность рынка дешевой рабочей силой, резкое отставание от других периферийных регионов в сфере науки. Медленный и крайне неравномерный по странам процесс эволюции от доиндустриальных к индустриальным формам производства в 80-х — начале 90-х гг. характеризовался откатами, тенденциями к деиндустриализации, что не создает почвы для широкой востребованности новых технологий в странах региона. Анклавы же высокотехнологичных предприятий в свободных экономических зонах не могут стать точками роста и развития еще и из-за сохраняющейся дезинтегрированности различных экономических укладов, находящихся на различных экономических и технологических уровнях, слабости межотраслевых и внутрихозяйственных связей.

Что же касается эффективности переноса на африканскую почву достижений НИС ЮВА, то совершенно справедливы выводы российских ученых о том, что экономический и научно-технический рывок НИС ЮВА обусловлен не суммой мер, а системностью решений, строго соблюдаемой на макро- и микроуровне и включенной в денежную, кредитно-финансовую, структурную и научно-техническую политику, в опоре на государственные структуры и мировой рынок. Не менее, если не более важное значение имели особенности местной социокультурной среды, культурно-исторического наследия этих стран, в частности, для обеспечения высокой эффективности государственного регулирования. Крайне негативный опыт вмешательства африканского государства в экономику при фактической

приватизации его (государства) правящими группами, ориентированными на потребление, склонными к традиционным формам присвоения и управления, чуждыми в большинстве своем любым идеям модернизации не дает основания надеяться, что даже африканским лидерам “новой волны” удастся успешно применить “азиатскую” модель госрегулирования.

Одновременно в условиях экономического спада нарастало отчуждение населения от государства, которое теряло возможность эффективно проводить политику клиентелизма, политического патронажа с целью поддержания единства социумов через неформальное персональное представительство во властных структурах сил этнорегионального и корпоративно-профессионального характера. Давно прошла эйфория по поводу завоевания политической независимости африканскими странами; мобилизационный потенциал антиколониального национализма, а затем антиимпериализма социалистических концепций различного толка и т.п. был полностью исчерпан к началу 90-х гг. В условиях нарастания процессов деэлитизации сильнейший удар по государству нанесли рыночные реформы. Государство не стало — да в подавляющем большинстве случаев оно и не желало становиться — координатором структурной перестройки, а также потеряло свою роль гаранта социальной выживаемости масс, развития и поддержки социальной инфраструктуры — единственной сферы, где достижения государства были очевидны.

В условиях глубочайшего экономического упадка, обвала социальной сферы, достигшей своего пика политической нестабильности, кризиса и в ряде случаев коллапса государственности начало 90-х гг. ознаменовалось широким распространением настроений “афропессимизма”. Знаковым событием стало появление знаменитых идей А. Мазруи о реколонизации Африки бывшими метрополиями, но уже на гуманитарной основе. Затем он смягчил свою позицию, призвав африканцев к “самоколонизации” в целях возрождения континента.

Объединительный пафос идей Мазруи, скрывающийся за его неприемлемо-пугающей терминологией, а также выдвижение им южного субрегиона во главе с ЮАР в качестве авангарда интеграционных процессов на континенте приобрели во второй половине 90-х гг. широкую поддержку африканских стран. Но нет единства ни в рядах юаровских политических элит, даже в правящей АНК, ни в общественно-политических кругах других стран в понимании того, чего они ждут от возможного лидерства ЮАР, какие процессы экономического и социокультурного плана оно может генерировать. Одна часть африканского истеблишмента видит в ЮАР лидера модернизационных процессов, нацеленных на скорейшее включение в постиндустриально-глобалистскую парадигму развития. Другие связывают с ЮАР свои надежды на противодействие тенденциям глобализации, понимаемой как усиление империалистической эксплуатации и гнета, и на становление африканской идентичности через подъем сельского хозяйства, развитие образования на местных языках и пропаганду идей “африканского ренессанса” на базе виртуальной культурно-исторической преемственности (присвоения достижения древних цивилизаций, в частности египетской). Это естественная реакция на тяжелые социальные издержки СП, на нивелирующее воздействие глобализации, широкое проникновение западной массовой культуры на фоне деградации местных культур.

Однако надежды и тех, и других совершенно иллюзорны в ближайшей перспективе. Даже торговые связи ЮАР со странами субсахарского региона пока более чем скромны — экспорт в середине 90-х гг. составлял около 5% от ее общего экспорта, а импорт продукции из государств региона не превышал 3%. В ЮАР еще остается открытым вопрос о национальном согласии, и не исключены различные политические пертурбации, увязание в собственных проблемах. Главное же в том, что на пути хозяйственной интеграции в Тропической Африке, признанной ЭКА ООН и МВФ/МБРР одним из приоритетов экономической деятельности африканских стран, остается множество преград. Они связаны, как уже подчеркивалось, и с общим низким уровнем экономического развития, узкими и недостаточно дифференцированными внутренними рынками с сырьевой экспортной составляющей, слабой взаимодополняемостью национальных хозяйственных комплексов, нехваткой иностранной валюты, неконвертируемостью собственных денежных средств, отсутствием собственного

законодательства и т.п., а также конкуренцией стран-членов экономических сообществ, опасениями более слабых государств быть раздавленными соседями и др. Существуют препятствия и политического плана — борьба за лидерство в субрегионе, наследие политического противоборства прежних лет и др. Все это объясняет чисто формальный характер многих организаций экономического сотрудничества, существующих в основном на бумаге, но тем не менее не отменяет определенной активизации в последние годы торгово-экономических связей между африканскими странами в ходе и результате либерализации хозяйственной деятельности.

Итак, на пороге XXI века Тропическая Африка как регион демонстрирует результаты социально-экономического развития, прямо противоположные тем, которые намечались стратегиями модернизации — разнонаправленными, но осуществляемыми в рамках модели догоняющего развития. Не сумев воспользоваться достижениями научно-технической и информационной революций, Африка южнее Сахары закрепила на позициях маргинальной части мирового хозяйства. Наблюдается и резкий рост зависимости (и это в условиях краха биполярности) государств региона от постиндустриального мира в сфере хозяйственной деятельности вплоть до решающего участия в управлении ею со стороны МВФ/МБРР (исключение — ЮАР).

Значительно углубилась и дифференциация африканских стран по параметрам социально-экономического роста, приобретая черты поляризации.

На одном полюсе группа государств из наименее развитых — финансовые банкроты с разрушенной и криминализованной экономикой и с преобладанием деструктивных процессов в политико-государственной сфере (Либерия, Сьерра-Леоне, Чад, ДРК — бывший Заир, Республика Конго, Сомали и др.), что позволяет употребить в отношении этих стран термин “виртуальная государственность”. Печальная участь большинства из них состоит в том, что они стали авансценой разрушительных процессов в регионе и мире.

Отчаянные усилия, чтобы избежать такого поворота событий, предпринимают некоторые НРС (Эфиопия, Эритрея, Мозамбик), чья экономика оказалась к началу 90-х гг. на грани коллапса после многолетних гражданских войн и/или экспериментирования популистских, социориентированных режимов и т.д. Они демонстрируют высокие темпы роста ВВП, пользуясь активной поддержкой МВФ/МБРР, которые, в частности, принимают меры по реструктуризации, снижению и списанию части непомерного внешнего долга этих стран. Но чрезвычайно низкий стартовый уровень экономического развития перед началом реформ, бедные природные ресурсы, периодические неурожаи в связи с плохими погодными условиями, невысокий и постоянно колеблющийся спрос на их традиционное сельскохозяйственное сырье на мировых рынках, негативное воздействие политической нестабильности в соответствующих субрегионах и т.п. делают ближайшие перспективы этих стран весьма проблематичными.

Другой полюс составляют ЮАР — индустриально-аграрный гигант (по африканским меркам) — и более десятка стран (Нигерия, Зимбабве, Гана, Кения, Ботсвана, Кот-д’Ивуар, Сенегал, Габон, Уганда и др.), аграрных с более или менее развитым промышленным сектором, базирующимся на горнодобыче и переработке сельскохозяйственного сырья. 6%-ный рост ВВП части этих стран базируется на permanently высокой востребованности их топливно-сырьевых ресурсов на мировых рынках. Другие страны, хотя и восстановили (Гана, Уганда) или усилили свой экономический, в первую очередь традиционный экспортный, потенциал в результате проведения в том или ином объеме структурных реформ, не могут перешагнуть порог 5%-ного роста ВВП при необходимых для дальнейшего экономического прогресса 7-8%.

Стремясь покончить с маргинальностью и зависимостью, добиться равноправной интеграции в мировое хозяйство африканские страны делают ставку на индустриализацию (создание Союза за индустриализацию Африки в 1996 г.), суб- и региональную экономическую интеграцию и расширение международного сотрудничества с целью установления постоянного диалога с ведущими державами мира. Действительно, только при

мощной и растущей поддержке со стороны постиндустриального мира, международных финансовых организаций (списание и реструктуризация внешних долгов, приток больших объемов ПИИ в перерабатывающую промышленность, улучшение условий международной торговли и т.п.), а также формировании и эффективном функционировании субрегиональных и континентальных рынков эти страны смогут закрепить статус аграрно-индустриальных. А в длительной перспективе при максимально благоприятных условиях, включающих помимо вышеуказанных и сохранение политической стабильности — внутристрановой и субрегиональной, одна-две из них могут превратиться в индустриально-аграрные на базе традиционных отраслей индустрии.

Однако это не решает главной задачи африканских стран — преодолеть свою маргинальность в мировом хозяйстве, что возможно при нахождении новой “ниши” в современной системе международного разделения труда. На наш взгляд, возможности, — правда, пока больше умозрительные и в неопределенном будущем — для стратегического маневра, учитывающего потребности данной системы, а также императив обеспечения глобальной экологической безопасности и устойчивого развития, лежат в сфере природо- и ресурсосбережения.

Африканским “эксклюзивом” в быстро растущей мировой сфере услуг может стать экотуризм. Перспективность этого направления индустрии путешествий обусловлена экологизацией общественного сознания жителей развитых стран, ростом их озабоченности разрушением природной среды в Африке, с одной стороны, а с другой — тягой к природе, особенно экзотической, населения западных индустриальных мегаполисов, их интересом к традиционному образу жизни. Пока на долю всей Африки приходится только 2% численности международных туристов и 1% доходов от мирового туризма. Но развитие этой отрасли сферы услуг уже находится среди стратегических приоритетов целого ряда стран. Ее вклад в ВВП Ботсваны, Лесото, Ганы оценивается в 4-5%, Гамбии — в 10% на фоне среднего показателя по континенту в 0.5%-1.5% ВВП. В Танзании, Замбии, Сенегале, Уганде туристическая индустрия также развивается опережающими темпами.

Несомненно, однако, что превращение туризма в экономически значимый и стабильный источник иностранной валюты зависит от темпов, масштабов, уровня развития туристической индустрии, что само по себе требует огромных капиталовложений, а также форм собственности на ее объекты. В африканских странах они находятся в руках главным образом иностранного капитала, частично государства, а местный частный сектор конкурировать с ними пока не способен. Необходимо и достижение максимального баланса между потребностями динамичного развития отрасли, задачами предотвращения эколого-культурной деградации и нуждами населения, особенно жителей районов, где расположены (или планируется их создание) национальные парки, охраняемые территории, при активном вовлечении местных жителей в процесс сохранения уникального растительного и животного мира, целостности экосистем.

Доходы от экотуризма могут быть направлены на решение наиболее сложных, не терпящих отлагательства и к тому же взаимосвязанных проблем продовольственного обеспечения, защиты окружающей среды, преодоления негативных социальных последствий урбанизации. Большая роль здесь принадлежит оригинальной, идущей вразрез с модернизационным “беспределом” разрушения традиционных социокультурных систем и давно уже предлагаемой российским ученым Л.Ф. Блохиным (и сейчас у него уже много сторонников) стратегии поддержки и укрепления традиционной системы хозяйствования. Эта стратегия, по мнению ученого, единственно способна сохранить влажные тропические леса — “легкие планеты”, а также сдержать сельскую миграцию в города, не допуская тем самым как дальнейшего падения продуктивности аграрного сектора в лесных районах региона, так и роста городской бедноты, масштабы которой и так уже превышают все подобные показатели в других регионах Третьего мира.

Но главные источники доходов для решения вышеуказанных проблем и обеспечения

устойчивого развития африканцы видят в установлении нового мирового экологического порядка, т.е. в перераспределении природной ренты в пользу стран-обладателей огромных запасов полезных ископаемых (в условиях постепенного истощения их в других частях планеты), значительного биосферного потенциала и генетических ресурсов, необходимых для развития биотехнологий. Все настойчивее выдвигается и требование коренного пересмотра существующего порядка доступа африканских стран к мировым научно-техническим достижениям и современным технологиям, поскольку их импорт является главным, а в большинстве случаев единственным источником научно-технического и технологического прогресса. Постиндустриальные страны вынуждены будут в средне- или долгосрочной перспективе предпринять более серьезные, чем это делается теперь, шаги в данном направлении. Но будет ли тогда кому и за что платить, учитывая, во-первых, быструю деградацию тропикоафриканской природной среды, которой уже нанесен колоссальный и в ряде случаев невосполнимый урон, и, во-вторых, неспособность государств региона самостоятельно решать проблемы защиты окружающей среды и нерациональное использование их сырьевого потенциала. Да и само африканское государство давно уже испытывается на прочность в ходе модернизационных процессов и роста этнонациональных противоречий, и результаты неутешительны.

Кризис государственности

На пороге XXI века в постиндустриальном мире доминируют федеративные/конфедеративные (ЕС) формы государственности, институты и механизмы которых позволяют разрешать и этнонациональные коллизии, сохраняя устойчивость центральной власти, государства в целом и укрепляя гражданское общество через расширение “поля самоуправления”. Насколько перспективно усвоение ориентиров постиндустриальных государств в сфере государственного строительства в Тропической Африке в условиях глубочайшего кризиса “государства-нации” и в ряде стран превращения его в виртуальную реальность?

О причинах подобной ситуации написано достаточно, отметим лишь важнейшие из них. В африканских странах отсутствуют — или же деформированы — многие важнейшие социо- и политико-культурные предпосылки строительства “государств-наций”. Так, конгломераты этносов-племен, произвольно объединенные колонизаторами в единое государство, не обладают общей доколониальной историей, общей системой символов, и компенсировать это искусственно создаваемыми идеологическими конструкциями, присвоением культурных достижений иных цивилизаций и т.п. оказалось невозможным. Африканское государство не смогло стать главным инструментом строительства нации и ее стержнем, как то предполагала идеология национализма. Заимствованные у капиталистически развитых стран Запада национально-государственные формы закономерно адаптировались к реальному состоянию местных обществ с их низким уровнем и специфическим характером формационно-цивилизационного развития, авторитарно-тоталитарной политической культурой и авторитарной политической традицией. Сложившееся под воздействием этих факторов африканское государство представляло собой различные модификации персоналистской власти, олицетворяющей скрытую, реже открытую доминацию сил этнического и/или этнорегионального и/или конфессионального характера, и по определению не могло стать адекватным инструментом формирования нации как согражданства. Значительно ослаб уже к началу 80-х гг. и мобилизационный потенциал антиколониального национализма в результате его эволюции в этатизм самого дурного толка. Не оправдало себя как метод создания национально-политического единства принуждение. Явно снизилась в условиях растущего экономического спада и эффективность клиентелизма как интегратора общества.

Социальные издержки экономической модернизации; политическая либерализация,

обернувшаяся институционализацией племенного и/или этнорегионального и/или конфессионального сепаратизма; падение интереса западных патронов к ряду африканских стран как стратегическим партнерам после окончания “холодной войны” и начавшийся передел сфер влияния между США, Францией и Англией способствовали возникновению конфликтов на этнополитической почве. Начало 90-х гг. на континенте, и прежде лидировавшем по уровню конфликтности, было отмечено наибольшим количеством столкновений, вооруженных выступлений, восстаний, а главное — гражданских войн с самыми разрушительными последствиями для молодой, по историческим меркам, африканской государственности. Ангола, Сомали, Судан, Либерия, Руанда, Бурунди, Заир, Мозамбик, Эфиопия являлись самыми “болевыми точками” континента на протяжении многих лет и даже десятилетий. Сейчас в большинстве этих стран боевые действия прекращены. Но ведь гражданские войны оставляют крайне опасный “институционный вакуум” вкпе с полным экономическим упадком и социальным хаосом. Центральная власть перестает осуществлять свои базовые функции в полном объеме, контролирует лишь часть территории и национальных ресурсов и не способна на должном уровне поддерживать экономическую и социальную инфраструктуру, порядок и законность. Межэтническая рознь, бывшая главной либо периферийной составляющей конфликта и обычно увязанная с клановой, региональной, религиозной борьбой, не преодолена. Более того, не выработаны (за исключением Эфиопии и ЮАР) адекватные подходы, механизмы решения этой важнейшей для полиэтничных африканских стран задачи.

Кризис государства, как прогрессирующая с середины 70-х гг. потеря им контроля над обществом, перерос таким образом к началу 90-х гг. в процессы дестатизации, последствия которых неоднозначны как для общества, так и для государства. Вследствие этих процессов не столько укрепляются элементы гражданского общества, сколько усиливается социальная фрагментация и маргинализация населения. Что же касается государств, то процесс “саморазгрузки” в ряде случаев завершился его распадом. Дело в том, что государство в странах Тропической Африки в целом было ориентировано — под флагом национального строительства — лишь на сохранение территориальной целостности путем достижения временного ограниченного консенсуса этноэлит и использования насилия. Поэтому в большинстве стран региона результатом политических реформ стали либо смена ведущих этнополитических кланов у руля правления (в связи с уходом прежнего президента), либо большее или меньшее расширение доступа оппозиционных элит к власти-собственности и экономическим ресурсам. Новые конституции почти повсеместно узаконивали прежнее унитарное государственное устройство.

Конфликт в районе Великих Озер (1996-1997 гг.) со всей очевидностью выявил следующие моменты. Во-первых, жестко централизованные авторитарные государства доказали свою недееспособность обеспечить национально-политическое единство в полиэтничных странах Африки в силу слабости (или отсутствия) идеологического, регулятивного (законодательство и судебная система) и распределительного (политический патронаж) ресурсов или механизмов. Во-вторых, миллионы беженцев делают границы государств, особенно если в приграничных районах или в регионе в целом проживают разделенные или родственные этносы, крайне условными, а ситуацию в государствах региона крайне взрывоопасной. В-третьих, “игра в суверенную государственность в Тропической Африке”, по выражению канадского политолога Р. Джексона, имела два важнейших внешнеполитических измерения — неизменность границ и клиентельные отношения стран континента со сверхдержавами, которые закрепляли межгосударственные отношения в Африке. После окончания “холодной войны”, создания нового государства Эритреи, признанного мировым сообществом, в условиях роста конфликтности в 90-е гг. этой игре, похоже, приходит конец. В-четвертых, среди других вызовов централизованному государству нужно отметить связанные с уже упоминавшимися общемировыми тенденциями ограничения государственного суверенитета во все более взаимосвязанном мире и разрушения монополии государства на насилие при увеличении контрабанды оружия по негосударственным каналам.

В этих условиях смена унитарно этатистской модели на федеративную кажется обоснованной, закономерной и неизбежной. Подход Х. Ассефы — директора “Найробийской мирной инициативы” (Кения) к урегулированию этнонациональных противоречий, снижению их конфликтного потенциала находится именно в этом русле. Он предлагает, в частности, для Африканского Рога (Судан, Эфиопия, Сомали, Джибути) создать механизм, который легитимизировал бы этническую идентичность в рамках большей региональной идентичности.

Не вдаваясь в обсуждение сугубо практической стороны и временных перспектив реализации этой идеи, подчеркнем лишь, что “область Африканского Рога отличается (по сравнению с другими районами Африки южнее Сахары — Э.Л.) намного большим этническим и цивилизационным единством, а своеобразная пара Эфиопия и Эритрея издревле образуют самостоятельную суперэтническую и цивилизационную систему”. Подход Ассефы представляется нам в принципе наиболее конструктивным и для преодоления кризиса в районе Великих Озер. Только в рамках конфедеративного (ДРК, Руанда, Бурунди, ...), а затем федеративного государства возможно подлинное, реализуемое в мирных формах самоопределение народов с высокоразвитым этническим самосознанием. Это относится в первую очередь к тутси и хуту, чье кровопролитное противостояние чрезвычайно дестабилизирует ситуацию в Центральной и Восточной Африке.

Сместить фокус исследований с модели унитарного “государства-нации”, дискредитировавшей себя в Тропической Африке, к федералистской модели государственности регионального масштаба предлагают и политологи, занятые поисками путей становления в Африке демократии. К. фон Бургсдорф определяет регион как географическую зону, населенную группой этносов, имеющей общие социокультурные ценности, однотипное производство и средства к существованию и приверженность сходной традиционной системе политической самоорганизации. “Федералистская модель в наибольшей степени способна использовать традиционный социокультурный потенциал африканских сообществ. Это не вопрос “модернизации”, а скорее возрождения и мобилизации долго презираемой традиционной жизни сообществ, приспособленной к сегодняшним требованиям политической стабильности и ответственности”.

Одновременно невозможно, по мысли немецкого ученого, заложить основы демократии, не используя при формировании и функционировании институтов федеративного государства систему мер и механизмов, предлагаемых “демократией согласия” (“consociational democracy”) А. Лийпхарта. Понятие “регион”, несомненно, требует разработки. Пока же хотелось бы заметить, что оно не может однозначно базироваться только на факторах традиционного плана при всей их важности. До сих пор большое значение имеют “скрепы” колониального прошлого африканских стран, поскольку преимущественно сохраняется не только привязка к экономике бывших метрополий, но и их влияние (культурное, интеллектуальное) на формирование местных политических элит. Это иногда содействует дезинтеграционным тенденциям на государственном уровне при наличии культурно-цивилизационной и этнической общности населения региона и отдельных его частей (отделение Эритреи от Эфиопии, появление самопровозглашенного государства Сомалиленда).

Некоторые приверженцы федералистских идей из явных сторонников панафриканизма считают, что “Африке необходим федерализм, если она хочет выжить как цивилизация”, и рассматривают федерализм в качестве подлинной базы африканского единства.

Таким образом, федерализм на этнокультурной территориальной или экстерриториальной основе признается важнейшим инструментом — и базой становления демократии на континенте, разрешения внутривосточных и региональных конфликтов этнонационального характера и формирования африканского единства. Однако насколько эти теоретические построения отвечают африканским реалиям? Да и вообще возможен ли в странах Африки южнее Сахары отказ от модели унитарного “государства-нации” и переход к

децентрализованной структуре федеративного, конфедеративного и кантонального типа на принципах самоуправления и самоопределения этнокультурных групп, как это предлагали некоторые ученые еще 10 лет назад.

Новые эфиопские власти дают положительный ответ, подчеркивая, что “идея трансформации или развития Африки без реструктурирования колониальных государств не осуществима”. Они провели в 1993 г. референдум в Эритрее и, признав его результаты, пошли на предоставление Эритрее политической независимости. Конституция (1995 г.) провозгласила Эфиопию федеративной республикой парламентского типа. 14 провинций были преобразованы в 9 субъектов федерации, основанных на этно-национально-территориальном принципе и наделенных правом на самоопределение вплоть до отделения. В том же 1995 г. были проведены многопартийные выборы в Учредительное собрание страны и в большинство региональных советов самоуправления.

Становление в Эфиопии государства федеративного типа можно рассматривать (и некоторые африканисты так и делают) как исключительный феномен в масштабах Тропической Африки эпохи политической независимости, обусловленный главным образом высоким духовным потенциалом эфиопов. Еще более уникальным выглядит и опыт формирования федерации в ЮАР. Действительно, многое мешает утверждению федеративной государственности в африканских странах. Среди основных преград — менталитет элит и контрэлит, не готовых поступиться и толикой власти, уже имеющейся или будущей; идентификация носителей федералистских идей с сепаратистами; укорененность формулы “право наций на самоопределение вплоть до отделения” в элитарном и массовом сознании. К тому же из опыта федеративного строительства в Нигерии, как, впрочем, и других развивающихся стран, также следует, что федерации в обществах незападного типа качественно отличаются от своего аналога в западноевропейско-североамериканском ареале, где федерализм был важнейшим элементом и условием формирования правового государства и гражданского общества. В Нигерии даже в период второй республики, когда существовал весь институциональный механизм федеративного государства, последнее носило авторитарно-централизованный характер с доминированием центральной исполнительной власти по вертикали и горизонтали при превращении штатов всего лишь в “клиентов” Центра.

Таким образом, на пути становления подлинного федерализма в Африке южнее Сахары с его идеологией самоуправляющегося общества на базе согласования интересов его различных групп, с принципами субсидиарности, равенства субъектов, договорных отношений их с Центром и друг с другом стоит множество препятствий. И тем не менее... Все апокалиптические прогнозы о начале гражданской войны в Нигерии (с последующим ее распадом) после отказа военного режима признать действительными результаты президентских выборов 1993 г. не оправдались. И дело здесь не только в жестком противодействии военных любым проявлениям даже не сепаратизма, а стремления защитить свою среду обитания от хищнической деятельности иностранных монополий (пример — казнь группы правозащитников из штата Огони). Даже такой квазифедерализм (“штатизм”, как весьма справедливо называют его некоторые нигерийские исследователи) лишь с элементами национально-территориальной автономии при отсутствии представительных институтов содействует смягчению этнорегиональных противоречий и препятствует возникновению массовых конфликтов на этой почве. Не отмечены масштабные выступления и в Эфиопии с начала реализации курса на этнонационально-территориальное самоопределение народов.

А вот в других обширных регионах Тропической Африки, как уже отмечалось, наблюдается резкий рост конфликтности этнонационального характера. И с этой разрастающейся угрозой африканцам придется справляться самим. Мировое сообщество в лице ООН и ведущие державы Запада все более ограничивают свое прямое вмешательство в конфликты на африканском континенте после неудач миротворческих операций ООН в Сомали, провала усилий Франции стабилизировать ситуацию в Руанде и Бурунди и предотвратить падение режима Мобуту. Да и невозможно традиционными методами миротворчества ликвидировать или хотя бы подорвать этнонациональную базу

противоборства и тем самым предотвратить повторение или разрастание конфликта в будущем.

Механизм урегулирования межэтнических конфликтов, предлагаемый некоторыми российскими учеными, включает такие элементы, как предоставление автономии (территориальной и культурной экстерриториальной) и права на создание партий, других политических организаций, а также оказание социально-экономической помощи в развитии отсталым народам. Несомненно, такой комплексный подход в ряде случаев может стать преградой росту этнонационализма. Однако автономизация унитарных государств не решает или решает частично и временно проблемы разделенных этносов, миллионов беженцев, прозрачности границ, возможности возникновения региональных конфликтов и т.п. Поэтому конструктивное решение национального вопроса в странах субконтинента лежит, на наш взгляд, в укоренении федеративной государственности как попытки приостановить прогрессирующие процессы деэтанатизации и срыв этих стран в государственный и социальный коллапс, ставший реальностью в обширных районах Африки южнее Сахары.

* * *

На пороге XXI века Тропическая Африка предстает как маргинальная часть мирового хозяйства и мирового сообщества, не обладающая потенциями изменить эту ситуацию в обозримом будущем. Ориентиры социально-экономического плана, которые постиндустриальный мир транслирует на незападные общества, такие как качество жизни человека, превращение знания, интеллекта в главный ресурс общественных трансформаций, а высоких технологий — в “локомотив” развития остаются для стран региона за гранью реальности. Реализация различных стратегий модернизации приблизила лишь десяток стран к заветному для них порогу индустриального развития, в обширных же районах наблюдаются экономический упадок, социальная деградация и хаос. Глобализация, многократно усилив демонстрационный эффект достижений экономического и технологического авангарда в лице мировых держав, расколола общественное сознание африканцев. Значительная их часть продолжает испытывать пессимистические настроения в связи с перспективами развития стран субсахарского региона, втянутыми в процессы глобализации, и настаивает на противодействии последним. Лидеры же “новой волны” из бывших левых — популистов, марксистов и т.п., проведшие свои страны через начальные этапы структурной перестройки или еще только приступивших к ним, верят в спасительную силу глобализации. Они требуют от мирового сообщества помощи в создании конкурентной экономики на индустриальной базе, чтобы занять достойное место в современной системе разделения труда. И мировое сообщество, в первую очередь МВФ/МБРР, поддерживает эти иллюзии, толкая африканские страны в прежнее русло имитационного и догоняющего развития. Однако разрушительные последствия попыток модернизации “по-европейски” для подавляющего большинства стран региона свидетельствуют об ограниченных адаптационных возможностях тропикоафриканских цивилизаций в условиях стремительно происходящих перемен в мире, о доминации в регионе архаичной социокультурной среды, которая не может “переварить” нововведения. Отсюда нарастающие процессы деэтанатизации, социальной дезорганизации и хаоса. Очевидно, африканским странам, чтобы остановить эти деструктивные процессы, нужна стратегия, ориентированная на поддержание их цивилизационных основ. И именно постиндустриально-глобалистская парадигма общественной эволюции с ее императивом глобальной экологической безопасности и устойчивого развития, как это ни парадоксально звучит, создает возможности, правда, в неопределенном будущем, для реализации странами Тропической Африки своего пути развития, нацеленного на сбережение природной среды и ресурсного сырьевого потенциала в условиях его постепенного исчерпания в других частях планеты. Тем же целям поддержания цивилизационных основ местных обществ, использованию традиционного социокультурного потенциала должна служить федеративная/конфедеративная форма государственности, предоставляющая определенную

степень самоуправления этнонациональным группам. Одновременно ей предназначена роль своего рода социально-политической “скрепы” рассыпающихся в ходе кризиса “государств-наций” африканских социумов.

ИСЛАМСКИЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

С завершением холодной войны и прекращением глобального противостояния коммунистического “Востока” и капиталистического “Запада” мир не стал более безопасным и комфортным: идеологические “войны по доверенности” прежней эпохи в целом стихли и на передний план выдвинулись конфликты “нового поколения”, вызванные столкновениями этносов, религий, культур, интересов. В поисках объяснения нестабильности и новых угроз, с которыми сталкивается международное сообщество в постконфронтационную эпоху, ученые и политики часто обращаются к фундаментализму. Его рассматривают по преимуществу как иррациональное и атавистическое по своей природе явление, создающее основу для стойкого противодействия модернизации и демократизации по европейско–американскому образцу, но также и как аналог экстремизма и религиозного фанатизма. Именно фундаментализм (как правило, с приставкой “исламский”) объявляют ответственным за многие беды и конфликтные коллизии современного мира. Для Запада фундаментализм превратился в новое идеологическое пугало взамен исчезнувшего коммунизма; в сегодняшней России феномен фундаментализма трактуют исключительно в алармистских терминах – как вызов целостности и стабильности государства, как синоним кровопролития и насилия, как деструктивный и дестабилизирующий фактор.

Наряду с сугубо негативной оценкой фундаментализма имеет место и идеализированное восприятие этого явления – взгляд на него как на средство преодоления духовного кризиса, идеологию, с помощью которой можно сблизить две системы ценностей: модернизм и традиционализм. Представители леворадикальных течений исламского мира часто трактуют фундаментализм как одно из направлений религиозного возрожденчества и ассоциируют его с борьбой против “культурного империализма” Запада. Существует множество других толкований и трактовок понятия “фундаментализм” – как научных, так и тесно привязанных к политической конъюнктуре. Воспроизвести их все совершенно нереально, да это и не входит в нашу задачу.

Что же такое фундаментализм? Религиозное течение? Идеологическая утопия? Охранительная, изоляционистская идеология, использующая религиозную терминологию и аргументацию для противодействия новациям, модернизации, глобализации, словом, всему тому, что может подорвать устои “Незапада”, его традиции и культурные ценности? Или же фундаментализм – это псевдорелигия, разновидность политической идеологии, служащей целям тоталитарного режима? И почему столь велико внимание именно к исламскому фундаментализму? Ответить на эти вопросы, а значит, и выявить место исламского фундаментализма в реалиях современного мира, можно только при условии “разведения” фундаментализма – религиозного проекта, который является по существу утопией, и фундаментализма – политической идеологии. Проясним для начала само понятие “фундаментализм” и историю его возникновения.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНДАМЕНТАЛИЗМА

Термин “фундаментализм” заимствован из христианства, где он использовался для обозначения ортодоксального течения в протестантизме. Оно зародилось в США в канун первой мировой войны среди консервативной части американских протестантов, которые защищали христианское учение от богословского модернизма и либерализма. В 1919 г. в Филадельфии была основана всемирная христианская фундаменталистская ассоциация. Ее

члены обвиняли “модернистов” и “либералов” в подрыве христианской веры и в забвении Евангелия в угоду “новому научному знанию”. Речь шла, главным образом, об эволюционной дарвинской теории, против которой фундаменталисты–клерикалы выступали на знаменитом “обезьяньем процессе” 1925 г. После второй мировой войны американские фундаменталисты стали именовать себя евангелистами, но термин “фундаментализм” остался и в узком понимании его трактуют как теологическое движение, нацеленное на сохранение того, что представляется основой (фундаментом) христианства – веры в непорочное зачатие и воскрешение Иисуса Христа.

Между тем современный фундаментализм отличается от того явления, которое существовало в протестантизме в начале XX века, и его давно рассматривают как феномен не только протестантского, но и католического, православного, иудаистского, буддийского, исламского и других вероучений. Сторонники этого религиозного течения провозглашают неизменность догматики, требуют буквального принятия содержащихся в священных книгах пророчеств, настаивают на строгом и неукоснительном исполнении всех религиозных предписаний.

В широком плане фундаментализм давно вышел за рамки чисто религиозного течения, превратившись в одно из направлений общественно–политической мысли. Это может быть не только теологическая позиция, противостоящая либерализму, но и политическая идеология, обернувшаяся в религиозную оболочку. Например, российский исследователь А. В. Малашенко считает, что фундаментализм – это “форма выражения цивилизационной константы, а суть его – “в стремлении воссоздать фундаментальные основы “своей” цивилизации, очистив ее от чуждых новаций, вернуть ей “истинный облик”. Другой российский автор, Е. Трифонов, объясняет фундаментализм как не имеющий рационального объяснения феномен социальной психологии, как явление, генетически связанное с коммунизмом, с которым фундаментализм объединяет “ненависть к европейской цивилизации и христианским ценностям”.

В контексте постмодернизации фундаментализм является ответом на вызовы, рождаемые современным развитием. Новый миропорядок, пришедший на смену конфронтационной эпохе с ее относительно четким построением, отличает полицентричность, множественность динамических процессов. Многие из них устремлены в будущее, в XXI век и нацелены на глобализацию, символом которой являются создающие скелет мировой экономики транснациональные корпорации и Интернет, зовущий человечество к планетарной (пока виртуальной) интеграции. Для глобализации, кроме того, характерен высокий уровень экономических и политических контактов между государствами и обществами, она ведет ко все большему прогрессу в международном разделении труда, к тому, что люди, сталкиваясь с другими стилями и уровнями жизни, видениями мира, очень часто обнаруживают свое отставание от более развитых государств. Это, собственно, и произошло со многими странами “Незапада”: они оказались на периферии постиндустриального мира, где США и другие развитые государства, благодаря своим превосходящим техническим достижениям, давно заняли все выгодные и лидирующие позиции в современном мире, который они пытаются построить на своих условиях.

Осознание этого порождает во многих развивающихся обществах фрустрацию и растерянность. Возникает “синдром неполноценности”, ощущение того, что национальной идентичности грозит смертельная опасность быть уничтоженной не в результате вторжения или захвата, а мирно, путем внедрения “западной отравы” – так в арабском мире и в Иране именуют рыночную экономику, светские идеалы, консюмеризм. Интеллигенция, духовенство, политики и идеологи “незападного” мира ведут лихорадочные поиски политических, экономических и идеологических противовесов европейско–христианским моделям развития, в том числе и на путях реализации религиозно–фундаменталистской утопии. Особый интерес в этом плане представляет исламский фундаментализм.

ИСЛАМСКИЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ПРОЕКТ

Для него характерна высокая степень политизации. Кроме того, как подчеркивает социолог Энтони Гидденс, “исламский фундаментализм, возникнув в результате столкновения западных новаций и традиционных культур, по многим параметрам отличается от религиозного (*читай, христианского – Д. М.*) фундаментализма Соединенных Штатов. С другой стороны, оба этих фундаментализма проникнуты сильными националистическими чувствами... Восстанавливая религиозные и культурные ценности, фундаменталисты ощущают потребность вновь утвердиться как сильная нация”. Но, разумеется, не только этой характеристикой объясняется рост внимания в мире именно к исламскому фундаментализму. Он обусловлен и другими факторами, в числе которых:

- геополитическая значимость мусульманского мира;
- существующие в нем огромные запасы нефти, которая и в XXI веке будет важнейшим стратегическим сырьем;
- наличие мусульманских общин в посткоммунистическом мире и во всех крупных государствах Запада; потенциальные угрозы, исходящие от них;
- рост проявлений терроризма во имя веры и религиозно–обусловленного сепаратизма в исламском мире и в странах Восточной и Центральной Европы;
- отождествление (с легкой руки С. Хантингтона) в постконфронтационную эпоху оси противостояния Север–Юг (богатые–бедные) со столкновением христианской и исламской цивилизаций.

Сам по себе исламский фундаментализм ни в коей мере не тождествен исламу, который, как и всякая мировая религия, не ограничивается только религиозной сферой. Это и кодекс поведения, и сумма моральных ценностей, и психология, и образ жизни. Ислам в значительной степени определяет характер экономических отношений, формы государственного управления, социальную структуру, быт, словом, он сохранил до настоящего времени свою жизнеспособность как мощная религиозно–культурная традиция.

В исламе фундаментализм – это лишь одно из течений, которое ставит своей целью укрепить веру в фундаментальные источники этой религии, привести нормы общественной и личной жизни в соответствие с заповедями ислама, заставить верующих неукоснительно выполнять предписания Корана и шариата, утверждать основы исламской экономики. Для крайних, экстремистских течений фундаментализма характерны резко агрессивное неприятие европейско–христианских духовных ценностей, повышенная политическая активность, готовность прибегнуть к насильственным методам, включая террористические.

Если суммировать взгляды фундаменталистов на тот идеальный общественный строй, который, по их замыслу, должен утвердиться в истинно исламском государстве, то все они сводятся к признанию необходимости положить в его фундамент теологические предписания ислама, мусульманское право и шариат.

В экономической области обобщенный фундаменталистский проект нацелен на утверждение основ исламской экономики – особого пути развития, определяемого шариатскими нормами владения собственностью и ее наследования, предписаниями Корана относительно торговли и финансовых дел: запрета на ростовщичество или ссудного процента (риба), выплаты закята (от слова *zaka* – “очищенный”, “быть чистым”) – налога на имущество, доходы и пр. Достижение социальной справедливости рассматривается как цель и стержневой момент всех экономических действий. Так, допускается трактовка ссудного процента как регулятора, с помощью которого можно устанавливать социальную справедливость, поскольку применение риба помогает исключить нетрудовые доходы; закят, который в теории должен распределяться среди бедных и неимущих, а на практике превращен в обычный государственный налог, призван “очищать” пользователей имущества и получателей доходов. Речь идет, следовательно, о создании такой системы, которая основывалась бы на равенстве и сотрудничестве всех ее членов.

Законодательства, ориентирующиеся на европейские образцы, должны быть отменены и приведены в соответствие с традициями и принципами ислама. Статус национальных и религиозных меньшинств трактуется согласно разделению всего населения на “мусульман” и “немусульман”. В соответствии с установкой на защиту общества от “вредного” воздействия внешних и внутренних сил, от той “отравы”, которую несут современные светские и материалистические идеи, созвучный им образ жизни, фундаменталистский проект строго регламентирует социальное поведение мусульман, особенно женщин: внешний вид, одежду, нормы поведения.

При желании в фундаментализме можно разглядеть не только умозрительную политико-экономическую модель, отдаленно напоминающую социалистическую, ибо она также строится на принципе распределения и одновременно исключает обогащение определенных слоев общества, но и реформаторскую тенденцию. Сторонники последней ориентируются на модернизацию, либерализацию исламской экономики, адаптацию ее к нуждам современного развития, включение в общемировые процессы.

Возвращая общество к истокам, традициям, в том числе и религиозным, идеологи фундаментализма утверждают таким способом культурную самобытность, противопоставляют “превосходящие духовные ценности” Востока, занятого “поисками бога”, Западу, погрязшему в материализме. В фундаменталистских движениях ощущается стремление очистить современное общество, создать новую модель, противостоящую “глобальной системе империализма”, которую поддерживают “богатые в богатых странах совместно с богатыми в бедных странах”.

Существуют и другие факторы, которые обусловили распространение фундаментализма в исламском мире: в большинстве его государств он прорастает на неблагоприятном экономическом и социальном фоне. Не в последнюю очередь феномен фундаментализма порожден разочарованием населения результатами предшествующего социального и экономического развития, которое обернулось для основной массы трудящихся крахом надежд на быстрый экономический рост. Это и своеобразное следствие кризиса модернизаторских доктрин, “предписывающих” интенсивное проведение реформ, насаждение рыночных отношений, болезненно сказавшихся в первую очередь на “простом человеке”. Во многих государствах исламского мира рыночные реформы не принесли заметных результатов, не разрешили множества тяжелейших социальных проблем в жизни основной массы населения. Экономический кризис, безработица и отсутствие перспективы – все это порождает разочарование и недовольство курсом, проводимым властями, создает психологический дискомфорт и расширяет базу фундаментализма и одной из его разновидностей – политического исламизма.

Способствуют распространению фундаментализма как общественно-политического течения и периоды кризисных ситуаций, когда политическая и международная нестабильность работают в пользу лозунгов “обновленного”, “очищенного от западной скверны” исламского общества, а фундаменталистская идеология превращается в наиболее доступный и приемлемый способ обретения идентичности. Так происходило во время кризисов в Персидском заливе в 90-е годы, в ходе арабо-израильского конфликта, гражданских войн в Афганистане, Сомали, Йемене, Алжире и Боснии. Именно тогда исламский фундаментализм представал как альтернатива утратившим свою привлекательность и влияние коммунистическим идеям, а также концепциям национализма и панарабизма.

Укреплению позиций фундаментализма способствует и сложившаяся в большинстве государств исламского мира политическая атмосфера: они отстают в утверждении структур гражданского общества, демократических прав и свобод; гарантами стабильности во многих странах является армия с присущим ей специфическим пониманием демократии и прав человека; диктаторские и авторитарные режимы остаются главной политической приметой мусульманского мира. Фундаменталисты же создают общественные и политические структуры (мечети, молельные дома, профсоюзы, больницы, банки, школы и др.), действующие параллельно и в обход государства. Фундаменталистские лидеры чаще, чем официальные

власти, апеллируют к простому человеку, выдвигая популистские, понятные “человеку с улицы” лозунги. Контролируемые фундаменталистами структуры прикармливают обездоленных, безработных, дают возможность самовыражаться людям, исключенным из процесса развития.

Далеко не последнюю роль в развитии и распространении фундаменталистского течения играет изменившаяся в большинстве исламских государств ориентация народного образования: изучению национального языка, традиций, а с ними и ислама как части национальной культуры, стало отводиться значительно больше места по сравнению с предшествующими десятилетиями независимого развития.

Итак, фундаменталистский проект ставит своей целью исламизировать все стороны общественно-политической жизни, возродить исламские институты – государства, семьи, права и других – в их традиционном или модернизированном виде, создать условия для развития исламской экономики как важнейшего средства решения вопросов социальной справедливости, удовлетворения материальных потребностей мусульман. Это явление можно расценить и как возрождение традиции, и как усиление интереса к религиозным ценностям со стороны тех социальных групп, чья жизнь оказалась дезориентирована, нарушена в результате модернизации, быстрых социальных и общественных перемен. Фундаментализм подразумевает также отрицание западно-христианской цивилизационной модели, и в этом качестве он функционирует как политическая идеология.

Взгляд на исламский фундаментализм как на нечто консервативное, обращенное в прошлое с целью воссоздания “золотого века” ислама не вполне соответствует действительности. “Классики” исламского фундаментализма (М.Абдо, Д. Афгани, А. Маудиди и другие), основоположники политического исламизма (М. аль Банна, С. Кутб и другие), их идейные последователи – исламские революционеры (Р. Хомейни, Х. ат-Тураби, Н. Эрбакан) – не ставят вопрос о возврате к формам, существовавшим на Аравийском полуострове в VII в., а заявляют лишь об адекватном нашему времени применении принципов Корана и шариата, о возможности особого пути экономического и политического развития, определяемого морально-ценностными и правовыми нормами ислама. Обосновывая право суждений (иджтихада) в пределах фундаментальных источников ислама – Корана и сунны, идеологи фундаментализма признают некоторые “новшества” (бида) и перемены, в том случае, когда их можно применить к потребностям современного развития. С этой целью допускаются элементы модернизации, главным образом в военно-промышленной сфере, поскольку это позволило бы мусульманским странам приблизиться к экономическому уровню “богатых наций”.

Хотя не все исламские фундаменталисты ратуют за возрождение архаично-консервативных порядков, большая часть идеологов этого течения занимают охранительные позиции, являются сторонниками изоляционизма, противятся “новшествам”. Они ведут борьбу против реформаторских тенденций, попыток приблизить ислам к нуждам и потребностям современности. В то же время современный фундаментализм – это динамично развивающаяся сила, которая в известном смысле является альтернативой глобализации, определяет многие политические процессы, направление оппозиционного движения в большинстве государств исламского мира.

Отталкиваясь от многообразия форм и проявлений фундаментализма в исламском мире, ученые и публицисты активно разрабатывают проблематику существующих в фундаментализме разных “крыльев”, течений и направлений, отыскивая там “умеренных”, “экстремистов”, “реформаторов”, “возрожденцев”. Представляется, однако, что эти различия имеют значение для чисто теоретических, абстрактных исследований, но они не относятся ни к фундаментализму как к явлению общественно-политической жизни, ни к путям реализации на практике фундаменталистского идеала.

Те нюансы и различия, которые существуют в идеологии и практике современного исламского фундаментализма, как его умеренного крыла, так и экстремистского, не затеняют наличия в нем неких общих черт. Это – отрицание западных моделей развития,

приверженность идее особого пути, в основу которого должны быть положены фундаментальные ценности ислама, иногда вкупе с достижениями современной технической цивилизации. Какова бы ни была – “умеренная” либо “экстремистская” – упаковка фундаменталистского проекта, цель у него всегда одна: захват политической власти и подчинение государственных структур, всей жизни общества законам шариата.

ИСЛАМСКИЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ

Долгое время исламско–фундаменталистский проект оставался утопией, идеалом, к которому стремились отдельные политики и общественные движения. Ныне исламская оппозиция в фундаменталистском обличье существует во всех государствах, где есть приверженцы ислама. В ряде государств (Алжире, Египте, Израиле, Ливане) исламисты прибегают к насилию, пытаясь заставить общество и власть принять их программу.

Исламские революционеры–фундаменталисты, идейные последователи имама Хомейни, выступают с пропагандой жесткого, замешанного на ненависти к Западу, национализма, с популистскими, демагогическими и шовинистическими призывами. Все нацелено на то, чтобы заручиться поддержкой общественности, голосами избирателей. Как заявлял в 1995 г. накануне парламентских выборов в Турции председатель стамбульского отделения Рефах – Партии благоденствия (ныне – Партии добродетели) Мустафа Аташ: “Мы приходим к власти, чтобы дать людям то, чего они хотят”. Во время предвыборной кампании в бедных районах Стамбула, куда в поисках работы устремилось много переселенцев из провинции, Рефах раздавала дешевый хлеб и бесплатный уголь. Лидер партии Неджметдин Эрбакан, шейх суфийского братства Накшандийя и красноречивый политик, постоянно употребляющий в своих речах эффектные синонимы – благоденствие, процветание, счастье, – связывает ислам с идеями социальной справедливости и общественного порядка (в чем поразительно напоминает коммуно–патриотов России), с отторжением чуждых, по его мнению, исламскому обществу западно–христианских моделей и ценностей. “Если турки не повернутся к Партии благоденствия, – возглашает он, – мы будем рабами христианского мира”.

Аналогичным образом действуют “Братья–мусульмане” в Египте, Фронт исламского спасения в Алжире, Хамас в Израиле, Партия Аллаха в Ливане, другие фундаменталистские организации в мусульманских странах. Все они ориентируются на антикапиталистически настроенную часть общества: на выбитых из развития модернизацией и индустриализацией маргиналов, но также и на “национальную” интеллигенцию, студенчество, пострадавших от реформ и преобразований. Фундаменталисты успешно освоили критическую риторику в адрес “империализма”, в защиту трудящихся. Все современные фундаменталисты, использующие ислам в качестве революционной идеологии, утверждают, что возврат к эгалитаризму шариата и к воссозданию правил общественной жизни, обязательных для “истинных”, “правоверных” мусульман, – это действенный способ борьбы с коррупцией, эксплуатацией, преступностью, другими недугами современного мира. Это “зло” возникает, по их мнению, из–за того, что в мире доминируют западная “материалистическая” система и либерализм (а десятилетиями раньше господствовали социализм и марксизм).

Итак, фундаменталисты, приспособившие ислам к политическим целям, предают анафеме Запад и вестернизацию, противопоставляют им уникальные и непреходящие духовные ценности исламской цивилизации. Это не мешает им широко пользоваться западными технологиями и информационными системами для пропаганды своих взглядов: фундаменталисты прекрасно освоили искусство политической манипуляции массами через газеты и журналы, аудио– и видеокассеты, факсы, спутниковое телевидение, пиратские радиостанции, Интернет. Таким образом, они перехватывают у государства инициативу, подрывают его монополию на информацию и получают прекрасную возможность практически без ограничений распространять свое влияние в любой точке земного шара.

В ряде стран фундаменталистам удалось приблизиться к практическому воплощению

своего идеала. В Египте, Йемене, Иордании фундаменталистская оппозиция вошла в правительственную коалицию, а в Турции – возглавила на короткое время правительство. Есть несколько государств, где фундаменталистский проект был реализован: в Иране после победы исламской революции; в Судане после совершенного генералом аль-Баширом государственного переворота; на части территории Афганистана, где установили свою власть талибы. В этих государствах фундаментализм реально изменил ход общественных процессов. Внешне они выглядят как возвращение к истокам ислама, как архаизация общества – в наиболее утрированном виде это проявляется в разрушенном гражданской войной Афганистане, где талибам не пришлось прилагать особых усилий, чтобы заставить обнищавшее и пауперизированное население отказаться от “новшеств”, то есть от тех достижений цивилизации, которых оно или вовсе не имело, или давно лишилось.

В Иране фундаментализм предстает не только как изоляционизм, соскальзывание в сторону от мировых процессов. Это – политическая идеология, подвергшаяся мимикрии, поскольку в кораническую лексику здесь вплетен понятийный аппарат другой –социалистической системы. Призывы Хомейни и других лидеров исламской революции к борьбе с культурным и экономическим господством “сатанинских великих держав”, с “мировым империализмом”, “эксплуататорами”, “угнетателями”, конструирование в Иране в пору расцвета хомейнизма новой, тоталитарной по сути общественной системы, базирующейся на “исламском фундаменте”, свидетельствуют об удачном синтезе революционной и религиозной идеологий, о приспособлении ислама к революционным нуждам и, в результате, о превращении его в тоталитарную идеологию. Ее, так же как и установки Ленина, Сталина, Мао и других, отличает нетерпимость ко всему “иному”, бескомпромиссность и безжалостность к тому, что стоит на пути осуществления утопии.

В Судане фундаменталисты пришли к власти на волне экономического и политического кризиса: его пообещали ликвидировать вместе с коррупцией военные во главе с генералом Омаром аль-Баширом, осуществившим в 1989 г. военный переворот. Руководящая политическая сила Судана – Национальный исламский фронт (ответвление международной организации “Братьев-мусульман”), возглавляемый доктором Хасаном аль-Тураби, избрала в качестве образца иранскую революционную модель. Однако попытки тотального насаждения ислама в условиях полирелигиозного, полиэтнического, полирасового состава населения Судана привели к всплеску насилия, стимулировали новый виток гражданской войны, обусловили изоляцию страны на международной арене вследствие поддержки ею фундаменталистской оппозиции в других странах.

Следовательно, пока все реализованные в исламском мире фундаменталистские проекты не привели общества к процветанию. Более того, антизападная, антимодернизаторская риторика и практика, сознательное обособление от мировых процессов с целью создания замкнутой, самообеспечивающейся экономики, базирующейся на культурной и религиозной исключительности, – все это лишь закрепило отставание, способствовало превращению и Ирана, и Судана, и Афганистана в маргиналов мирового сообщества. Это означает, что фундаменталистская идея, выглядящая в теории весьма привлекательно и заманчиво, при ее практическом воплощении чаще всего ведет только в тупик.

В большинстве государств Азии и Африки, где имеются влиятельные мусульманские общины, правящие режимы или высший генералитет, влияющий на политику, активно противостоят фундаменталистскому “призыву”, пытаются утвердить светскую модель, считая, что только она и обеспечивает включение в процесс глобального развития, без которого в наши дни нереально построение процветающего общества. В ряде случаев (как это было в Алжире и Турции) военные попросту отстраняют фундаменталистов от власти, запрещают их легальную деятельность. Но насильственное отстранение фундаменталистских организаций от политики лишь усиливает позиции сторонников жесткой линии, а их “вычеркивание” из общественной жизни нарушает хрупкий политический баланс. Так произошло в Алжире после аннулирования итогов парламентских выборов 1991 г., в результате чего в стране

развернулось масштабное террористическое движение. В Турции Рефах, стабильно собирающая на выборах не менее 20% голосов, перешла после своего запрета в начале 1998 г. на нелегальное положение, что почти неизбежно усилит позиции сторонников экстремизма. Им благоприятствуют и объективные условия: углубляющийся экономический кризис; нескончаемая война с курдским сепаратизмом; выталкивание Турции из Европейского союза. Последнее успешно обыгрывается фундаменталистской пропагандой, рассуждающей об унижительной для турецкого национального достоинства “сервильности” турецких политиков, добивающихся приема в Европейский союз.

В этих странах “пробуксовка” реформ, отсутствие демократии, ставка на силу в ходе взаимодействия с политическими оппонентами лишь усугубили существующие проблемы, но не решили их. Подъем исламизма в Третьем мире остается неизбежным на этапе трансформации старого экономического и политического порядка, поскольку подобный переход влечет за собой ломку устоявшихся общественных отношений, тяжелые социальные издержки, которые готовы компенсировать религиозные организации. Тем бесперспективней выглядит курс на военное подавление исламской оппозиции. Как бы власти ни стремились представить исламистов “воплощением зла”, исламисты таковыми не являются. ФИС, Рефах и подобные им объединения исламистов – всего лишь социальные движения, порожденные самой жизнью. Преследование их, запрет или какие-либо иные нелегитимные, насильственные действия против них провоцируют рост экстремизма как со стороны оппозиции, так и со стороны власти и армии.

В то же время можно предположить, что легализация, например, Фронта исламского спасения в Алжире расширила бы базу умеренных в этом движении, способствовала бы его трансформации в современную политическую партию. Ведь имеется немало примеров, когда властям удавалось ограничить рост экстремизма в обществе после того, как исламские революционеры становились действующими политиками. В Ливане проиранское фундаменталистское движение Хезболлах, занимавшее в середине 80-х годов ультрареволюционные позиции, пошло на некоторое сотрудничество с властями, снизило свою политическую активность. В Египте, Йемене, Тунисе, Иордании фундаменталистам даже в условиях временного вхождения во власть не удается менять ход общественных процессов. Параллельно с отдельными всплесками религиозного радикализма там идет процесс легализации фундаменталистской оппозиции и приобщения ее к государственным институтам.

Есть, конечно, и примеры Ирана, Судана, Афганистана, где приход к власти фундаменталистов ознаменовал собой откат назад, приход к власти политиков, взявших курс на создание замкнутой, самообеспечивающейся экономики и обособление государства от внешнего мира. Фундаментализм способствовал здесь и укреплению диктатур. Нет никакой гарантии, что и в других мусульманских странах фундаменталисты, находящиеся в оппозиции, используют столь жестко критикуемые ими современные демократические институты лишь для легального вхождения во власть, после чего упразднят их либо придадут им чисто формальный характер: например, западная по виду конституция будет функционировать, правящий режим будет оперировать исламскими терминами и понятиями, но суть его будет репрессивной.

И все же формы реализации фундаменталистского проекта в той или иной мусульманской стране зависят от конкретной внутренней ситуации: от того, обладают ли фундаменталисты какими-либо серьезными возможностями для проникновения в политические структуры; насколько эффективно работает в государстве система подавления; много ли союзников могут найти сторонники фундаментализма в военной среде и в силах безопасности; находится ли государство в социально-экономическом кризисе и т. д. Важное значение имеет также международный политический и экономический фон, степень включенности страны в мировые процессы.

СПЕЦИФИКА ФУНДАМЕНТАЛИЗМА В РОССИИ

Все эти положения во многом касаются и России. Здесь фундаменталисты не сумели пока формализоваться в качестве влиятельных движений, партий, организаций, так, как это произошло в исламских странах Третьего мира. К тому же, если на мусульманском Востоке сторонники умеренных религиозно–фундаменталистских течений видят в исламе стержень, который позволяет сохранить исламскую цивилизацию в условиях доминирования Запада, то в России фундаментализм не сложился как самостоятельное религиозное течение: он замутнен, захвачен идеологией шовинизма и псевдокоммунизма.

По мере того как предпринимаются попытки реформировать российскую экономику, десоветизировать жизнь общества, привести ее в соответствие с международными правовыми нормами (например, касающимися защиты прав и свобод человека, прав национальных и религиозных меньшинств и т. п.), разнообразные проявления фундаменталистской оппозиции этим процессам становятся все заметнее. Наряду с представителями других течений и направлений фундаменталистски настроенные политики и идеологи заняли определенную нишу в общественно–политической жизни России и пытаются найти ответы на вызовы, которые возникли перед постсоциалистической Россией в процессе ее вхождения в глобальный мир.

Ведь после распада СССР Россия очутилась в качественно новой ситуации. Внутри государства внедрение элементов западной политической и экономической модели сопровождается ростом коррупции и криминализации власти и общества. Это порождает социальную напряженность, а национализм, этнический сепаратизм, местничество – явления, ранее жестоко подавлявшиеся союзным центром, – становятся серьезными вызовами формирующейся российской государственности. На региональном уровне – в пределах бывшего СССР – Россия, не сумев (или не особенно стремясь) интегрировать под своей эгидой страны СНГ, воскрешая время от времени мифы о славянском единстве, об общности судеб народов, входивших некогда в состав СССР, о “братском единстве” и т. п., так и не решила для себя дилемму: сосредоточиться на внутрироссийских проблемах или же, если и не попытаться “с заднего хода” восстановить “империю”, то уж по крайней мере углубить процесс государственного объединения с другими постсоветскими республиками. На глобальном уровне влияние России на мировые дела резко сузилось и оказалось совершенно несопоставимо с той ролью, которую играл в мировой экономике и международной политике Советский Союз: едва ли могут переломить ситуацию попытки реанимирования старых идеологий (антиамериканизма) и союзов времен “холодной войны” (с Ираком, Индией, Сирией, Ливией, палестинцами). Следовательно, как и в начале 90–х годов, когда распался Советский Союз, Россия не определилась со своими политическими и экономическими приоритетами ни внутри страны, ни в постсоветском пространстве, ни на региональном, ни на глобальном уровне.

Обращает на себя внимание и некоторое сходство политических процессов, условий и предпосылок, которые стали основой формирования фундаменталистской оппозиции в исламском мире и в России.

Как и в постколониальных государствах Азии и Африки, в России очень сильна антимодернизаторская оппозиция курсу рыночных реформ, а также тому, чтобы Россия становилась частью глобального, или постиндустриального мира, чтобы она воспринимала идеи и модели западного происхождения. И здесь фундаментализм также является отражением ущемленного национального самолюбия, уязвленного бедственным состоянием общества и обнаружившимся контрастом с развитыми “богатыми нациями”.

Кроме того, в России, как и во многих деколонизированных государствах Третьего мира, присутствует осознание того, что базовые ценности западной цивилизации – права индивидуума, частная собственность, технологический прогресс, составляющие существенную часть цивилизации Запада, – не являются универсальными и их невозможно насадить сверху как идеологию. Понадобится длительный исторический период, в течение которого общество

могло бы приспособиться к восприятию этих ценностей. Пока же в российском, как и во многих третьемировских обществах, наблюдается отторжение чуждых культурно–цивилизационных норм, ощущается тяготение к традиционным, фундаментальным ценностям – религии, культуры.

Да и тактика Запада в отношении России и некоторых государств исламского мира (Турции, например), где идут коренные реформы, взят курс на избавление от экономической и политической изоляции, ликвидацию однопартийных режимов, во многом схожа: приветствуя на словах проведенные преобразования, Запад на деле сохраняет дистанцию и не только не торопится подключать неопитов рыночной экономики к контролируемым им мировым экономическим и политическим процессам, но стремится не допускать их активного участия в них. Это означает, что и в России, как и в наиболее продвинутых по пути экономических реформ странах исламского мира, фундаменталисты всех мастей (прокоммунистические и националистические), агитируя за изоляционизм, могут апеллировать к неблагоприятным для прозападных реформаторов международным и внутривострановым реалиям.

Имеется и чисто российская специфика: углубившийся после крушения коммунизма и распада СССР конфликт коллективного и индивидуального сознания, психологической несовместимости коллективизма и смоделированной западной цивилизацией индивидуальной самооценки личности. Известный публицист Михаил Чулаки назвал это явление “Ильиним комплексом” (от Ильи Муромца), который проявляется в том, что лишенного социальной защиты государства “советского человека” выталкивают в мир, заставляют становиться личностью, а он противится нежеланной свободе и ищет новую общность, коллектив, в котором можно было бы спрятаться от индивидуальной ответственности. Если добавить к этому социальную и психологическую ломку, являющуюся следствием распада “советской империи”, растущую маргинализацию общества, зыбкость, неустойчивость, состояние “веймарства”, наряду с проявлениями бессилия силы (чеченская война), то станет очевидно, что устойчивая поддержка российскому фундаментализму (последний окрашен в России, как правило, либо в коммунистические, либо в псевдонационалистические тона) обеспечена. Подобная ситуация может быть чревата неожиданностями, социальными и политическими потрясениями.

В исламских регионах России фундаменталистский феномен имеет свою специфику и потому заслуживает отдельного рассмотрения. Существовая на протяжении длительного исторического периода в рамках единой политической и экономической системы, сначала Российской империи, а затем ее преемника – Советского Союза, многие народы России, исповедующие ислам (татары, например), глубоко вросли в общероссийское цивилизационное и государственное поле. В отличие от своих нерусских единоверцев, мусульмане Северного Кавказа так полностью и не ассимилировались, хотя и в прежние времена, и относительно недавно центральной властью неоднократно предпринимались попытки подчинить их, навязать чуждые им цивилизационные установки. Несмотря на это внешнее давление, ислам остался фундаментальной частью сознания и образа жизни мусульман Северного Кавказа.

Истоки и социальная база фундаментализма в этом регионе России – те же, что и в исламском мире: слаборазвитая экономика, безработица, особенно среди молодежи, отсутствие демократических традиций в обществе, слабость светской оппозиции, обостряющиеся национальные, этнические, клановые противоречия.

Предпосылки распространения фундаментализма на Северном Кавказе легко просматриваются в экономической и социальной сферах. В советский период государство фактически заменяло здесь собой благотворительную организацию. Аналогичным образом оно действовало и в других регионах и республиках Советского Союза, однако на Северном Кавказе частичный отказ от старой системы неограниченного дотационного финансирования привел к особенно болезненным результатам: массовому обнищанию, отсутствию работы и средств существования, утрате духовных ориентиров. Государство, символом которого в глазах большинства населения северокавказских автономий является российский федеральный центр, перестало выполнять привычную и традиционно возлагавшуюся на него в советские

времена функцию – вспомоществования, филантропии, социальной поддержки. Как следствие этого, возросло недовольство, разочарование значительной части населения, которыми сумели воспользоваться радикалы и фундаменталисты, значительно расширившие свою социальную базу. Они получили возможность пропагандировать свои взгляды, в основе которых – отторжение существующего миропорядка, являющегося якобы ничем иным, как сговором вестернизированной российской верхушки с Западом. При этом обыгрывается ностальгия простого человека по прежним, относительно сытым и благополучным временам, изрядно мифологизированным и идеализированным.

Ныне ислам переживает здесь, как и в ряде других автономий России, своеобразное возрождение. И хотя на Северном Кавказе оно ограничивается по преимуществу религиозно–культурной стороной, да и политизация религии опережает распространение “высокой” исламской культуры, ислам все быстрее превращается в существенный компонент обретаемой народами региона национальной идентичности. Этому способствуют местные духовные и политические лидеры, которые, подобно своим единомышленникам в исламских государствах Третьего мира, обращаются к мусульманам с призывом защищать и развивать собственные культурно–религиозные ценности. Эта новая тенденция в общественно–политической жизни северокавказских автономий связана с быстрым распространением религиозного фундаментализма.

Его сторонников называют на Северном Кавказе ваххабитами – по аналогии с одноименным религиозно–политическим течением, основоположником которого является известный арабский правовед–реформатор Мухаммед ибн Абд аль–Ваххаб (1703 – 1787 гг.). Арабы, кстати, отдают предпочтение другому наименованию – *muwahhidun* (унитаристы), считая термин “ваххабизм” английским изобретением.

Ваххабизм развивает идеи ханбализма (по имени имама Ахмада ибн Ханбали) – одной из четырех признанных во всем исламском мире правоверных школ (мазхабов). Главной отличительной чертой ханбализма является полный отказ от “новшеств”, не нашедших прецедентов в правоверных преданиях (хадисах), не освященных согласованным решением богословов (иджмом) и потому противоречащих сунне. Помимо отказа от “новшеств”, ваххабиты выступают за возвращение к чистоте ислама времен Мухаммеда, за строжайшее соблюдение принципа единобожия, за отказ от поклонения святым и святым местам, за пуританизм в быту. В наши дни ваххабиты, конечно, уже не выступают за запрет радио и телефона, как они это делали в начале века, но сохраняют радикализм и сектантскую непримиримость к последователям других течений и направлений ислама.

На Северном Кавказе “ваххабиты”, именующие себя сторонниками “чистого ислама”, стремятся навязать свою веру и мировоззренческие принципы представителям других бытующих здесь форм мусульманской религии: шафиитам, “тарикатистам” – членам суфийских братств. Особенно непримиримы “ваххабиты” к проявлениям “народного ислама” – прочно устоявшимся на Кавказе традициям быта, обычаев и культуры, образцам светского поведения мусульман.

К сожалению, для российских властей ислам остается в значительной степени чуждым явлением, которое порой продолжает ассоциироваться с крайними проявлениями религиозного фундаментализма. Как отмечает российский исследователь Л. Р. Сюкияйнен, многие местные обычаи, такие, например, как кровная месть, привычно воспринимаются как часть шариата, хотя шариат (от арабского слова “шариа” – правильный путь к цели), являющийся комплексом юридических норм, принципов и правил поведения, соблюдение которых приведет мусульманина в рай, осуждает кровную месть. В наши дни в связи с быстроразвивающимся процессом возрождения ислама на Северном Кавказе вопрос об определении места мусульманских меньшинств в политико–правовой культуре России переходит из чисто теоретической в практическую плоскость. Основная проблема касается соотношения между общим правом для всех граждан, мусульман и немусульман, и ответвлениями частного права в рамках этнических, религиозных, культурных групп.

Пока российские власти будут проводить неопределенную и невнятную политику по

отношению к северокавказским мусульманам, являющимся в масштабах России конфессиональным меньшинством, нестабильность в этом регионе будет усугубляться. Конфессиональная политика России вряд ли окажется перспективной и успешной, если она не будет учитывать специфику религиозной ситуации на Северном Кавказе, образ жизни местных мусульман, их духовный мир и зарождающуюся там мусульманско-правовую культуру. Там, где политики имеют дело с такой тонкой материей, как национальные или конфессиональные моменты, необходимо терпеливое, вдумчивое, профессиональное отношение к проблеме. Как показывают недавние события в Чечне, связанные с наведением там “конституционного порядка”, сила и нажим не могут заменить мудрость, терпимость и знание.

Ныне в России, как и в странах мусульманского Востока, лицо современного исламского движения определяют не религиозные экстремисты, а умеренные течения в исламе, терпимо относящиеся к политическим и социальным свободам, стимулирующие развитие культурной идентичности мусульман. Но это не означает, что фундаментализм как течение общественной мысли и направление политики не будет рекрутировать сторонников. Их численность и влияние будут варьироваться в зависимости от того, окажется ли власть способной сделать реформирование привлекательным и выгодным основной массе населения, найдет ли общество альтернативу изоляционистским призывам идеологов фундаментализма, предпочтет ли Россия трудный путь возвращения в русло общемировых процессов либо она снова, как и в 1917 году, доверит свою судьбу социальным экспериментаторам, создателям новых утопий – теперь в виде религиозно-фундаменталистского проекта.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Хорос В.Г. — доктор исторических наук, зав. Отделом ИМЭМО РАН.

Неклесса А.И. — зам. директора Института развития РАН.

Майданик К.Л. — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН.

Красильщиков В.А. — кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН.

Салицкий А.И. — кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

Остроухов О.Л. — кандидат политических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН.

Брагина Е.А. — доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН.

Лебедева Э.Е. — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН.

Малышева Д.Б. — доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН.